



Игорь
ШЕСТКОВ

ЦАРИЦА НОЧИ

Картинки
из энигматического
альбома

**Игорь
ШЕСТКОВ**

**ЦАРИЦА
НОЧИ**

**Картинки
из энигматического
альбома**

Игорь Шестков (Igor Heinrich Schestkow)

Берлинский писатель-эмигрант. Родился и вырос в Москве.

Закончил МГУ.

В 1990 году эмигрировал в Германию. Писать прозу по-русски начал в начале XXI века.

Сборник психоделических рассказов «Царица ночи. *Картинки из энигматического альбома*», написанных в 2021–2023 годы, является дополнением к напечатанным в киевском издательстве «Каяла» сборникам «Ужас на заброшенной фабрике», «Покажи мне дорогу в ад» и «Сад наслаждений».

Книга предназначена только для взрослых читателей. Все ее персонажи вымышлены, сходство с реальными людьми — случайно.

© Igor Heinrich Schestkow 2023

ISBN 978-3-75754-155-2

ПОВЕДИТЕЛЬ ЧЕТВЕРГА

Это была самая скучная открытка из моей коллекции... Обычно я ее не рассматривал, а сразу откладывал в сторону. Туда, где лежали уже просмотренные открытки. Точнее — засовывал под них. Чтобы и уголок ее случайно не высунулся. Потому что и уголок может все испортить.

Собственно говоря, она и открыткой-то не была, а просто посиневшей фотографией в формате открытки. Кто-то непонятно для чего хранил ее в коллекции.

Неизвестный фотограф сфотографировал зачем-то старую, жуткую... без стиля, без характера, ритма, вообще без ничего... кирпичную стену. Даже об освещении не позаботился. Щелкнул с рук и все. И напечатал плохо.

Хоть бы гвоздь в ней торчал, в этой стене! Или вывеска какая на ней висела. Выцветшая реклама цирковых гастролей со слоном и гимнасткой... политический плакат... приглашение прийти в танцзал для пенсионеров.

Или хотя бы дубовый листок к ней зимой приклеился...

Нет. Даже надписи никакой не было на стене. Гензель и Гретель были тут. Съели морковное пирожное и поймали ежика. Потянули ежика за лапу.

Ужасная стена. Безнадежная. Как моя тогдашняя жизнь в этом провинциальном городе с опустившимся населением, неработающими фабриками и газовыми фонарями, превращающими туманными промозглыми ночами его улицы в декорации к фильму «Кабинет доктора Калигари». Как я сам.

...

Разумеется, мне и в голову не приходило, что эта скверная фотография... этот незначительный, ненужный предмет, который я сто раз мог выбросить, непостижимым образом заключает в себе что-то важное... тайну...

Какую тайну, вы смеетесь, господа?

Большинство открыток в моей коллекции — составляли немецкие ландшафты и архитектурные достопримечательности, мосты, замки, соборы, ратуши, знаменитые музеи и репродукции старонемецкой живописи и скульптуры.

Дюрер, Кранах, Грюневальд, Рименшнайдер, Файт Штос...

Но были и греющие душу изображения томных арийских красавиц двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Породистых, с прекрасными волосами, длинными тонкими пальцами и шелковой кожей...

Коллекцию эту я купил по дешёвке в начале девяностых годов в одной из антикварных лавок города. Сытые по горло социализмом аборигены, покидающие город, стремились тогда продать поскорее накопившийся на чердаках и в подвалах жизненный скарб, чтобы хотя бы первое время не сидеть в Мюнхене, Штутгарте, Сиднее или Нью-Йорке без гроша в кармане. Никто из этих людей не думал о «бабушкином и дедушкином культурном наследстве», о пыльной мебели, зачастую украшенной интарсией (перламутр по черному дереву), сломанных музыкальных инструментов (довольно приличный клавесин в магазине напротив стоил тогда около ста марок, старинный или нет — не знаю), шмотках, фарфоровых безделушках, китайских ширмах с затейливой графикой, подсвечниках, патефонах и заезженных пластинках, старых почерневших картинах в тяжеловесных золоченых рамах, книгах и фотографиях, эстампах, марках, открытках... Всем до смерти надоела серая и тошная жизнь в ГДР, о том, что ей предшествовало, никто даже думать не хотел.

Все мечтали поскорее уехать отсюда и обосноваться в новом, еще неизвестном им западном мире, снять светлую теплую квартиру или купить в кредит домик с садиком, перевезти в него семью или завести новую, катать по автобану на шикарном лимузине, хорошо зарабатывать и отдыхать на островах в Карибском море, есть омары и пить дайкири... словом, наслаждаться всеми прелестями свободного мира. А о прошлой жизни — забыть как о страшном сне.

И они тащили все, что могли, в комиссионные магазины, антикварные лавки и букинисты, а что нельзя было продать — дарили или отвозили на свалку... и, если бы можно было продавать свое прошлое, они продали бы и его. Или отдали бы даром.

Об этой панической распродаже были хорошо осведомлены оптовые торговцы стариной с западной части Германии. Они знали — она продлится не долго, сундук полупустой, и жадно снимали с «восточной зоны» последние сливки...

И мне, новоприезшему бедняку из Совдепии, оставившему все, что было дорого — книги, иконы, картины и рисунки вместе со всем остальным барахлом в брошенной в панике московской квартире, досталось несколько крошек с барского стола. Одной из таких крошек и была эта коллекция открыток. Две тысячи изображений, величиной с ладонь. В двух солидных картонных коробках. С золотым тиснением!

Не было у меня тогда еще ни денег на бары или путешествия, ни знакомых, ни книг, ни телевизора... поэтому я часто проводил долгие одинокие вечера в огромной холодной квартире, по которой гуляли как привидения сквозняки, завернувшись в мой старый плед, сидя в кресле с ногами, прихлебывал скверное какао из большой желтой кружки, ел гренки, слушал маленький приемник Sony и часами рассматривал эти открытки, закрывал, как мог, пробелы в моем образовании. Их было так много, что все они, все вместе сливались в одну зияющую дыру... из которой иногда высовывали свои подлые физиономии Маркс и Ленин. Переводил на русский названия и краткие описания с помощью привезенного из Москвы словаря. Приобщался так к чужой жизни. Фантазировал и мечтал...

И, как это часто бывает, мечты мои были интереснее и слаще всего того, что действительность могла мне дать. Но в этом конечно не виноваты, ни прекрасная Саксония, в которую занесла меня насмешница-судьба, ни ее жители, а только склад моего характера, мое отношение к жизни, настрой, позиция, которую я сознательно занял, короче, я сам... один я.

Мечты. Какие мечты?

Понятно, какие. Обыкновенные, детские. Ведь я, как ни старался повзрослеть, так и остался ребенком. Тело отяжелело, постарело, а душа... Так и не научился брать на себя ответственность за что-то, за кого-то... Поэтому я на старой родине никогда не делал карьеру и не собирался ее делать на новой, не женился, не завел детей. Инфантильный тип.

...

Вот у меня в руках открытка... изготовленная в небольшом фотоателье во Фрайберге, серебряной столице Саксонии. Застенчивая девушка печально смотрит в камеру. Нежные губки сжаты, волосы причесаны на пробор. Одета во что-то светлое, легкое как облако... Я мечтаю... нет, не о том... а о том, что мы вместе посетим дрезденский оперный театр, послушаем «Кавалера роз» Рихарда Штрауса (слышал отрывки по радио). А в антракте полакомимся настоящими венскими пирожными (о них мне часто рассказывал шапочный знакомый, бывший венец). А потом, после театра, пойдем в гостиницу, в уютный номер с видом на Фрауэнкирхе, ляжем на кровать и там... Нет, нет... только прижмемся друг к другу щеками, обнимемся и заснем. Под ватным атласным одеялом.

...

Еще одна чудесная картинка.

Средневековый замок на скале. Могучие стены, башни, башенки...

Вокруг скалы — ров с крокодилами. Крокодилов не видно, но я знаю — они там, прячутся под зеленоватой ряской, они ждут неосторожного путника, ждут терпеливо... хотят откусить ногу или руку.

Где-то внутри, в зале с готическими сводами, как паук в центре паутины, сидит престарелый барон. Крутит на толстом пальце магический перстень с Лунным камнем. Вокруг него — преданные ему рыцари, наложницы, шуты, жонглеры, челядь...

Пир горой. Катавасия. Гвалт. Пахнет жареным мясом, потом и хмелем.

Музыканты играют на лютнях, рыцари гогочут как гуси, кубки звенят, шуты танцуют, жонглеры жонглируют разноцветными шарами. Медведь на цепи рычит. Лают здоровенные псы. В потаенных щелях копошатся нетопыри.

Освещают сцену — коптящие факелы на стенах.

Барон смотрит на все это, прищутив хитрые глазки. Да, он стар и немощен, но он видит все... замечает каждое движение, легкую гримасу недовольства, руку, поглаживающую кинжал, фривольный взгляд... слышит каждое неосторожное слово, страстный шёпот, звон шпоры.

Он догадывается, что его юная белокурая жена, Изольда, изменяет ему с его воспитанником и любимцем Тристаном. Сердце его набухает черной злобой. И он бьет по дубовому столу своей каменной рукой. В пиршественном зале все замолкает, замирает, и барон объявляет о своем решении послать Тристана на битву с великаном Морольтом.

Тристан выходит из-за стола и встает перед бароном на колено. Объявляет о своей готовности вступить в неравный бой с великаном.

Изольда хватается за горло и падает в обморок.

Старинный недоброжелатель Тристана Кинварх угрюмый, гадко посмеиваясь в жидкую бородёнку, предлагает другим рыцарям пари на двести золотых талеров. Он ставит на Морольта. В победу Тристана верит только верный Моруольк, носящий на груди, под кольчугой, медальон с кусочком копья Лонгина.

* * *

В тот вечер я опять сидел в кресле, завернувшись в плед, и рассматривал мою коллекцию открыток. Попивал горькое какао. Да, из той самой глиняной чашки. Гренки не ел, потому что не было у меня дома ни хлеба, ни яиц, ни молока, ни сахара. И денег тоже не было, чтобы все это купить.

Из радиоприемника доносилась булькающая джазовая музыка, за окном лил дождь, ветер завывал так выразительно,

как будто демонстративно мстил мне за что-то, в квартире было сыро и холодно, на душе было также. И как назло в руки ко мне попала эта синюшная фотография, ну со стеной. Картина моей жизни.

Надо было встать, изорвать чертову бумажку, а обрывки и клочки выкинуть в помойное ведро. Но и рвать, и вставать, и тем более тащиться в грязную кухню мне было неохота.

Вместо этого я уставился на проклятую стену тупо и упрямо, как бык на мулему матадора. Стена, так стена...

Забыл, что нельзя так смотреть. Ни на что. Планы могут сместиться, а хрупкий конструкт нашего бытия — треснуть. А через трещину в наш мир может просочиться сингулярность. Тогда пиши пропало.

...

Да, уставился. И... заметил что-то.

Ничего особенного...

В правом нижнем углу фотографии появилась чёрт знает откуда маленькая дверка.

Или она там всегда была?

Деревянная, с витыми чугунными скрепами. И чуть-чуть приоткрытая.

Из-за дверки... да, оттуда... выглядывала носатая рожа. Ужасный ее глаз таранился на меня.

Я с трудом проглотил слюну, не удержался и пощупал фотографию — там, где дверка и рожа. И сразу понял, что совершил ошибку. Что-то в мире вокруг меня сразу изменилось. Фиолетовые молнии пронзили пространство комнаты. Радио замолчало. Дождь перестал. И ветер утих. И еще... как будто далеко-далеко, вроде как под землей, запел какой-то хор. Мелодию трудно было разобрать...

Но испугался я только тогда, когда услышал сиплое хихиканье... и увидел прямо перед собой мужчину среднего роста, в сером пальто и фетровой шляпе, носатого и с вытаращенными глазами. Выглядывающая из-за двери рожа на фотографии явно принадлежала ему.

— Какого лешего? Как вы вошли? Убирайтесь!

Я прокричал это, твердо зная, что мои крики никакого впечатления на моего inferнального гостя не произведут.

И действительно, человек в пальто не смутился. Похихикал еще немного, помолчал, почмокал, а затем произнес тоже сипло:

— Извините, сударь, не хотел вас пугать. Вы сами меня позвали и открыли дверь.

— Входную? Не открывал я ее. И вас не звал.

— Все еще не понимаете? Такие как я не приходят без приглашения... через входные двери... другую-с.

— Какую «другую-с»? На открытке что ли? Не надо тут комедию ломать, Мефистофеля разыгрывать... и перестаньте наконец тарачить на меня глаза, это невыносимо. Я не бегемот и не страус, а вы не в зоопарке.

— Ну, это как сказать. Это я насчет зоопарка... для меня весь ваш смешной мирок — зоопарк, да-с.

— Что вам надо?

— Мне? Обижаете. Ничегошеньки мне от вас не надо. А вот, что вам от меня понадобилось, об этом подумайте, господин хороший. Хорошенько поразмышляйте... от этого будет зависеть ваша последующая жизнь. Нельзя тревожить повелителей четверга напрасно. Назад пути нет. А я пока пойду на кухню и приготовлю гренки. Кто-то ведь должен и гренки жарить. Не все могут часами в себе копать.

Я не знал, как быть. Выгнать силой этого типа из моей квартиры я не решался. Трусил. Кроме того, я, поразмышляв, пришел к выводу, что действительно позвал его сам. Именно тогда, когда пощупал это злосчастное фото. Потер лампу Аладдина.

Через минуту он появился. В руках он нес дорогой серебряный поднос, на нем лежала тарелка с горкой свежеподжаренных гренков... рядом с ней несколько маленьких мисочек с мармеладом, две чашки кофе, ложки, вилки, ножи, сахар в затейливой сахарнице, сливочное масло, сливки...

Очевидно, не жарил он гренки и кофе не варил.

Поднос он ловко поставил на столик рядом с мной и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив меня, положил ногу на ногу, и галантным жестом предложил мне отведать своей стряпни.

Я машинально кивнул, подхватил вилочкой гренку и откусил кусочек. Как вкусно! Хлебнул ароматного кофе. Роскошь.

Перед глазами опять показались фиолетовые молнии. Мне почудилось, что потусторонний хор запел громче, что эти странные звуки обволакивают меня... и я вот-вот провалюсь в адские глубины...

Пересилил себя. Не закричал, а из последних сил промямлил:

— А вы, что же...

— Спасибо. Я на работе никогда не ем и не пью.

— А вы на работе?

— А вы что... подумали, что я турист?

Как в беспамятстве съел все гренки и мармелад и выпил обе чашки кофе.

Сидевший напротив меня человек не стал убирать поднос, а только прикоснулся к нему указательным пальцем правой руки, и поднос со всем тем, что было на нем, исчез. Фокусник? Фокусник. Повелитель четверга.

— Ну вот, теперь вы по крайней мере сыты... надеюсь, у вас в голове прояснилось... Итак?

Набрал побольше воздуха в легкие... хотел начать издалека. И тут же ужасно закашлялся. И кашлял минуты три. Вот досада!

А мой собеседник, пока я кашлял, почему-то качал головой и аплодировал.

Откашлявшись, заговорил.

— Вы, наверное, думаете, что я полный идиот, приспособленец, антигерой и все такое. И вы правы. Но даже я понял, кто вы. Еще до появления серебряного подноса... Да, я позвал вас, потому что моя жизнь пуста и гнусна, и надежды на то, что она будет другой, у меня нет. Хоть бы капельку счастья!

Неожиданно для себя самого я всхлипнул.

— Но теперь, когда вы тут... мне кажется, что я спятил, извините, хор этот... тащит меня в ад. Я не в состоянии что-то объяснить.

Тут мой собеседник меня прервал.

— Прекрасно, прекрасно. И не надо объяснять. Все, что вы собираетесь мне сказать, мне хорошо известно. Вы все так похожи друг на друга. Формальности соблюдены. Вы попросили о помощи. Не хочу больше обременять вас своим присутствием. Вот, возьмите эту игрушку. Поможет. Будьте с ней осторожны. До встречи!

Человек в пальто исчез. На столике, там, где до этого стоял поднос, лежала небольшая изящная вещица. Зажигалка! Судя по внешнему виду и тяжести — золотая. Корпус ее был покрыт арабской вязью. Чернь.

...

Через десять минут после его исчезновения, уже не верилось в то, что он тут был.

Единственным доказательством его прихода, помимо зажигалки, было приятное воспоминание о гренках и кофе...

Появился как джинн из бутылки после того, как я фотографию потрогал?

Абсурд!

Где кстати эта чертова стена? Мой портрет.

Искал, искал, но так и не нашел. Наверное, он забрал фото. Туда и дорога.

...

Вертел, вертел в руках зажигалку, но не решался зажечь.

Может, это как в сказке — огниво? Я зажгу... и прибегут собаки с глазами как блюдце?

Дадут денег... или сожрут.

А вдруг я тоже исчезну? Или он превратит меня в шкаф. Или в серебряный поднос. Откуда-то он взялся! Или произойдет что-то еще более ужасное...

Будьте с ней осторожны. С вещицей. Так он сказал. Ну и что это значит?

Все, что угодно.

Как же стыдно так раскваситься перед этим... повелителем четверга.

Капельку счастья захотел...

Поможет. Как поможет?

Очень тянуло попробовать зажигалку в деле. А вдруг?

Некоторое время боролся с собой. Но быстро понял, что все равно сделаю это, поскольку предрешено, и решил принять меры предосторожности. И принял.

Надел брюки, рубашку, куртку... обулся в мои любимые ботинки фирмы Саламандр... сунул на всякий случай во внутренний карман куртки немецкий паспорт беженца, другого у меня не было... мало ли куда меня занесет.

На шею повесил крестик, а к рубашке прикрепил значок с звездой Давида.

Устроился в кресле поудобнее, прокашлялся, попросил Всевышнего быть со мной понисходительнее и нажал на рычажок дрожащим большим пальцем...

ЦАРИЦА НОЧИ

Выскочил из подъезда как лев из клетки. Хрякнул и ножкой притопнул. Неужели пришло и мне время молодиться, продемонстрировать к месту или нет старческий задор и дежурный оптимизм? Хвастаться, что я еще могу три раза подряд...

Все на улице так, как и неделю назад. Дома еще стоят. Машины еще ездят. Хотя и меньше их стало заметно. Жители нашего района бродят. Все с сумрачными лицами. Как гамлеты...

Пошел к автобусной остановке. Натянул маску на морду. Пандемия, ничего не поделаешь. Придется в маске весь концерт просидеть. Главное, в обморок не упасть. И в штаны не надеть. Случалось уже и такое — но не со мной.

Автобус был пустой. Только на задних сидениях развалились трое или четверо подростков, демонстративно, без масок, а ноги на передние сидения положили, стервецы. Один курил. Старался на них не смотреть, не хотел приключений на свою задницу. Хотя мог бы их избить и из автобуса выкинуть.

На Герензеештрассе пересел на эс-бан.

Медленно ехал поезд. Иногда почему-то дергался как паралитик. И скрежетал.

И тут вагон был почти пуст. Третья волна. Некоторые предрекают, что самая страшная будет — седьмая. Три процента населения Европы уже на том свете... А седьмая волна, говорят, унесет каждого четвертого.

На станции Осткройц в вагон ввалилась пьяная компания, человек двенадцать. Жуткие типы с наколками. И вульгарные бабы с ними. Бандиты? Или только изображают крутых? Сейчас никому и ничему верить нельзя. Карнавал в разгаре.

У двоих болтались на боках ножны с мечами. А еще один держал в руке автомат Узи. Подделка или настоящий? Проверять не стал, выскочил.

Следующий поезд пришел через двадцать минут.

На остановке Хакешер Маркт ко мне подошел хорошо одетый мужчина средних лет с тростью и в кепке и проговорил, сверкая рыбьими глазами: Скорее выходите, а-то пропустите Большой гон. Незабываемое будет зрелище!

Сказав это, он проковылял к восточному выходу с платформы. Когда я подошел к лестнице, ведущей на улицу, он был уже внизу. Оглянулся, нашел меня глазами, ухмыльнулся, кивнул и поманил меня рукой.

Вышел на улицу... никого...

Пошел к театру.

На том месте, где Ораниенбургерштрассе вливается в Розенталерштрассе стояли, вытянувшись в линию, сотни мужчин, как будто ждали чего-то... мой человек в кепке был среди них. Он заметил меня, подошел, фамильярно ударил по плечу и прошептал на ухо: Люди говорят, сегодня евреев будут гнать. Из синагоги... Спрятались, на замки позакрывались...

И тут же откуда-то слева послышались свист, улюлюканье и истошные крики.

Мимо нас пробежала группа голых мальчиков лет десяти. На их лицах читался смертельный ужас. Их, кажется, никто не преследовал кроме крупной черной собаки. Из окровавленной ее пасти вырывался огонь.

Примерно через минуту я увидел бегущих нагих и босых женщин. Рядом с ними бежали мальчики-подростки. В руках у них были палки. Ими они били бегущих женщин. Пытались попасть по ягодицам и половым органам. Женщины отчаянно кричали, мальчишки радостно свистели и улюлюкали. Глаза их сверкали как звезды.

Одна из женщин вдруг споткнулась и упала. На ней все еще был одет непонятно как уцелевший белый старомодный корсет. Видимо люди, срывавшие с нее одежду, не довели почему-то свое черное дело до конца... Ее тут же, как муравьи бабочку

в муравейнике, облепили подростки, они сорвали с нее корсет, а затем страшными ударами заставили встать и бежать дальше.

После женщин и мальчишек мимо нас медленно пробежали нагие мужчины...

Все за шестьдесят, некоторые за семьдесят... пузатые, обрюзгшие, задыхающиеся. Их гнали и били палками юноши лет восемнадцати-двадцати со счастливыми лицами и характерными короткими стрижками. Когда один из стариков упал, его не стали поднимать и заставлять бежать дальше, его убили выстрелом в голову. Труп оставили валяться на асфальте у входа

в закусную Неаполь.

Человек в кепке поднял с мостовой и подал мне на тротуарке остаток белого корсета.

— Не хотите ли взять на память? Историческое свидетельство. Вставьте в рассказик или повестушку.

Не знаю, что тут со мной случилось, но я выхватил из его руки трость и изо всех сил ударил его по лицу. И быстро пошел к театру.

На входе в театр стояли два охранника. Посмотрели на мой билет и зачем-то потребовали паспорт. А он у меня месяц, как просрочен. Один из охранников хотел было уже отогнать меня от входа в театр, но другой посмотрел еще раз на мой билет, затем сказал что-то на ухо первому, и они пропустили меня. Хмыкая и хихикая.

Публику в масках, празднично слоняющуюся по фойе, я рассматривать не стал, прошмыгнул в зал и начал искать свое место. Странно, но моем билете не был указан ряд, только место. Место 35. Но ни в одном ряду не было места 35. Что за наваждение!

Подошел к тетке, которая раздавала программки, рыхлой и старой, в сиреневом парике и с лиловыми ногтями, сунул ей билет. Она посмотрела на него своими выпученными бесцветными глазами и почему-то встревожилась. Показала скверные зубы и пролаяла:

— Видите ли, гражданин, это место особое!

— Как это так, особое?

— Особое. Оно... лежачее.

— Как так лежачее?

— А вот так. Вон, видите, в центре зала, прямо у сцены, — кровать двуспальная. Подушки пунцовые. Одеяло синее. Там ваше место.

— Извините, а другого места у вас для меня нет? Я не гордый, могу и на галерке посидеть.

Дама обиделась.

— У нас только партер. От кресла до кресла — два метра, как и положено. Только одно исключение есть — два лежачих места для супружеской пары. Не понимаю, почему вы от своего счастья отказываетесь. Вот, посмотрите, на вашем билете, внизу, маленьким шрифтом написано — лежачее. Идите, ложитесь и слушайте прекрасную музыку. И обнимайте жену. Или сейчас же покиньте театр. Я вызову охрану.

— Не надо...

Пока шел к проклятой кровати, мне казалось, что все на меня смотрят, пальцами показывают и злобно шушукаются. Сгорая от стыда, присел на одеяло. Как бедный родственник. Думал, вот представление начнется, я встану потихоньку и в полутьме займу свободное кресло. Кто-нибудь опоздает. Дирекция часто держит бронь до последнего...

Ко мне подошли четыре вооруженных охранника. Четыре! Один из них, седой и важный как Бисмарк, провозгласил:

— На кровати нельзя сидеть, уважаемый. У вас место лежачее. Повторяю, лежачее. Понятно? Вы должны раздеться и лечь под одеяло. И поживее, пожалуйста, представление начнется через три минуты.

Пожилой озабоченно посмотрел на свои серебряные карманные часы с выгравированным на крышке святым Георгием, убивающим змия. Постучал толстым ногтем по металлической спинке кровати.

— Или вы хотите, чтобы мы вас насильно раздели?

Он не шутил.

Я скинул с себя одежду и влез под одеяло. Охранники ушли, прихватив с собой мои вещи. Тут свет в зале погас.

На сцену вышли старый аккомпаниатор, похожий на Артура Рубинштейна, и певица, вылитая Анна Нетребко. Аккомпаниатор, распустив фалды фрака, сел на табурет. Его голая задница беспокойно заерзала. Певица оперлась правой рукой о рояль, левую прижала к напудренной, вывалившейся из платья груди, глубоко вздохнула и запела арию Царицы Ночи из «Волшебной флейты». Эту, гневную. В которой Царица Ночи убеждает Памину зарезать Зорастро.

Певица пела и смотрела вверх. Большие ее груди болтались вправо и влево. Аккомпаниатор ёрзал обнаженным задом по табурету.

...

Рядом со мной под одеялом лежала женщина. Лет сорока пяти. Похожая на ту, что споткнулась...

Она дрожала и прижималась ко мне.

Я обнял ее и осторожно приласкал.

Зал неожиданно зааплодировал. Я думал, публика аплодирует певице. Поднял голову, но ни рояля, ни аккомпаниатора, ни певицы на сцене не было.

Вокруг нашей кровати стояли те же юноши, которые преследовали и били старых мужчин во время Большого гона. Все они держали в руках палки.

Я почувствовал боль только от первых пяти или шести ударов...

ПОГОВОРИМ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ НАС МИРЕ

(очерк)

Мой интернетный приятель, не очень близкий, но и не очень далекий, прочитал несколько моих последних текстов и написал мне с нескрываемым раздражением: «Ну, ты и оторвался! Куда это тебя занесло? На львовский погром? Или в империю клингонов? Поверь мне, тебя за это не похвалят. Возвращайся, пока не поздно, на землю, в наш такой-сякой, но реальный мир. А-то скажут, что ты заврался, дружок... или еще хуже, с катушек слетел. Окончательно и бесповоротно. Заделался параноиком. Сбрендил... После ковида, хи-хи».

Сбрендил... Хи-хи... Вот ведь шелудивый пес какой!

На этот раз я не стал оправдываться. Осточертело. Даже не попытался объяснить ему, что такое на самом деле мои рассказы. Ведь для моего приятеля, также как, впрочем, и для большинства современных разномастных «литературных деятелей» — символическое воспроизведение реальности и метафизической основы жизни, изучение ее мистического спектра, парение на облаке возможностей и вариаций, трансцендентальное моделирование происходящего и прочие элементарные магические и метафорические изыски, а это именно то, чем я занимаюсь, не имеют никакого смысла. Для них все это — симптомы паранойи.

Оправдываться не стал, но для себя решил сейчас же описать окружающий меня реальный мир «в лоб», «прямо». И описал... крохотную его часть. Специально для моего приятеля.

Получилось как-то пошло и плоско. Выяснилось, что я, без моей метафизики — обычный ворчливый старик. А я-то себе вообразил...

Представьте себе господу, что смотрите небольшой видеофильм. Я, автор, снимаю его, скажем, с помощью смартфона, и рассказываю о своем житье-бытье в блочном районе на северо-восточной окраине Берлина, возведенном в начале восьмидесятых на месте бывших полей орошения и фильтрации, куда кстати не только фекалии стекали, но и ядовитые отходы химических фабрик. По замысловатой системе подземных труб и канав, сохранившейся до сих пор. Специалисты-экологи утверждают, что земля в нашем районе на глубине метра отравлена тяжелыми металлами и прочими прелестями индустрии начала двадцатого века. Не удивительно, что многие окрестные жители чувствуют себя больными и не работают. Неумеренное потребление пива, кока-колы и других сладких напитков, которым отличаются живущие тут аборигены, все свободное время проводящие обычно за компьютерными играми, тоже не способствует душевному и физическому здоровью.

В ранние гэдээровские времена тут выращивали яблоки и груши. Некоторые яблочные аллеи сохранились до сих пор.

Разрешите представиться. Меня зовут...

Камера показывает мою обрюзгшую физиономию. Я стесняюсь снимать самого себя, отчего выгляжу еще хуже — похож на состарившегося и одичавшего плейбоя или раскаявшегося палача на пенсии. Чтобы больше не пугать публику, надеваю маску и переключаю камеру на смартфоне. Никаких селфи, я вам не молоденькая девушка в туристической поездке. Мы не на Багамах, а в Берлине, в «городе черной меланхолии», как его раньше называли дадаисты.

Выхожу из квартиры.

Вот, господу, посмотрите на нашу лестничную площадку.

Показываю стерильную немецкую лестничную площадку. Ни пятнышка, ни пылинки, как на космическом корабле. К слову, у нас не всегда так чисто, а только в первые три дня после генеральной уборки, которую проводит специальная фирма раз в две недели. Чистящие средства, которые они используют, вызывают у меня аллергическую реакцию. Насморк и кашель.

Тут лифт. Тут кладовка.

Напротив меня живет симпатичная лесбийская пара. Они занимают две квартиры — четырех— и двухкомнатную. Старшая, почти квадратная лесбиянка хронически больна. Каким-то особо мучительным и трудно поддающимся лечению ревматизмом или артритом. Она самоотверженно борется с болезнью и явно не без успеха. Часами работает на цветочных клумбах перед домом, водит машину, ездит отдыхать на живописное побережье Балтийского моря, на остров Рюген, носит сумки с провизией. За последние два года умерли все три ее горячо любимые собаки. Хозяйка их долго ходила мрачная, не отвечала на приветствия. Месяц назад купила новую собачонку — беленького шпица. Холит его и лелеет. Носит на руках и покупает ему мясо перепелки. Заметно оживилась и стала отвечать на приветствия. Ее партнерша — худенькая, долговязая и с виду абсолютно лишенная собственной воли женщина неопределенного возраста. Раньше она работала на расположенной неподалеку огромной фабрике-хлебопекарне «Харри». От нее всегда чуть-чуть пахло свежими булочками. Теперь она уборщица в детском саду. Не надо вставать в четыре утра. За девять лет соседства я лишь однажды видел, как она улыбается. Ее сожительница подарила ей фартук с желто-красным узором. Декоративные утки.

В четвертой, однокомнатной квартире живет пожилая румынка. Злющая. Хромая и глухая. Я много раз описывал ее в своих рассказах, не буду повторяться. Моя догадка о том, что она ведьма, недавно подтвердилась. Я видел, как она, хищно пригнувшись, жутко гримасничая, бормоча заклинания и неправдоподобно выпучивая свои черные глаза, вылетала из окна кухни на помеле.

Последнюю фразу, господа, воспринимайте как шутку.

Иду по лестнице вниз, камера пляшет у меня в руках. Старость — не радость.

Выхожу из дома. Снимаю маску. Вдыхаю и нюхаю воздух. Для города — вовсе не плохо. Рядом с нашим подъездом соседка снизу развела целый розарий. Чайные розы. Большие и пахнут дивно. Их иногда воруют подростки из соседних подъездов, из

тех, где погрязнее и победнее. У них на газонах никаких цветов нет, только окурки валяются. Сотни, тысячи окурков... посмотрите сами. Стараюсь не реагировать, иначе сойти с ума можно.

Да, господа, этот обшарпанный длиннющий одиннадцатитажный дом с десятью подъездами, часть колоссальной п-образной конструкции, — это мой дом. Показываю перспективу снизу. Выглядит внушительно.

Построен еще при ГДР. Несколько раз отремонтирован. Тут я живу со своей немкой. В трехкомнатной квартире. В одном из трех его подъездов, где квартиры приватные, а не сдаются концерном АЛЬФА, в начале девяностых годов скупившим чуть ли не две трети берлинских квартир по дешевке, не заботящимся о жильцах и их жилплощади. Посмотрите, вот, перед входом в наш подъезд валяются капсулы с крысиным ядом, не вздумайте взять их в руки, а вон там, на седьмом этаже... наш балкон. В этом году на нем немного цветов, обычно больше. Анютины глазки, бегонии, гелиотропы, маргаритки. Наша гордость, подсолнухи, выросли как на дрожжах и радостно приветствуют солнце своими желтыми мордами. Мы их даже не сажали. Соседи сверху кормят птиц семечками. Иногда они падают в наши забалконные ящики с землей. И растут там сами, как сорняки. Моя немка их не выпальвает. Добрая.

Балкон наш выходит почти на юг. Поэтому летом на нем невозможно находиться с половины двенадцатого дня и до восьми вечера. Жарко нестерпимо. Подсолнухи и петунии приходится поливать два раза.

Мы установили на балконе ванночку с водой для птиц. Из нее пьют и в ней купаются воробьи и синицы. Голубей и ворон я гоняю. Вороны воспринимают это как должное, они холодно презирают людей. А голуби обижаются. Немка ругает меня за мое отношение к птицам. А я пугаю ее птичьим гриппом.

На балкон ведет стеклянная дверь из нашей гостиной и открывается окно нашей двенадцатиметровой кухни.

Отсюда мы в последнее время часто наблюдаем демонстрации противников ограничительных мер властей против эпидемии ковида. Сторонников теорий заговора, патологических антипрививочников, правых...

Они охотно маршируют по нашей улице, названной по имени голландского художника, покончившего жизнь самоубийством на юге Франции в конце девятнадцатого века выстрелом в сердце. Бешено кричат, потрясают плакатами, свистят. Иногда — едут на автомобилях, громко сигналият, орут... Демонстрации эти легальные, их защищает полиция. После того, как они наконец уходят или уезжают, наступает блаженная тишина.

Как хорошо, когда никто не орет на улице! У нас шумно и без всяких демонстраций. Пьяные орут по ночам. Дети — в детских садах орут так, как будто их порют. Собачники, выгуливающие своих питомцев, тоже орут как сумасшедшие. Сардонически хохочут, визжат. Собаки лают. Бывает, что тут и постреливают. Кто в кого стреляет — не знаю.

Район наш — считается одним из худших в Берлине. Блочные бетонные коробки. Много бедных, безработных, иностранцев. Есть и уголовники... Слава богу, они редко пакостят там, где живут. Почти нет ресторанов, кафе, разнообразных магазинчиков и всего того, что как-то связано с культурой или удовольствиями. Нет галерей, клубов, дискотек, кинотеатров, бассейнов, теннисных кортов, борделей... Зато есть старая тюрьма Штази, превращенная ее бывшими заключенными в музей.

Но есть конечно положительные стороны и у нашего района. Улицы широкие, светлые, дома не лезут друг на друга, много зелени, воздуха... А все прелести Берлина — музеи, галереи, концертные залы и прочее — находятся в получасе езды на эсбана или трамвае. Так же как и центральный железнодорожный вокзал.

Я понимаю протестующих. Люди устали от пандемии и связанных с ней неудобств и страхов. Многие из них потеряли работу, другие еще как-то пострадали... не из-за болезни, а из-за противодействия ей. У третьих поехала крыша. Они уверены, что во всем виновато правительство и местные власти. Лично канцлерша Меркель. В припадке безумия они атакуют полицию, пожарников и даже скорую помощь. И еще, они убеждены, что некие таинственные силы, хотят вначале лишить прививками мужчин и женщин их детородных способностей, а потом и

умертвить половину человечества. Из их теорий как-то неясно следует, что этот коварный заговор организован известными всему миру преуспевшими евреями-богачами. Пресловутым «мировым правительством». В которое, по мнению профессора Соловья, истово верят и современные российские эфэсбешники.

Ничто не ново под Луной. То, что авторы «Протоколов сионских мудрецов» и нацистские пропагандисты изо всех сил внушали простым немцам, то, что из их голов позже выбивали американцы в лагерях денацификации — сейчас возрождается в умах само, почти без воздействия пропаганды. Органично. И растет как подсолнухи у нас на балконе. С этим ничего нельзя поделаться. Мне неприятно об этом думать. Потому что я почувствую — рано или поздно евреям придется бежать отсюда. Всем. Не знаю, примет ли нас кто-нибудь в эти новые чудесные времена.

Недалеко от нашего дома — недавно построенное семиэтажное здание дома для престарелых. Синее и печальное, как все подобные заведения. С огромными балконами и гигантскими окнами. Многие его обитатели ходят, опираясь на свои руляторы, в расположенные напротив магазины Пенни и Реве. Покупают фрукты и сладости. Один русский старик бойко ездит в инвалидном кресле и собирает мусор на тротуаре. Длинной палочкой с гвоздем на конце. Подцепив бумажку или листок, он не кладет их в мешок, а бросает на проезжую часть улицы. Занимается он этим неблагодарным делом часами. Я раньше пытался поговорить с ним — и по-русски, и по-немецки — но он не отвечает на мои вопросы, а только сердито смотрит куда-то вбок своими безумными глазами, давно потерявшими выражение и цвет.

Из дома для престарелых до нас часто доносятся крики и стоны. И долго-долго не смолкают.

В просторных залах столовой на первом этаже синего дома раз в два или четыре года мы выбираем местных и общенемецких парламентариев. Мне и моей подруге это очень удобно — от нашего подъезда до избирательного участка — шагов шестьдесят.

Следующие выборы состоятся в конце сентября. Посмотрите, на всех столбах — выборные плакаты. Камера показывает плакаты, задерживается на нескольких лицах. Все кандидаты холеные, сытые, улыбающиеся...

Беда в том, что выбирать некого. Во-первых, мы, избиратели, не знаем наших кандидатов. И, по-хорошему, и знать не хотим. Поэтому выбираем партии, а не кандидатов. Программы, впрочем, никто не читает. Макулатура.

Во-вторых, все большие партии Германии — кроме правой Альтернативы — правили какое-то время последние тридцать лет. Все обещали, обещали, а затем демонстрировали лицемерие, эгоизм, политическую импотенцию, неумение и нежелание решать реальные задачи. И нежелание работать — на заседаниях Бундестага чаще всего присутствует пятая часть депутатов. Или того меньше. А зарплату получают все. В штате у депутатов состоит немыслимое количество всяческих помощников, референтов и секретарей. И эта орава профессиональных бездельников решает судьбу Германии.

Некоторые партии сделали в последние тридцать лет много дурного. Обещаниям их не верят, ведь они имели возможность претворить в жизнь все то хорошее, что обещали в предвыборную кампанию, но не претворили.

Да, в Германии работающая демократия... но большинство избирателей выбирают по старинке. Традиционно. Не вникая глубоко. Богатые всегда за христианских и свободных демократов. Те, кто победнее — за социал-демократов. Другие — очень многие — голосуют протестно. Бывшие граждане ГДР выбирают левых... Многие бывшие советские — Альтернативу. Они надеются на то, что эти новые, озлобленные люди приостановят поток беженцев. Зря надеются. Кроме распространения в обществе ксенофобии эта партия пока ничего не добила. Кажется, они бездарно пропустили открывшееся им было окно возможностей. Немецкие неонацисты — от умеренных, до оголтелых — ждут своего часа. Он наступит, если экономика Германии рухнет. Когда это произойдет и произойдет ли вообще — не знает никто.

Кстати о беженцах.

Давайте посмотрим на прохожих.

Вот беременная вьетнамка с коляской. В коляске — малыш. Улыбается маме, а мама улыбается и ему и нам. Дружелюбные и трудолюбивые люди эти вьетнамцы. Живут тут среди своих... женятся... говорят по-своему... и так проживают жизнь. В этническом гетто. В последнее время немецкие вьетнамцы поумнели. Поняли, что успех в жизни, это не только деньги-шмотки-еда-машина-квартира, а образование для детей. Но выйти из гетто им пока не удается. За ними будущее.

А вот и черная семья — он, она и три симпатичные девочки с цветными бантиками. Таких семей в нашем районе все больше и больше. Так же как и сирийских, афганских, иракских, иранских... Я не расист, но мне это не нравится. А моя немка довольна. Говорит: «Они разбавят нашу старую кровь».

Ну разбавят, так разбавят. И превратят милую процветающую Германию в Гарлем, Африку или восточный базар.

Да, Германия впустила сюда и меня с женой и дочкой. И еще три с половиной миллиона «этнических немцев» и тысяч двести «евреев из бывшего СССР». Понимаю. Не мне бросать камни в мигрантов, бегущих от голода и насилия. А я и не бросаю. Но закрывать глаза на очевидное — не хочу. Да, посмотрите сами. Вон там — молодой парень, скорее всего араб, взгляните в его глаза, в выражение его лица. Рядом с ним — еще двое. Стая. Возможно они не беженцы, родились тут. Но воспитали их родители-мусульмане в своих традициях. А обработали им мозги — оплаченные саудитами проповедники в мечетях. Сделали из этих молодых парней врагов западной цивилизации. Вот они и смотрят волком на все окружающее. И хорошо, если позже не примкнут к воинствующим братьям по вере и не станут террористами или не войдут в один из многотысячных криминальных кланов, которые тут организовали бывшие беженцы из Ливана и палестинцы для контроля над игорными заведениями, проституцией и продажей наркоты.

Каждый раз, когда я встречаю на улицах Берлина мусульман — стараюсь ненавязчиво заглянуть им в душу и понять,

кто они. Возможно я ошибаюсь, но в каждом третьем я замечаю откровенную враждебность. Девушки-мусульманки мягче. Часто — красавицы. Дети — почти всегда очень симпатичные.

Ладно, бог с ними, если немцы решили таким образом себя прикончить — не в моих силах что-то изменить. Что будет, то будет.

Если быть до конца честным, то должен признать, что мое неприятие мусульман происходит не столько от исходящей от них реальной угрозы, сколько просто от моей личной трусости. Да, я их боюсь. Даже нож в кармане ношу. Вот, посмотрите. Но я не опасен. В случае чего, брошу нож в сторону и быстро убегу. А если не смогу — сяду на асфальт и буду выть. Да, да, можете не усмехаться и не качать головой — сидящий на асфальте воющий человек — это и есть мое настоящее обличье, это — я, еврейский эмигрант из бывшего СССР, гражданин Германии, пенсионер и русский писатель.

Каков набор!

Для полноты картины замечу, что физиономии людей, говорящих в Берлине на моем родном наречии, раздражают меня, пожалуй, еще больше чем арабские или турецкие лица. Потому что на многих из них я замечаю нечто хорошо мне по жизни в Союзе знакомое, худшее даже, чем недоброжелательность и агрессия, — тупость, зашоренность и нахрап.

Ну что, кажется раздал всем сестрам по серьгам (так ставила ударение моя русская бабушка).

Только немцев забыл упомянуть... может, и к лучшему.

Ладно, пойдем дальше... обещаю больше не брюзжать.

Расскажу вам жуткую историю, которая произошла в этом парке. Однажды утром тут нашли отрезанную человеческую ногу...

30 ЛЕТ В ГЕРМАНИИ

Еду в Дрезден

Сегодня 30 сентября 2020 года. Ровно 30 лет я живу в Германии. Три раза по десять лет. По-хорошему за такое надо было бы медаль вручать. Вроде как «За взятие Берлина». Или «За отвагу».

Ну да, чтобы решиться на отъезд с родины — навсегда, навсегда — надо иметь мужество или наоборот быть последним трусом. Или быть очень глупым, или очень умным. Надо быть ужасно жадным или абсолютным бессребреником.

В эмиграции эти качества непостижимым образом сходятся.

Мужественный — спасает семью, трусливый — бежит без оглядки, глупый полон никогда не сбывающихся надежд, умный точно знает, что будет делать в Европе, немецкий и английский выучил заранее, имеет крепкое здоровье, верную молодую жену, влиятельных друзей на всем земном шаре, хорошую профессию и план на ближайшие 50 лет, жадный хочет несметно разбогатеть, бессребреник — надеется насладиться творческой свободой...

Каким тогда, до отъезда был я? Ни то, ни се, ни рыба, ни мясо...

Мужества у меня была только капелька, зато трусости — целое ведро, глупых надежд — почти не было, также как и ума, немецкий я не знал, английский забыл, по профессии работать не собирался, плана никакого не имел, с женой был в ссоре, разбогатеть и не мечтал, к творческой свободе на Западе относился с здоровым скепсисом...

Какого же лешего я тогда, 29 сентября 1990 года убрался из родного Совдепа? На поезде уехал. С Белорусского вокзала. Прямо в Берлин. С концами.

А черт меня знает. Все уезжали. Много всего налипло на душе. Синкретизм.

Встретил меня на перроне Восточного вокзала дальний родственник жены — Эдик, добрейший парень моего возраста. Долговязый блондин. Из кавказских немцев. И повез на своем красном спортивном форде по старому, гитлеровскому еще автобану к себе, в Дрезден. Эдик гордился своей машиной, лихачил, гнал под 250... И в пробках пришлось постоять... Меня укачало до рвоты.

По дороге я все спрашивал его — где Берлин? Где города? Что это за сараи?

О тогдашней Восточной Германии я не имел понятия. То есть мне и в голову не приходило, что немцы могут так жить. Как? Так бедно. Убого.

...

Подробно и серьезно я написал о своей эмиграции лет десять назад (текст опубликован под не слишком оригинальным названием «Несколько слов о эмиграции»). А сейчас... мне хочется написать об этом душещипательном и судьбоносном событии иначе. Нет. Не несерьезно, а... иначе. Потому что многие объяснения, мотивации, целые модули мышления... со временем потеряли вначале актуальность, потом силу, а затем и смысл, стали душевным мусором. А на их место пришло нечто новое, расплывчатое, а то и вовсе непонятное... и это, новое... новый взгляд на себя, на жизнь... действительно требует точной формулировки... хоть какой-нибудь формулировки. Или простого упоминания.

Понимаете, за 30 лет, проведенных в Германии, я не только стал другим человеком, но и основательно подзабыл того, двойника-невротика в туманном прошлом, все реже и реже мерещащегося мне в кривых перекрещенных зеркалах, забыл его страхи и упования... Этот типичный московский человек, не диссидент, не обыватель, не ученый, седьмая вода на киселе, после пяти лет университета проторчавший непонятно зачем десять лет в научно-исследовательском институте, самозванный художник и неудавшийся, написавший лишь один (уничтожен-

ный впоследствии) роман писатель... так и не знал, кто он и что собственно в жизни хочет. Заимел двоих детей, развелся с первой женой и непонятно как жил со второй... бросил осточертевший институт, устроился охранником в типографию на Арбате, ушел оттуда, писал на заказ иконки для одной московской церквухи на окраине, проработал непонятно кем целый год в другой церквухе, но православным там и не стал... серьезно подумывал о самоубийстве, но так и не убил себя... к моменту эмиграции представлял собой жалкий конгломерат из подсознательных страхов, фантастических видений и примитивных потребностей тела.

В вышеупомянутом тексте я так сформулировал причины моего отъезда в Германию в сентябре 1990 года: «Страх перед возможными погромами, страх перед голодом, страх перед новой Россией, грозящей уже тогда стать неонацистским государством на русский лад... надежда на то, что немецкая социальная помощь освободит меня от обязанности каждый день ходить на работу и позволит несколько лет заниматься самообразованием и спокойно рисовать. И — если выдюжу — стать профессиональным художником, известным и обеспеченным».

Звучит все это хорошо, и конечно, «контурно» или «пунктирно» все эти причины действительно имели место быть. Но только «контурно»...

А на самом деле... не знаю, что было на самом деле. Посередине — гвоздик.

Пунцовые и голубые дирижабли, покрытые золотистыми буквами, медленно проплывающие перед закрытыми глазами. Тысячи голосов, поющих и шепчущих мне что-то в мертвящей тишине.

Странные существа, в которые то и дело превращалось мое тело, тянули меня в незнакомые мне миры, в лучшем случае пародирующие мой московский мир...

Удивительные сюжеты, представляющимися мне трехмерными картинками с затейливыми цветными стеклянными трубочками, по которым текла какая-то жидкость. Жидкость-время...

Чем все это было? Визуальными и звуковыми галлюцинациями шизофреника? Или непонятными сигналами из прошлого или из будущего?

Больным я себя не ощущал. Видения мои не были чем-то патологическим... патологической была наша обычная советская жизнь. Наоборот, они были единственным ценностью моей постылой жизни. Ее единственным сокровищем.

Я пытаюсь вспомнить хоть одно видение, услышать еще раз шёпот времени, но мне это не удастся... я вижу лишь полузаброшенные дома на бесконечных улицах Зонненберга, и слышу гул и треск страшного города, в который закинула меня судьба.

Германия наступила своими тяжелыми стальными сапогами на пуповину, связывающую меня с Москвой моего детства. И я благодарен ей за это.

В стране горячих вагин

Так и не растерявший за время своего четырехлетнего пребывания в ГДР знаменитое кавказское гостеприимство Эдик привез меня в свою большую трехкомнатную квартиру на первом этаже шестиэтажного дрезденского дома, украшенного колоннами и рельефами, чудом уцелевшего в бомбардировках февраля 1945 года. Кроме него в квартире жили — Эдикова жена Зинка и двое их беспокойных маленьких детей. Девочка и мальчик. Девочка стала в будущем защитницей животных, а мальчик — профессиональным военным.

Через год, кажется, Эдик нашел для себя и семьи новое жилье. Потому что дом этот шестиэтажный купил маленький пузатый турок-нувориш из Западного Берлина. Блондинистому гиганту, чистокровному этническому немцу Эдику он был не просто неприятен... невыносим. Эдик не мог слышать его голос (турок говорил на хорошем немецком, хоть и с акцентом, а Эдик выражался неловко, делал по пять грамматических ошибки в каждом предложении), не мог равнодушно смотреть на то, как новый хозяин, жестикулируя, говорит с рабочими,

малярами (турок затеял ремонт), другими жильцами... Эдик боялся, что не выдержит и хрястнет турка разводным гаечным ключом по потной круглой лысой голове.

Переехал от греха подальше в небольшой домик на две квартиры, с плоской крышей и садиком. На окраине Дрездена. В садике Зинка устроила огородик и цветник, а Эдик посадил три грушевых дерева и установил клетку с кроликом. Первых груш Эдик так и не дождался, потому что снова переехал, на этот раз в деревню километрах в пятидесяти от Дрездена. Там ему было спокойнее.

Несчастливого кролика задрала ласка или хорек.

В тот мой первый немецкий день я ужасно объелся приготовленными специально для меня, хорошо наперченными грузинскими пельменями — хинкали (сметану для соуса Эдик купил в русском магазине, торгующим гречкой, воблой, паленой водкой и невкусными конфетами «Птичье молоко») и тающей во рту пахлавой. И выпил немало.

На праздничный ужин Эдик пригласил гостей, таких же как он, бывших кавказских немцев. Видимо он хотел, по советской привычке, похвастаться своим московским визитером. Я это почувствовал, застеснялся, стал грызть себя, ведь блистать-то мне было нечем. Как-то вдруг стало ясно, что, сам того не понимая, я уже — стоило только приехать в Европу — превратился из «перспективного московского ученого» (на самом деле, я таковым никогда не был, для близких друзей я был — «художником-нонконформистом») в жалкого, бесправного беженца из потерпевшей крах советской империи, прикатившего сюда побираться и проситься на жизнь. Без гражданства, без настоящих документов, без статуса.

Превратился в бездомную собаку... крысу... Уууу!

Я прочитал этот приговор в суровых глазах эдиковых гостей, в презрении, неожиданно проскользнувшем в гримасе на сахарном личике Зинки (я непонятно зачем объявил за столом, что у меня в портмоне три сотни немецких марок, сумма эта, мне, все еще советскому человеку представлялась тогда громадной), в сочувственном, но едко-покровительственном

взгляде эдиковой мамы, бывшей домашней хозяйки, изоб-
ленной многолетней круглосуточной работой в деревенском
доме и неустанной заботой о большой требовательной семье, а
ныне — независимой немецкой пенсионерки с приличной пен-
сией и капиталом. Семья Эдика привезла с собой из СССР целый
чемодан советских денег. Откуда они взялись? Как они его вы-
везли, не знаю. Но знаю, что вывезли и обменяли на марки ГДР.
А в июле 1990 — повторно обменяли на немецкие марки. День-
ги эти впрочем впрок не пошли, Эдик быстро спустил их в тру-
бу в свой непродолжительный «предпринимательский пери-
од». И, по тогдашнему обыкновению, еще должен остался.

Спать меня уложили на двуспальной кровати хозяев (с зо-
лотистыми металлическими украшениями и рюшками), а са-
ми они устроились на ковре в детской. Если бы я не был пьян
как свинья, ни за что бы не допустил этого. Но сделанного не
воротить.

Проснувшись, испытал неловкость. Эдик был смурной,
Зинка смотрела на меня волком... нельзя было не заметить то,
что она заревана, синяк на щеке припудрила... видимо пору-
галась с мужем из-за нежеланного гостя на их брачном ложе,
и он врезал ей в сердцах по сахарной физиономии. Рука у Эди-
ка была тяжелая.

Вечером следующего дня я поселился в пустующей квар-
тире матери Эдика, а через пару недель уехал в «лагерь для
еврейских беженцев» в Глаухау.

...

Эти первые две недели в Дрездене... стояла ясная погода.
Хотелось жить и радоваться. Я распахивал как можно шире во-
ротничок моей куцей курточки. А хотел распахнуть душу.

Как же сладок был переливающийся перламутрами, кача-
ющийся и играющий воздух чужбины!

Воздух культурной Европы!

Европы, только недавно освободившейся от гнета своего и
советского коммунизма. Еще по улицам Дрездена разгуливали
обескураженные и озабоченные офицеры Красной армии, еще
в наглухо запертых гарнизонах томились в казармах согнан-

ные со всех уголков «нерушимого союза» голодные и униженные командирами и «дедами» солдаты, а в ангарах, шахтах и бункерах все еще ждали своего часа ракеты, самолеты, танки, катюши... весь арсенал смерти, который приволок сюда СССР, чтобы грозить всему миру и шантажировать чужих и своих... но острые стрелы тоталитарного государства рабочих и крестьян уже потеряло прочность. И сама стрела на глазах превращалась в костыль злобной слабоумной старухи.

...

Тогда, в октябре 1990 года, я не думал о серьезных материях. Не думал я и о окружавших меня бывших гэдээровцах, которым вскоре пришлось очень туго. Почти все они потеряли работу и привычный уклад жизни. Потерял работу на своей фабрике и Эдик. Но, кажется, вовсе не жалел об этом.

Я жадно, как студент Ансельм, разгуливал по берегу Эльбы.

Отчетливо слышал звон хрустальных колокольчиков и искал зеленых золотых змеек. Всюду мне виделись чудеса.

Вон старинный мост.

Вон величественные руины Фрауэнкирхе.

А тут целая галерея на открытом воздухе. Саксонские курфюрсты. Усатые все и толстые.

Тут продают аметисты из Рудных гор, а тут — книги, книги, книги. По иронии судьбы первой книгой в мягкой обложке, попавшейся мне руки, был «Архипелаг» по-немецки. В одном томе. Уцененный, всего за одну марку.

Правильно, подумал я, так и надо. Сколько можно натужно скорбеть и мучить себя клоповыми шкафами прошлого. Весело отбросил «Архипелаг» в сторону и стал листать эротический комикс «Бешеный Джо в стране горячих вагин». Содержание соответствовало названию.

Пошлость! Ну и что с того? Испугали...

Это слово не зря существует только в русском языке. Это такая специальная желчь, которой русские интеллигенты плюются друг в друга... а иногда оплевывают ей и самих себя. Пора перестать плевать. Надо брать то, что жизнь дает.

Подошел к Цвингеру.

Сердце застучало, как на первом свидании.

Наконец-то я увижу то, о чем мечтал много лет, разглядывая снова и снова скверные иллюстрации дедушкиного тома «Дрезденская галерея», напечатанного издательством «Искусство» в начале шестидесятых.

Верьте мне. Я посмотрел в глаза «Сикстинской мадонне». Погладил путти по головкам.

Приляг рядом с «Дремлющей Венерой» Джорджоне. Надеюсь, не разбудил.

Вытащил стрелы из тела «Святого Себастьяна» да Мессины. Хватит, достаточно настрадался парень.

Пощупал за грудь «Вирсавию» Рубенса.

Вырвал письмо из рук «Девушки, читающей письмо» Вермеера. И попытался его прочитать. Ничего не понял.

Не позволил палачу на центральной части «Алтаря Святой Екатерины» Краха вынуть из ножен меч.

Налетался всласть в чудных пространствах картин Беллотто.

Осторожно подергал за волосы «Святую Агнессу» де Рибери. Как же она на меня посмотрела!

Погрозил пальцем грозному старику с кинжалом в руках работы Гольбейна Младшего.

Стащил раковинку и часы с натюрморта Питера Класа.

...

Гулял по залам Дрезденской галереи часов пять или шесть.

Обезумел от восхищения.

Встретился с высшей жизнью.

С высшей энергией.

И удивительным смирением перед судьбой. Согласием с волей Творца.

И удавшимся сотворчеством.

А от глаз Сикстинской мадонны просто не мог оторвать взгляд. Пялился, пялился. Влюбился в нее как в земную женщину.

Побрел в квартиру эдиковой матери недалеко от главного вокзала. В ужасном сером доме с аркой. В доме, несколько раз переболевшем оспой.

По дороге купил йогурты и ячменную лепешку размером с блюдо. В турецком киоске. Деньги надо было экономить.

В квартире было нестерпимо холодно. В большой комнате стояла угольная печь, но я не знал, как ей пользоваться.

В ванной комнате на стене висел газовый нагреватель. Включил его не без труда и напустил в ванну горячей воды. Разделся и лег. Как хорошо! Стал вспоминать увиденные картины. Заснул. И проснулся через три часа. В ледяной воде.

Выскочил, дрожа и умирая, вытерся, приготовил себе большую кружку растворимого кофе и выпил его, заедая остатками лепешки.

Нашел в шкафу ватные одеяла, завернулся в них и заснул на узкой деревянной кровати. Неужели Эдик привез ее сюда из своей кавказской деревни?

Мне снилась Сикстинская мадонна.

В стране горячих вагин.

Барвары

Эдик взял меня с собой в Берлин. Высадил из своего форда у станции эс-бана Цоо и обещал забрать там же в шесть вечера.

Западный Берлин — вокруг Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (обычно называемой Гедехтнискирхе) — еще не потерял тогда, в октябре 1990 года своей привлекательности для десятков тысяч туристов со всего света, львиную долю которых составляли все еще не насытившиеся «западом» бывшие гэдээровцы. Форменно притягивал к себе людей.

Рестораны, кафе, кинотеатры и театры, галереи и фешенебельные магазины от огромного торгового центра КаДеВе с одной стороны до самого конца шикарной улицы Курфюрстендамм (называемой просто Куда́м) с другой были полны народа. По Кудаму еще разгуливали элегантно одетые мужчины и женщины. Попадались даже фраки и смокинги. Дорогие платья коктейль. Шляпки и шляпы.

В отелях не было свободных номеров.

Гуляющую публику развлекали самодеятельные музыканты, певцы, фокусники, гимнасты и танцоры, тут и там неизвестные художники малевали прямо на асфальте прекрасные картины, мастера-графики рисовали карандашом на бумаге реалистические портреты радостно позирующих прохожих. Был и один артист, строивший удивительно гадкие рожи. Натягивающий безразмерные губы на нос. Вокруг него толпилось куда больше народа, чем вокруг классической певицы, настырно и нудно тянувшей «Аве Марию».

Немыслимое количество небольших магазинчиков торговали дешевой электроникой, шмотками и сувенирами. Сувениры и шмотки меня мало интересовали, но всевозможные радио, магнитофоны, плееры и маленькие наручные телевизоры (была тогда такая мода) — тянули к себе неодолимо.

Неизменным успехом пользовались наперсточники, то и дело к туристам подходили обманщики с фальшивыми страховками и абонементом на журналы и газеты, цыганки просили что-то прочитать... что было прелюдией к гаданию и вымоганию денег. Карманники молча и жадно работали в человеческой массе.

...

Было недалеко от Гедехнискирхе еще кое-что, что меня притягивало. И, пожалуй, даже сильнее, чем плееры и наручные телевизоры. Нечто...

О существовании этого нечто я во время своей советской жизни и не подозревал.

Это были секшопы с кабинками для индивидуального просмотра порнографических видеофильмов.

Жена моя все еще жила в Москве. Я был ей верен. От онализма отказался еще в юности. И считал это достижением.

Как же мы все наивны, высокопарны и глупы!

И с какой легкостью природа доказывает нам это...

Короче, после того, как я расстался с Эдиком — без колебаний направился в близлежащий секшоп. Разменял в автомате у входа двадцатимарочную бумажку с нюрнбергской патрицианкой на одно- и двухмарочные монетки.

Посмотрел журналы на полках. В руки не брал — брезговал. Рядом с ними лежали предметы, о назначении которых я только смутно догадывался.

Направился к кабинкам. Дрожал от возбуждения. Пускал слюни. Соображал туго.

С трудом нашел пустую кабинку... зашел... и... и не успел закрыть за собой дверь, похожую на дверь в самолетных туалетах, как в нее проскользнула девушка. Лет 15–16.

Немочка. Какая-то грустная. Неказистая. С короткой стрижкой.

Она показала мне лапкой с обгрызенными ногтями на мою ширинку, пролепетала — двадцать. И встала передо мной на колени.

Я не успел среагировать. Даже кивнуть не успел.

Она ловко открыла молнию на моих болгарских джинсах, влезла в трусы (я от страха и волнения окаменел), спустила их на колени и взяла мой вставший член в рот.

Губы у нее были как у ребенка... но очень мягкие.

Язык — быстрый как ящерица.

Я держал ее руками за оттопыренные уши и прыгал на небесном батуте...

Через две или три минуты кончил.

Она устало отпрянула от меня. Вытерла губы бумажным платком.

И тут я с ужасом понял, что это не девушка, а юноша.

Небольшого роста. Хорошо выбритый. Женственный. Порочный.

Обознался в полутьме. Батюшки.

Дал ему сорок марок. Он спрятал деньги во внутренний карман курточки, усмехнулся невесело и, не глядя на меня, покинул кабинку.

...

Все оставшееся до приезда Эдика время я бродил по Кудаму. Думал, думал, вздыхал. Копался в себе.

Потихоньку до меня дошло, что новый мир, в котором я очутился и в котором уже хотел остаться навсегда, изменит

меня. Изменит радикально. Что у меня нет желания сопротивляться. Что мне придется собрать все оставшиеся силы для того, чтобы не дать ему стереть себя в порошок.

Моя крепость, которую я строил всю свою советскую жизнь, как оказалось, не была укреплена с южной (нижней) стороны. Там не было ни стены, ни башен, ни даже окопов. И толпы варваров запросто могли войти в нее. Без боя, без кровопролития.

Но самым мучительным было то, что я уже хотел, жаждал этого. До замирания сердца хотел, чтобы они вошли. И подняли меня на копье.

...

Кстати о варварах.

На улицах Дрездена я заметил особенных молодых людей. Бритоголовых, в ботинках чуть не до колен. В укороченных джинсах и с выглядывающими из-под курточек подтяжками. Явно агрессивных и не скрывающих своей агрессии. Никогда не появляющихся на улице в одиночку.

Спросил Эдика: «Это кто такие?»

Эдик ответил так: Черт их знает. Скины... Раньше их тут не было. Понаехали с Запада. Могут напасть и забить до смерти. Уже были случаи. Не лезь на рожон, обходи их стороной. В случае чего — беги. Ты бегаешь быстро.

Я это наставление намотал на ус.

И вот... иду я однажды по Старому городу. Полный восхищения и зависти. После посещения Альбертинума, где тогда располагалась коллекция саксонских драгоценностей «Зеленый свод». Вспоминаю увиденное великолепие.

Память моя визуальная была тогда не то, что сейчас. Каждую фигурку запомнил. Каждый камешек. Особенно мне большой зеленый грушевидный бриллиант понравился. На золотой броши или подвеске. Душу можно за такую красоту дьяволу продать. Хотя... сомневаюсь, что душа моя нечистому духу интересна, слишком много совпадений, как говорит одна моя знакомая.

Ну так вот... я иду, вспоминаю, мечтаю, как всегда... и вдруг осознаю, что иду я не один, а в огромной, тысячи две человек, толпе этих самых скинов. Многие скины пьяны, горланят что-то, что — не разберу. Другие смотрят вокруг совершенно безумными глазами, видимо наглотались чего-то, руки сжали в кулаки, зубами скрежещут и ревут как медведи... явно ищут жертву. На мое счастье, жертву они искали не в своих рядах, а на улице. А меня они видимо догнали, пока я мечтал, и обошли со всех сторон, так что я, не заметив этого, оказался среди них. В самой гуще.

За толпой следовали полицейские в шлемах и доспехах с пластиковыми щитами и дубинками в руках. Катили машины скорой помощи и автобусы с решетками на окнах. За ними виднелись грозного вида автомобили-водометы, похожие на межпланетные корабли. Сирены ревели так, как перед авианалетом.

Как я мог такое светопреставление не заметить? До сих пор не понимаю. Так приворожили меня экспонаты «Зеленого свода». Обомлел с непривычки.

Я такое только в «Алмазном фонде» видел, в Оружейной палате. Но в «Алмазном фонде» гораздо меньше художественных ценностей, чем в «Зеленом своде», в основном там — помпезная роскошь. А в Дрездене — настоящее пластическое ювелирное искусство, глаз не оторвешь.

...

Несколько секунд ничего не происходило.

А затем... как раз после того, как мы обогнули Дворец культуры и направились по Прагаштрассе в сторону Главного вокзала... человек двадцать скинов необыкновенно быстро выскочили из толпы и окружили двух наблюдавших процессию и разинувших рты подростков южного типа, должно быть румын, болгар или югославов. И тут же повалили их на землю и начали жестоко бить ногами. Мерзавцы были явно старше и сильнее своих жертв.

Дальше события развивались стремительно. Группу скинов, избивающих несчастных подростков окружили полицей-

ские. Они вытянули избитых подростков из круга и начали в свою очередь зверски избивать скинов. Изо всех сил лупили дубинками по лысым головам. Я слышал характерный треск. После чего к ним подъехал один из полицейских автобусов и избитых скинов затолкали в него. Автобус тут же уехал, а подростков увезла скорая помощь. Полицейские вернулись на свои места. Толпа двинулась дальше. Через полминуты события повторились. Скины напали на чернокожего мужчину. Почему он не убежал? Видимо растерялся. Не предполагал, что в цивилизованной Германии подобное возможно.

Воспользовавшись суматохой, я покинул фалангу. Забежал в близлежащее кафе. Раскошелился на кофе со сливками и пирожное. С малиной и черникой. Пальчики оближешь.

...

Позже Эдик рассказал мне, что скины, оказывается, возвращались после концерта. Все вместе, чтобы не попасть поодиночке в руки к враждебным им левакам. Разогретые музыкой, сочащейся ненавистью. И алкоголем. И наркотой. Шли к Главному вокзалу. Но не могли сдержать злобу и нападали на всех, кто казался им не немцем. Избили даже двух мулаток-американок, баскетболисток и студенток Высшей Технической школы Дрездена.

Многих скинхедов задержали, других отправили на поездах домой.

В поездах скины продолжали избивать иностранцев. Сломали руку пятилетнему мальчику из семьи беженцев из Анголы. Изнасиловали двух его сестер. Подонки.

Прошло тридцать лет. На улицах немецких городов больше не видно бритоголовых, зато иностранцев стало заметно больше. В основном — это молодые мусульмане. Юноши и мужчины, имеющие военный опыт.

Часть бывших бритоголовых повзрослела и занялась делом, другие — мутировали в откровенных неонацистов. Таких в Германии все больше. Чем это кончится, я не знаю, я не пророк.

Дезертир Курочкин

Я жил в «лагере для еврейских беженцев» в саксонском Глаухау — с середины октября 1990 года до июня следующего года. В феврале туда приехали жена и дочка. А в июне они уехали назад в Россию. Потому что жене в Германии не понравилось. Я не знал, увижу ли их когда-нибудь еще.

...

Жизнь в Глаухау — была, пожалуй, самым странным периодом в моей жизни. Объяснить это трудно. Потеря родины оставила в душе черную дыру, в которой пропадало все. Обретение новой страны обитания зажгло в сердце новую звезду.

Так я и жил — с черной дырой и звездой в груди.

Расскажу об одном характерном происшествии. Ничего особенного, но на меня подействовало сильно.

Когда это случилось, я забыл... скорее всего в начале декабря 1990 года. Или в конце ноября. Фамилию главного героя этой истории тоже забыл, но помню, что простая, птичья, немного задиристая. Петухов? Гусев? Назову его Курочкиным. Для определенности. Так вот этот самый Курочкин был то ли тромбонистом, то ли трубачом в советском военном оркестре в Дрездене. Дудел, в общем. В звании сержанта, кажется. Как и все остальные музыканты Курочкин узнал, что тогда-то будет вместе со всем оркестром переведен назад в СССР. То ли в Саранск, то ли в Сызрань. Это привело его в ужас. Потому что он уже давно дудел в Дрездене, привык и к местному пиву, и к сосискам, и к небольшим льготам для музыкантов, даже завел себе местную сдобную бабу из бывших советских немцев, часто нелегально ночевал у нее, и возвращаться на родину вовсе не хотел.

Все шло однако своим чередом, оркестр отыграл последний раз на торжественном прощании дрезденского гарнизона с Германией... прошел маленький парад... опустили флаг... почеломкались с осиротевшими немецкими друзьями. Через день отправка... все в поезд и ту-ту.

Тут у Курочкина не выдержали нервы. И он дезертировал.

От каких-то дальних знакомых он слышал, что в Германии можно остаться «по еврейской линии». А у него, к счастью, в свидетельстве о рождении было написано, что мамочка его, давно покойная, — еврейка. Из тех же смутных источников Курочкин узнал, что в Глаухау есть «лагерь для еврейских беженцев». Кто-то из знакомых одолжил ему подержанный мерседес, и Курочкин подло покинул сослуживцев и уже полупустой гарнизон и прикатил на своем мерседесе к нам, в лагерь. Вместе со своей толстомясой подружкой. Кто-то из наших пустил их в свою комнату жить. Курочкин хотел отдышаться, собраться с силами, а через два дня пойти в полицию Глаухау, попросить статуса беженца. Забыл, бедняга, что такое советская армия.

А дальше случилось вот что.

На следующий день после его приезда в лагерь, рано утром... я спал себе на нижнем этаже двухэтажной кровати в крохотной комнатке студенческого общежития языкового колледжа Высшей Технической Школы в Цвикау. Так официально называлось место, где временно был расположен наш «лагерь», где мы, «евреи из СССР» учили по шесть часов в день немецкий язык и привыкали к новой жизни.

Спал я тогда еще крепко и сладко, не то, что сейчас.

И вдруг... слышу сквозь сон, как кто-то открывает входную дверь. И входит в мою комнату. Не могу спросонья ничего понять.

С трудом открыл глаза.

Двое недружелюбных высоких мужчин в черных костюмах стояли рядом со мной и разглядывали мою сонную морду. Один из них пролаял:

— Курочкин, это ты? Вставай, поедем в часть. Конец гастроям. Заждались мы тебя, крррасава...

Я только смог выдать:

— Вы кто?

— Потом узнаешь, кто. Все узнаешь, мразь... Под трибунал пойдешь, предатель...

О Курочкине я слышал, кто-то шепнул вечером на ухо, но лично с ним я не встречался.

Понял все. Проворчал:

— Я не тот, кого вы ищете.

Тут второй черным костюм сказал первому:

— Это не он, посмотри, у этого рожа в три раза шире.

И показал ему маленькую фотографию, похоже паспортную.

Первый посмотрел на фотографию, потом на меня, пробурчал:

— Все жида друг на друга похожи... говори, где Курочкин! Если не хочешь, чтобы мы твою сытую харю исполосовали.

Показал мне нож.

— Не знаю.

Я и вправду не знал. А если бы и знал, не сказал бы гадам.

Второй костюм сказал что-то на ухо первому.

После чего оба мою комнатку покинули, а я вскочил, умылся (каждая комнатка в общежитии была снабжена умывальником), и выглянул на улицу. То, что я увидел, меня не обрадовало.

Общежитие наше окружали солдаты Красной армии. С автоматами. На стоянке перед зданием стояло четыре военных грузовика для перевозки личного состава, бронетранспортер на колесном ходу и черная волга. Приехали!

Первая мысль: «Военные устроили путч. Отказались уходить из Германии».

И для начала решили прошерстить «лагеря для евреев», захватить заложников.

Что делать? Что делать? Что делать?

Идти пешком к бывшей границе. По маршруту Цвикау-Плауен-Хоф.

Перекрыть полторатысячекилометровую границу сразу они не смогут. Километров сто пятьдесят придется пройти до Баварии. Выдержат ли?

Может, по железной дороге удастся проехать хотя бы часть пути. На товарняках... по ночам...

О Курочкине я забыл. Какой еще Курочкин? В лагере гэбисты. Вокруг — солдаты. Бронетранспортер. Волга.

Тут ко мне постучали. Открыл. Этот был Марк, товарищ по лагерю.

Спокойный, высокий, сильный человек.

Он меня успокоил, сообщил, что никакого путча нет, что «эти суки» ищут дезертира-трубача Курочкина, который «спрятался вместе со своей бабой где-то под кроватью, лежит и трясется как заяц...»

— Я бы тоже тряся. И ты...

— Как думаешь, что делать? Нельзя трубача отдавать. Долго прятать не получится.

— Для начала надо полицию вызвать.

— Суки поставили двух солдат у телефона на проходной. Связи нет.

— Надо Курочкина как-то из здания вывести, через черный ход. Посадить в мерс и пусть дует на запад. Ты знаешь, где он прячется?

— Предположим.

— Переодеть надо его в бабу. А телку его оставить тут, она немка, ей ничего не грозит...

— Это идея.

— Пусть она ему свою одежду даст. Главное — парик надо найти. И выбрить его как следует. Припудрить слегка.

— Знаю, у кого есть парик и пудра.

— Ты все знаешь. Если его мерс отогнали, надо в другую машину его сажать. Поговоришь с Розеном? У него уже кажется три вольво. Собирает он их, что ли?

— Поговорю. Думаю даст, он парень азартный.

— Пойдешь потом к трубачу? С париком и пудрой.

— Пойду.

— Ну ты герой. Смотри только, чтобы пиджаки тебя не заметили. У одного из них нож.

— Это бутафория. Они дипломаты. Никого резать не будут. Пугают только.

— Ну давай, удачи!

Как это ни удивительно, но план наш осуществился.

Куручкин действительно переделся в женщину, надел парик и покинул наше общежитие часа через два после нашего разговора с Марком. Марк сказал, что он «жопой вилял как потаскуха и губы накрасил помадой». Беспрепятственно прошел к одному из вольво спекулянта Розена на стоянке. И уехал. Гнал всю дорогу до Хофа, хотя его никто не преследовал, нашел там полицию и сдался властям. Его, кажется, позже послали в другой лагерь. Не на территории бывшей ГДР.

Осаду с нас сняли только вечером. Черная волга, правда, исчезла значительно раньше. Или это был фольксваген?

...

В июне, июле и августе 1991 года я жил в Дрездене в квартире эдиковой мамы.

Рисовал тушью на акварельной бумаге абстрактные композиции. Гулял по городу, заходил в Дрезденскую галерею и другие музеи. Посетил несколько раз крепость Кёнигштайн, где когда-то жил в заточении алхимик Бёттгер, разгадавший секрет изготовления китайского фарфора. Съездил в Мейсен, где этот фарфор позже производили. Подивился на затейливые фигурки. Побывал в Пильнице, Августусбурге, Фрайберге.

В конце августа снял и въехал в большую трехкомнатную квартиру в городе К. на Бланкенауерштрассе. С печным отоплением и туалетом на лестничной клетке. В доме, принадлежавшем еврейской общине. Впечатления от этого события использовал в мрачном рассказе «Инес». В этом тексте все предстает, разумеется, в гипертрофированном виде, но многие мелкие подробности тамошнего житья-бытья — «чистая правда».

В октябре в Германию приехали моя беременная жена и дочка. Я встретил их в Польше. Дочка быстро освоилась, а бедная моя жена впала в депрессию. Каждый вечер плакала. В начале декабря родила вторую дочку. Но плакать не перестала.

А меня приворожила одна немочка. У которой тогда еще был муж. И трое несовершеннолетних детей.

Моя семейная жизнь стала адом.

В сентябре 1993 года жена не выдержала и уехала вместе с двумя дочерьми к ее, приехавшим тогда из России на ПМЖ в Германию, родителям, в деревню недалеко от города Пфорцхайм. Жизнь в богатом и благополучном Баден-Вюртемберге, недалеко от Штутгарта, Баден-Бадена и Страсбурга была мягче, чем в Саксонии, находившейся после Объединения Германии в состоянии перманентного раздора.

Жена взяла себя в руки, победила депрессию, сняла для себя и детей хорошую квартиру в многоквартирном доме. Нашла плохую работу. Помучилась и нашла работу хорошую. Стала тем, кем была и в Москве — программистом. А потом нашла себе нового мужа, с которым до сих пор живет.

А я остался один в городе К.. Эмиграция как будто началась с начала. Ужас сгустился.

Еще до отъезда жены, в декабре 1992 в городе К., в галерее «Кунстхютте» открылась, затянувшаяся месяца на три, моя первая персональная выставка в Германии. Называлась она весьма претенциозно — «Мистические конструкторы». Так назвал ее директор галереи, господин Баллерин, ставший позже моим другом. Около семидесяти графических работ.

Позже я вступил в Союз художников Саксонии. Меня «узнали». Обо мне писали в местной прессе, брали интервью, даже по телевизору показывали несколько раз... все это не дало мне ничего, но тешило мое тщеславие.

Помню, шел по перрону железнодорожного вокзала в городе К. Навстречу попались две девицы лет по двадцать. Неожиданно они схватили друг друга за руки и уставились на меня. Поскорее мимо прошел. Но расслышал, как одна девица сказала другой: «Смотри, этот тип в берете... Его вчера по телевизору показывали!»

А другая ей ответила: «Ну и мрачная же у него рожа... Кого он убил?»

Первую свою постоянную работу — в «культур-клубе» я получил только в 1994 году. Курировал там для ностальгирующих гэдээровских пенсионеров «русский проект». Делал доклады (искусство иконы, Врубель, Кандинский, Габо, Шварцман, Булгаков), устраивал выставки, концерты и «культурные вечера».

В Москву не хотел. Полюбил Саксонию. Немножко. Было за что... удивительно красивая страна. Холмы, горы, замки. И жратва вкусная. Народец только немного того... подвел. Но что можно требовать от людей, переживших Первую Мировую, инфляцию, фашизм, Вторую Мировую, сорокапятителетнее советское господство... а потом вдруг «влитого» в ФРГ. Да еще и с одновременной потерей работы.

В гостях у господина Б.

О городе К. я писал и не раз. И о том особенном, многогранном психозе, который получает эмигрант в награду за эмиграцию. Любой эмигрант. Но особенно — эмигрант-интроверт, эмигрант-невротик, эмигрант-художник.

Грань первая. Мне казалось, что все на меня смотрят. Смотрят с неодобрением. С осуждением. Не только чиновники в управлении по делам иностранцев или в социальной службе (эти звери и смотрели зверем)... но и простые смертные, прохожие, покупатели в супермаркете или посетители музея. Зверем смотрели на меня и автомобили, и здания, и улицы, и Солнце и Луна, и рекламные плакаты и собаки. В их взглядах, в их белесых глазах читались презрение и угроза. Если бы я захотел это нарисовать — нарисовал бы улицы с огромными собаками вместо домов, ощерившими свои зубастые пасти с высунутыми языками на маленькую фигурку, идущую по середине улицы. Кажется, кто-то из мастеров гротескной графики уже нарисовал что-то подобное в прошлом веке. Наверное, Пауль Вебер.

Я с детства боюсь собак...

Это чувство — что все на тебя смотрят — прошло только на четвертом или пятом году эмиграции.

Грань вторая. Мне чудилось, что все окружающие слышат мои мысли. Как будто невидимые дьявольские динамики разносят их по всему свету. И тысячи, миллионы людей хохочут надо мной. Знаете, что этот тип сегодня выдал? Животики надорвете от смеха.

Грань третья. Сам себе я представлялся беззащитным, обнаженным, слабым — даже в тех ситуациях, когда было ясно, что это вовсе не так.

Грань четвертая. Когда я говорил по-немецки с немцами... мне все время казалось, что я делаю ошибки. И несу ужасную чушь. Их же ответы представлялись мне — умными и содержательными, даже если таковыми не были. Я нервничал и делал из-за этого еще больше ошибок.

О других гранях психоза эмигранта я и говорить не хочу, так они позорны. Замечу только, что с новой родиной у эмигранта начинается что-то вроде интимных отношений. И этот «секс» носит нездоровый характер, это отношения домины и раба. И домина тут не игрушечная, покупная, а реальная жестокая садистка. И раб — вовсе не мазохист-любитель, который после порции унижений и издевательств получает-таки долгожданный коитус... Нет, рабство эмигранта не вознаграждается никогда, и единственное, что может уменьшить страдания — это привычка. Не карьера на новом месте, не успех, не деньги, даже не новые женщины — только привычка.

Сейчас, после тридцати лет жизни на новой родине, я к ней привык. Но она до сих пор то и дело маленькими хлесткими ударами и уколами напоминает мне о моем истинном положении и конца этому не будет.

...

Никогда не думайте, что вы заведомо — хоть в чем-то лучше, талантливее, глубже других людей. Так думают только недалекие люди.

В мои первые годы в городе К. я вообразил себе, что я в нем — лучший художник. Долго-долго я, втайне от всех, наслаждался этой сомнительной мыслишкой. Посмеивался саркастически. И мой сарказм согревал мою одинокую глупую душу...

Потом, помнится, забрел на выставку художницы Р, затем на выставку графика Т... и мне, скрепя сердце, пришлось признать, что эти артисты (несколько позже в этот список вошли и другие художники) не только очевидно лучше меня техниче-

ски, но и «продвинутое» меня в том, в чем я себя считал особенно продвинутым, в — спонтанном развитии формы, приводящем к появлению на листе бумаги или на холсте метафизических миров, не только достаточно внутренне богатых, насыщенных и разнообразных, чтобы соперничать с нашим реальным миром, но и годных для того, чтобы принять нас, стать для нас местом обитания, убежищем...

Честно говоря, это открытие не расстроило меня. Наоборот — оно придало мне надежду. Если не я, то другие. И еще и значительно лучше меня.

Главное, эти миры, миры о которых я мечтал еще в детстве — существуют. И тянет в них не только меня, но и совершенно чуждых мне людей, людей чужой культуры.

Ладно, говорил я себе, немецкие мастера графики это действительно мастера... но ты, ты лучше всех можешь интерпретировать их работы.

Как видите, мои амбиции, как катящийся по изогнутой поверхности шарик, замирающий в нижней точке, нашли-таки себе нишу. Я опять начал саркастически похихатывать. Да, мол, рисуете вы, не все конечно, но некоторые из вас, пожалуй иногда и лучше меня... но понять и объяснить ваши работы, подарить им жизнь, я, чужак и пришелец, могу лучше, чем ваши эксперты и чем вы сами. Вашу искусствоведческую мудрость я уже освоил, но у меня есть еще и другой опыт, совсем другой... и вместе они делают меня сильнее и глубже вас.

Жизнь не сразу, но и тут, и на этом поле, доказала мне мою неправоту.

Случилось это так.

Мои новые друзья-художники посоветовали мне, почему-то злорадно посмеиваясь, — показать мои работы коллекционеру и искусствоведу, господину Грегору Б. Он, мол, знаток восточного искусства, возможно увидит в них то, что мы, дубинноголовые простецы, не видим.

Мне дали номер телефона, и я по нему позвонил не без внутренней дрожи — говорить по телефону, если ты неважно знаешь язык — особенно трудно. Можно запросто свалить ду-

рака. После моих первых неловких попыток, объяснить по-немецки, кто я такой и чего я хочу, низкий голос в трубке вдруг спросил меня по-русски, почти без акцента: «Вы русский художник? Хотите зайти ко мне и показать свои рисунки? Приходите завтра в семь часов вечера. Улица... Дом номер... Вы где живете? Бланкенауерштрассе 8? Мои апартаменты в пяти минутах ходьбы от вас. Выходите на бульвар, первая улица налево. Там легко найдете».

На следующий день я отправился к Б.

Несмотря на ноябрьский туман, быстро отыскал его квартиру, в большом старом доме постройки начала двадцатого века. Дверь показалась мне огромной, она была явно выше и шире обыкновенной двери и как-то особенно укреплена... уже через несколько минут я понял, зачем и почему.

Грегор Б. оказался маленьким, уютным человеком с большим толстым носом, в прямоугольных очках. С брюшком. И с ужасными бакенбардами девятнадцатого века. Он расцеловал меня в прихожей (как-то слишком рьяно), пахнул на меня при этом алкоголем и дорогим одеколоном и препроводил в большую комнату с темными стенами. Одна из них была украшена маняще поблескивающими золотом старыми русскими иконами.

Три другие стены этой комнаты тоже не пустовали. На них висели работы художников русского авангарда двадцатых и тридцатых годов. Узнал по стилю Малевича, Лисицкого, Татлина, Гончарову, Ларионова...

Не удержался, спросил: «Откуда у вас такие сокровища? Настоящий Татлин?»

Господин Б. ответил по-немецки (иногда он замечал, что я не понимаю, и переходил на русский, которым владел в совершенстве):

— Конечно настоящий. Контррельеф. В вашей прекрасной стране произведения авангардистов долгое время не ценили. Все работы, которые вы тут видите, я приобрел в провинциальной России в начале шестидесятих годов за копейки. Вывезти их мне помогли влиятельные друзья из вашей номен-

клатуры, недоумевающие, зачем это мне понадобились этот «хлам» и эта «мазня». Тогда же я буквально спас от уничтожения и эти иконы, их у вас во времена Хрущева сжигали тысячами, содрав оклады на переплавку...

— А Ларионова и Гончарову в Париже купили?

— Да, картину Гончаровой я приобрел у небезызвестной Томилиной, а тот холст, который вы приняли за работу Ларионова, я выменял. Отдал владельцу не очень дорогую китайскую вазу.

— А китайские вазы где приобрели? Хотя понятно, во времена «культурной революции» их, говорят, хунвейбины кололи как орехи.

— Именно так. Но мне, как тогдашнему официальному представителю закупочной комиссии ГДР разрешили приобрести по льготной цене и вывезти. Хотите, пойдём посмотрим мою коллекцию фарфора и керамики в другой комнате?

— Нет. Прошу вас, позвольте мне эту комнату вначале переварить. Я не ожидал увидеть тут, в этом темном городе такое чудо... я ведь тоже иконы писал.

— Хорошо, тогда для начала выпьем винца. Монтепульчано. Бордовое. Мне недавно прислали целый ящик из Италии. Друзья.

В комнату неожиданно вошел «прекрасный юноша» в полупрозрачной шелковой рубаше навывпуск и в шелковых же шароварах. На ногах его посверкивали украшенные цветными стекляшками полусапожки. На голове его я заметил небольшую позолоченную корону. В руках он держал поднос с бутылкой вина, двумя синими рюмками и небольшим блюдом с хрустящими хлебцами. Юноша поставил поднос на стол, кивнул и грациозно удалился. Я заметил, что его лицо было загримировано под женщину, губы на помажены. Посмотрел вquisительно на хозяина дома.

— Это один из моих мальчиков, Гитон. Он помогает по хозяйству и ухаживает за оранжереей. Хотите посмотреть мою оранжерею?

— Спасибо, может быть в другой раз. Я хотел бы показать вам мои рисунки.

— Ах, да, какой я забывчивый. Разумеется. Давайте вначале выпьем по бокальчику, закусим, а затем посмотрим, что вы там нарисовали...

Выпили и закусили.

Чертово вино тут же ударило мне в голову. Хлебцы имели какой-то странный привкус. Имбирь?

Почему-то почувствовал себя заторможенным и поглупевшим.

Этот голубой дядя явно лучше меня разбирался в искусстве. Лучше понимал жизнь. Сейчас я раскрою свою папку, а он начнет смеяться и сочувственно хлопать меня по плечу.

Господин Б. спокойно пролистал мои рисунки. Кивал головой. Не хвалил, не ругал, вообще не комментировал.

Но о горе, горе!

Невольно смотря на мои заветные работы его глазами, я и сам все увидел, все понял. Все туманы развеялись сами, все маски упали.

Я увидел печальную правду. Рисунки были слабыми. Слабыми!

Неумелыми попытками изобразить то... То, что не имеет формы. Не может ее иметь. Жалкие попытки дилетанта приблизиться к непостижимому.

Как бы вторя моим мыслям, Б. пробурчал:

— Не обижайтесь, господин Ш.. Но единственное, что тут достойно похвалы, так это ваша дерзость... Сами знаете, что вы хотели... на что замахнулись. Ну и срезались. Естественно. Нахрапом Небесный Иерусалим не завоевать. Посмотрите на ваши иконы. Сколько труда, терпения, смирения, и сколько таланта! Не хотите ли еще винца?

...

Я ушел от господина Б. через три часа. Полный новых впечатлений и нового знания о мире и о самом себе.

Подобное озарение произошло со мной два раза в жизни. Первый раз — в Москве конца семидесятых, в квартире знаменитого мистика-иерата Михаила Шварцмана. Второй — в ту-

манном саксонском городе К., в домашней галерее коллекционера Грегора Б. Трудно себе представить более непохожих друг на друга людей. Однако оба они сбили с меня спесь, прочистили мозги и подтолкнули вперед. Вперед в моем случае, не означало вверх, скорее — немного вниз.

Господин Б. показал мне таки свою коллекцию фарфора, и японские гравюры, и китайские рисунки тушью, и множество изящных вещичек эпохи югендстиля, и многое другое. Сопровождал эту экскурсию короткими, точно бьющими в цель комментариями. И эти его реплики дали мне больше, чем десятки многословных и нудных искусствоведческих книг, которые я к тому времени прочитал.

Надо было мне тогда перестать рисовать. Но я был упрям как вол. Что ж, былого не воротишь. Я сменил стиль с «возвышенного» на «низменный». И рисовал еще несколько лет, пока окончательно не забросил художества.

Позже я узнал, что господин Б. был много лет информатором ШТАЗИ. И что именно поэтому ему и позволили, и помогли собрать огромную уникальную коллекцию, которую он, впрочем, пожертвовал позже различным музеям.

Но мне на это наплевать.

ПРИВИВКА

Уколи шоколадного зайца шариковой ручкой

Сегодня первый раз привился.

Увы, вакциной AstraZeneca, которая уже несколько дней как сменила имя и называется нынче как-то совсем непроизносимо.

Прививался в прививочном центре, находящемся в бывшем берлинском аэропорту Тегель, в недоброй памяти терминале С. Не раз торчал там часами в ожидании самолета. Проклиная все на свете.

Да, да, все говорили, такси долетит до Тегеля, не заметишь, сегодня же Пасха, все сидят по домам, пьют и обжираются.

И тем не менее в центре Берлина были пробки, и меня укачало как ребенка.

Шофер рассказывал мне в пути про пророка Мухаммада. Утверждал, что он добрый и милосердный. Еще заявлял, что и Путин и Эрдоган, и даже Иран пляшут в Сирии под дудку американцев. Я не спорил, мне было нехорошо. В конце поездки шофер сообщил:

— Все берлинские турки прививаются только китайской вакциной. — И предложил купить у него две баночки... всего за двести евро. — И еще мне говорили — ты только не пугайся, там будет длинная очередь перед входом в центр, но она очень быстро идет... Потерпи.

Похожая на громадную змею очередь перед входом в терминал С была, я не шучу, километра два с половиной длиной. Расходилась огромными петлями.

Два часа топтался на ледяном ветру.

Вокруг — старые люди в масках. И сотни ворон на тополях. Каркают, подлые.

Корректные надсмотрщики-арабы в желто-зеленых комбинезонах управляли движением очереди. Что-то по-своему кричали в рации. Мерзли.

Какой-то энтузиаст разносил воду. Воду никто не пил. Холодно. И непонятно, где потом...

Немцы не роптали, я кипел. Раса господ! Не могут элементарные вещи по-человечески организовать.

Ладно, отстоял свое. Судьбу не обманешь. Вошел в терминал С. А там народу...

Сотни, тысячи людей. Как в Индии. На сравнительно небольшом пространстве. Все конечно в масках, но все равно тошно...

Непонятно зачем нас гоняли с места на место еще час. Вытерпел. А что делать?

Укололи наконец. Миловидная такая врачиха. Молодая, но въедливая. Вы, говорит, никогда после прививки в обморок не падали? Назойливые суицидные мысли в голову не лезли? Температура не поднималась?

Наверное психиатра прислали из Шарите. На практику. Уколы делать старикам и старухам.

Обратно ехал — опять больше часа. Чуть автомобиль шоферу-турку не заблевал. Мерседес. Так укачало. Светофоры каждые 100 метров. И машин тысячи.

Куда их всех дьявол гонит? Ведь закрыто все, и бары, и рестораны, и бордели. А с девяти и вообще — комендантский час.

Да, забыл, на выходе из центра мне вручили большого шоколадного зайца в фиолетовой фольге. Взял, я не гордый. Подарю кому-нибудь. Немка моя шоколад не ест. Слишком сладкий. Или нарушу диету и съем зайца сам. Сделаю такую подлость. И еще — ручку шариковую синенькую после заполнения анкеты положил себе в карман. На память. Люблю трофеи.

...

Дома — с удовольствием рассказал своей немке о прививке в Тегеле. Немножко приврал, как же иначе. Она все охала, гладила меня по голове... предложила отведать вареной куря-

тины с тexasским рисом. Потом достала из недр холодильника баночку черной икры и два холодных пасхальных яичка. И заварила зеленый чай. А ночью мне приснился сон.

Будто бы я все еще стою в этой проклятой очереди, похожей на змею. А рядом со мной томится семейная пара... оба за семьдесят, седые, симпатичные, моложавые.

Говорю им:

— Как думаете, сколько еще нам тут торчать? Осточертело... на холодрыге.

Она только вежливо улыбнулась, а он ответил:

— А кто его знает? Может, у них вакцина закончилась или врачи забастовали. Или...

— Или что?

— Я кое-что заметил...

— Что заметили?

— Мы ползем в этой очереди уже час. Так вот... я все время смотрел... из терминала никто за это время не вышел. Входили — да, человек по десять в минуту или чуть больше. Я считал. Но никто не вышел. Ни один человек. Смотрите, смотрите, такси уезжают пустые, без пассажиров.

До терминала было отсюда метров триста. Я прищурился так, что по щекам потекли слезы. Кажется, мой собеседник был прав. Но что бы это значило? Сколько лоб ни морщил — ничего не придумал.

— У вас есть объяснение?

— Есть, но...

— Что, но?

— Но доказать я ничего не могу.

Тут вмешалась его жена.

— Не тяни, Вернер! Ты всегда тянешь резину. Выкладывай.

Вернер немножко помолчал, потом прочистил горло, похрипел, посвистел, и выдал из себя:

— Извините. Но там, в терминале, никто никого не прибивает. Все ложь. Потемкинская деревня. Камуфляж. В термини-

нале С не прививочный центр, а место для забоя скота. Бойня. Кровавая баня. Назовите, как хотите. Там убивают старых людей. И все, кроме нас, об этом знают.

— Боже мой!

— Да, Мадлен.

— Погоди, дорогой... но если все в очереди знают, то... почему не бегут отсюда, почему не вызывают полицию, не кричат?

— Потому что мы не люди, а овцы.

Тут Вернер тихонько заблеял... для правдоподобия.

Я должен был вмешаться в разговор.

— Идея! Давайте не будем овцами. Уйдем отсюда потихоньку, не привлекая внимания этих — я показал рукой на собакоголовых надсмотрщиков в желто-зеленых комбинезонах. А если ничего ужасного не произойдет, вернемся и мирно дождемся своей очереди на прививку.

Супруги в ответ на мое предложение согласно кивнули и пошли налево. Под руку. А я — направо.

И тут же собакоголовые как-то неестественно быстро подскочили к нам и ужасными ударами резиновых дубинок по голове и по спине загнали нас назад в очередь. При этом бешено лаяли и хрипели. Один из них еще и укусил меня за ухо, негодяй. Из раны засочилась кровь. Ухо стало свербеть. Я перевязал его носовым платком. Стал похож на Ван-Гога с известной картины.

Вернер играл желваками и каменно молчал. Grimаса на его лице означала:

— Вот видите, я предупреждал, не надо было дразнить гусей. Теперь нам конец.

А Мадлен начала почему-то нервно хохотать. Это был шок. Вернер обнял жену за узкие плечи, поцеловал, успокоил.

Люди, стоявшие в очереди недалеко от нас, демонстративно отвели глаза. Огромные, на выкате. Некоторые примирительно заблеяли.

Мы молчали минут пять, потом заговорила Мадлен. На незнакомом мне гортанном языке. Я попросил ее перейти на

немецкий, а она показала мне язык. Толстый, нечеловеческий. И захрюкала. Затем медленно, словно бы нехотя, превратилась в мою немку.

Та трясла меня и говорила:

— Проснись, проснись, Гарри, это только кошмар. Ты такой горячий, наверное у тебя жар. Ты слишком чувствительный. Смотри, руки дрожат. И плечо распухло. Погоди, погоди, а откуда у тебя этот мех на груди... и на руках... и на спине. Прямо как у барана. Я раньше не замечала. И что это с твоим ухом?

Ровно через двадцать четыре часа после прививки у меня действительно поднялась температура. Закружилась голова, занули суставы. Меня тошнило, я почти не мог ходить. Организм мой протестовал против впрыснутой в него, биологически активной жидкости. Еще через два часа начался бред. С галлюцинациями.

Я не видел больше ни длиннющей очереди, ни собакоголовых, ни Вернера, ни Мадлен, ни зловещего терминала. Передо мной прыгал и скакал шоколадный заяц в фиолетовой фольге. Величиной со слона. Омерзительно улыбался, ухал и что-то бормотал. В руках у меня была неестественно большая синяя шариковая ручка. И я все пытался и пытался уколоть ею зайца в покатое плечо.

На следующее утро все неприятные симптомы исчезли. Вторая прививка назначена на конец июня.

Кентавры

Ждать второй прививки мне пришлось три месяца. Вечность.

Многие непривитые успели за это время два раза благополучно привиться. И не сомнительной оксфордской Астрой, а солидным германским Байонтехом. Задирали нос и не без злорадства спрашивали меня, моргая довольными водянистыми глазками:

— Когда же ты привьешься, друже? Скоро начнут прививать от новых мутаций, а ты все еще от старого варианта не привился. Сходи к врачу, что ли. Ты становишься опасным гостем. Не удивляйся, если мы больше не будем приглашать тебя.

Как будто от меня что-то зависело. Мне объяснили, почему конец июня — оптимальное для второй прививки время. Назначили дату. Я поверил. Не оспаривал мнение специалистов. Я ничего не понимаю в вирусологии.

Потратил эти три месяца на изучение графического наследия давно любимого художника — Альфреда Кубина. Занялся им всерьез. Купил полтора десятка книг, альбомов и прозы, в том числе папку из сорока рисунков пером — «Сансара» (факсимиле оригинала, вышедшего в 1911 году). Листал, читал, размышлял, сравнивал, фантазировал. Это немного скрасило мою печальную жизнь. Обогастило впечатлениями, которые в нашем карантинном бытии отсутствовали.

Как всегда, мне казалось, что художник нарисовал свои рисунки — специально для меня, для развлечения и утешения в черную годину. Показал мне, что все, что мы испытали во время этих кошмарных пандемических лет — существовало и раньше, что отчаяние и ужас были всегдашними спутниками человека, только иногда люди это забывали и жили, как будто в теплой сверкающей пене, но реальность рано или поздно ставила все на свои места. Опять и опять подводила человечество к краю обрыва. И безжалостно сталкивала многих в пропасть.

Кубин помог, отвлек, развлек, но не спас от депрессии и горечи. К тому же я по опыту знал, что за это «погружение» в чужой мир придется платить. И боялся, что мое разгулявшееся воображение построит для меня по чертежам Кубина индивидуальный ад. Будущее показало, что боялся я не зря.

24 июня я поел геркулесовой каши с черникой, выпил кипятку и поехал в прививочный центр Темпельхоф. Раньше там был городской аэропорт, который построили еще при

Гитлере. Колоссальное здание. Ныне — полузаброшенное. Во время блокады Западного Берлина, которую организовал человеколюбивый кремлевский дядюшка Джо, там приземлялись «изюмные бомбардировщики» союзников, спасшие берлинцев от голода и холода.

Поехал не на такси, а обычным городским транспортом, не хотел, чтобы опять до смерти укачало. На электроавтобусе до эс-бана, затем до станции Ост-Кройц. Всего пять остановок. А потом — еще четверть часа по кольцевой линии, до Темпельхофа.

Докатил без приключений.

Отметил про себя, как много народу было на кольцевой линии. Темные люди. Какая уж тут «дистанция»... и, хотя все носили медицинские маски, было ясно — если бы в нашем вагоне ехал хотя бы один больной коронавирусом пассажир, то заразил бы всех.

Некоторые пассажиры кашляли. Другие коварно сдвинули маску вниз и дышали носом. А один молодой длинноволосый хиппарь, убедившись, что в вагоне нет полиции, демонстративно и брезгливо, как в свое время Трамп, снял маску и положил в карман. Гордо, как орел, осмотрелся, мол, мне ваша корона нипочем, а всех вас, трусов, я...

От станции эс-бана до прививочного центра — еще полтора километра. Вначале надо идти вдоль улицы Темпельхофер Дам, потом свернуть направо и войти на территорию бывшего аэропорта через десятые ворота. А дальше — топтать к Ангару номер четыре по широченной бетонной полосе, по которой раньше ползали рокочущие самолеты.

Дошел наконец. Искал глазами очередь в Ангар... очереди как три месяца назад в Тегеле не было. Почему? Энтузиазм испарился? Или страх пропал?

Вошел в здание Ангара и сразу попал в заботливые руки указателей пути. Указатели указывали, показывали, говорили: «Битте...»

Это были арабы и чернокожие, видимо еще не зашедшие на пути изучения немецкого языка дальше слова «битте». Они

были милы и любезны, особенно арабки. Или это были турчанки? Не знаю. Все они носили специальную униформу, а на кокетливых головках — пестрые платки.

Меня тут же подогнали к маленькому окошечку в фанерной стене и заставили еще раз заполнить анкету, которую я уже заполнял три месяца назад, потом я подписал освобождение от ответственности для эскулапов. Затем усталый врач уколол меня в плечо, улыбнулся застенчиво и покачал головой, выражая этим удовлетворение от проделанной работы.

Не стал дожидаться оформления электронного паспорта, вышел на улицу. Душно было в этом Ангаре номер четыре. Пахло людьми.

Побрел по полосе в сторону станции эс-бана.

И тут мне стало плохо. Остановился...

Тупо смотрел вперед, искал глазами десятые ворота, пытался взять себя в руки. Но не мог.

Понимаете, я слишком долго ждал этой проклятой второй прививки. Боялся заразиться, как и другие. Необходимые дела откладывал на потом. Скопилось их целая куча. И куча эта шевелилась, дымилась как вулкан и была готова взорваться.

Ждал, ждал, ждал. Мучился, терзал себя. Так уж вышло, что на вторую прививку навернулись, как на вилку макароны, — все мои ожидания, упования, надежды. И вот меня привили. Но ничего хорошего не произошло. Страх не перестал меня мучить. Я не стал свободнее и здоровее. Мир не изменился к лучшему.

И вот, я стою на полосе бывшего аэродрома. И не могу двинуться с места как испорченный самолет. Сзади меня — раскинула бетонные руки гигантская гитлеровская постройка, похожая на грандиозные ворота в преисподнюю с графического листа Кубина. Впереди — не видно ничего. Потому что на землю опустился клокастый туман. А из темных, низко висящих облаков, закапал теплый дождь.

Сел на землю и попробовал успокоить бешено бьющееся сердце. Начал себя уговаривать.

Что это ты так распахивался? Расквасился, как старая глупая тетка. Все хорошо. Тебя привили. Радуйся. Вставай и иди. Потихоньку все наладится. Дома тебя немка ждет. Может быть опять курицу приготовит с техасским рисом. Или рыбу. Вставай, вставай, это еще не конец комедии. А как же туман? Дороги не видно. Будущего нет. Наплевать на туман. Иди так, чтобы это ужасное здание было у тебя за спиной. Авось и придешь, куда надо. А будущее... его сейчас нет ни у кого.

Кое как поднялся и пошел. И тут впервые услышал шум. Шум и топот бегущей толпы. Не поверил своим ушам. Откуда тут взяться толпе?

Шум становился громче, толпа явно приближалась.

Вскоре я увидел ее. Она... они бежали... они гнались за мной! Их было много. Кто это?

Расслышал их истошные крики. Лошадинами своими глотками они орали одно и то же: «Он не привился! Не привился! Он источник заразы. Убьем его! Убьем! Убьем!»

Тут я не выдержал и побежал.

Задыхаясь и спотыкаясь, побежал от бешено орущих людей. Людей? Бегущие эти существа были похожи на черных лошадей. Кентавры.

В руках их мелькали темные палки. Я боялся, что они догонят и забьют меня до смерти.

Они долго преследовали меня.

Я бежал по полосе, а потом, не знаю как, оказался на незнакомой берлинской улице. Свернул на другую. На третью. Как же все они похожи!

Помощи ждать неоткуда. Может быть укрыться в церкви? Подбежал к церковной двери, постучал, толкнул, дернул. Заперто.

Черная толпа не отставала от меня. Прохожие на улицах присоединялись к бегущим. И превращались в кентавров.

Их дикое ржание резало мне уши.

Топот их копыт сотрясал землю.

Их смрадное дыхание отравляло небеса.

На берегу пересохшей реки они настигли меня, я упал в песок и закрыл голову руками.

Морок развеялся так же неожиданно, как и начался.

Я сидел на сиденье в вагоне берлинского эс-бана. Вагон уютно покачивался. Напротив меня молодой японец играл с крохотной дочкой, лежавшей в детской коляске. Подал ей погремушку в форме сверкающего колечка. Она засмеялась, схватила погремушку маленькой перламутровой ручкой и стала грызть ее беззубым ртом.

КАРТИНКИ ИЗ ЭНИГМАТИЧЕСКОГО АЛЬБОМА

Посвящается Альфреду Кубину

1

Мне так надоело быть человеком! Маленьким, бедным, нервным, больным...

Ни на что не годным. Стареющим. Мне опостытели люди, города, опостылел наш век. Только что начавшийся, но уже обещающий стать худшим во всей истории человечества.

И я, сам не знаю как, превратился в огромную черную обезьяну — в самца, властелина мира... Все теперь принадлежит мне.

Даже время.

Но я не знаю, как воспользоваться моим неслыханным могуществом. Поэтому не делаю ничего. Выжидаю и скучаю.

Характер мой из-за этого превращения испортился, я возгордился и одичал, да и самочувствие — не улучшилось. Я все еще страдаю от приапизма и запора, у меня то и дело болит живот и свербит в мошонке...

Днями и ночами я сижу на пляже и бросаю тяжелые гранитные глыбы в холодный серый океан. Меня забавляют всплески, волны и желтоватая пена.

Чего я жду?

Знака. Сигнала. Сигнала... от кого?

От высших сил. Но они молчат.

...

Со стороны суши ко мне непрерывно идут люди.

Жестикуют, кричат, встают на колени и умоляют меня о чем-то. Кажется, они видят во мне защитника, избавителя, спасителя.

Глупцы! Ведь я даже не могу спасти самого себя от назойливых блох.

Иногда, в безлунные ночи, я, черный исполин, встаю, запрокидываю свою косматую голову, открываю страшную клыкастую пасть и истоиво рычу на звезды, а затем давлю в ярости спящих вокруг меня людишек своими когтистыми ножищами. Это доставляет мне радость, ведь я властелин их душ и тел.

Они лопаются как пузыри.

Но люди все равно идут и идут, со всех сторон, подают на колени и громко взывают ко мне. Я разрываю их на части и строю из их трупов пирамиды. Рву на себе шерсть, смешиваю ее с землей и кровью и укрепляю этим цементом их стены.

Люди приносят мне рядом с ними свои жертвы.

Перерезают первенцам глотки кривыми ржавыми ножами с зазубринами.

И голосят потом, как гиены. Безумцы!

...

В ясную погоду в полдень я дую в воздух и беседую с Солнцем. Оно греет и успокаивает меня.

Недавно оно рассказало мне о том, что на другой стороне Земли, на пляже в Калифорнии сидит самка, такая же как я, огромная черная обезьяна.

Чуткими ноздрями я чую ее запах.

Сегодня в полночь отправлюсь в дальний путь.

2

Посередине бесплодного плато, за границами которого колышется и мреет штрихованное небытие...

Сажу на корточках на большом бетонном кубе. Худой и голый. Колени касаются моих ушей. Хоть я и не йог.

Или все-таки йог? Никогда не задумывался.

Играю на трубе. Или на кларнете. Не важно.

Играют йоги на кларнете? Вряд ли.

Вокруг меня, на земле, вповалку спят люди. Завернувшись в темные одежды.

Игры моей они не слышат.

Или они уже умерли и не могут меня слышать?

Умерли в эпидемию, которую я пересидел тут, голый, на моем кубе, лежащем в середине бесплодного плато.

Или я сплю? И лежащие вокруг меня люди — это только невыносимо навязчивая метафора моего сонного оцепенения?

Или я тоже умер?

И этот голый худой человек на бетонном кубе, играющий на своей дурацкой дудке — это вовсе и не я, а только данный мне слугами ада напрокат образ-вместилище.

И моё предназначение — сидеть тут и играть на трубе, пытаюсь разбудить своей игрой мертвых людей.

3

Вода окружала покоящийся на небольшом возвышении замок со всех сторон. Река огибала его с севера и запада, на востоке и юге замок защищал узкий канал, вырытый в незапамятные времена. Тогда же через реку и канал были перекинуты мосты, на которых едва могли бы разъехаться две кареты.

Я сидел на берегу там, где сходились река и канал, напротив моста, и зарисовывал коричневым карандашом в альбоме то, что проходило или проплывало передо мной. Надеялся забыть то необъяснимое, страшное, что произошло с нами вчера. Забыть окровавленные руки и не слышать больше истошные крики. Забыть то, что проникало через еле заметные трещинки в мою жизнь и жизнь моей жены, и вчера получило свое логичное и ужасное завершение... да-да, оно проникало и уничтожало все доброе и хорошее, все, что мы создали за семь лет совместной жизни... жизни в любви и согласии, хоть и бездетной. Когда же это началось? Дни, месяцы или годы назад?

Когда ты в последний раз видел счастливую улыбку на лице жены? Улыбку, которая так радовала тебя в первые годы вашего брака. Когда вы последний раз танцевали на берегу моря, пили коктейль и весело болтали за завтраком, страстно, до изнеможения, любили друг друга воскресным утром? Когда все незаметно опреснело, когда жизнь стала серой?

Неудивительно, что к нам послали этого... дегенеративного типа... с голым черепом вместо головы. Специалиста по календарю майя.

Прямо передо мной по дну реки брели две клячи. Беседовали друг с другом о том о сем. Пегая и гнедая. Пегая была неисправимой пессимисткой, а гнедая любила поболтать о будущем австрийской монархии. Наверное удрали откуда-нибудь. В глубоких местах они плыли.

Лошадей догоняла погребальная лодка с покрытым саваном гигантским гробом посередине. Двое мужчин с длинными шестами, похожие на венецианских гондольеров, тихо пели свои куплеты. Мертвец-голиаф подтягивал им из гроба баритоном. У изголовья гроба сидел священник и негромко читал молитвы. Иногда он зачем-то плевал через левое плечо.

За ней плыла другая лодка, также управляемая гондольером с шестом. В середине этой лодки был установлен огромный барабан. За ним стоял человек в высокой золотой шляпе жреца и торжественно бил в него правой и левой рукой. Один раз в секунду. И барабан этот гудел как церковный колокол. Или как потревоженный пчелиный рой.

Справа от меня на берегу сидела странная парочка. Старуха держала на руках годовалую девочку. Рядом с ней сидел сердитый и насупленный китаец в пестрой шапочке, в руках у него были ручные меха, такие, какие используют ювелиры или кузнецы. Сопло мехов было вставлено в задний проход ребенка. Китаец яростно сжимал и раздувал меха. Трудно было понять, причиняет ли это девочке боль или приносит удовольствие. Надувает или просто сушит ее. Животик ребенка был раздут как у беременной.

Мне было жаль девочку, но я не встал, не подошел к ним, не вырвал меха из рук гадкого китайца, не треснул ими его по голове... я знал, что и меха и девочка и старуха и китаец — не более чем миражи, фата-морганы, не существующие на самом деле фигуры из параллельного мира. Мои руки схватили бы воздух...

Да, схватить я не мог ничего, но наблюдать мог... хотя все представлялось мне как будто я смотрел сквозь призму... и наблюдал и рисовал.

Три нагие женщины собирались купаться. Одна из них носила протез ноги ниже колена. У другой была искусственная голова. Третья явно была почитательницей божественного Кришны.

Кажется они не замечали ни огромного рака, ни свившейся в клубок длинной змеи, ни крокодила, ни паука. Эти твари только что вылезли из реки и явно собирались напасть на находящихся на берегу людей и полакомиться их плотью.

Два беззаботных маленьких мальчика играли в полуметре от крокодила, уже раскрывшего свою зубастую пасть. К стоящему на коленях прокаженному с забинтованным лицом подползала змея. Рак размером с ванну нувориша подбирался к точильщику ножей и ведьме, пекущей в своей круглой железной печке то ли пирог, то ли чью-то голову.

По реке мимо меня мирно проплыл длинный плот с шалашом, на котором двое мужчин перевозили пустые ящики, бочки и корзины. Первый — управлял небольшим парусом, второй — поддел багром колоссальную рыбину. Эту же рыбину загарпунил трезубцем стоящий на мосту рыбак. Рыбак и человек с плота ожесточенно спорили о добыче и тянули рыбину на себя. Готовы были применить свое оружие. Рыбина не сопротивлялась, только тихо увещевала спорщиков: «Господа, опомнитесь, как вам не стыдно, подумайте, какой пример вы подаете подрастающему поколению».

Интересно, сколько лет они будут спорить. Или это навсегда?

Со стороны канала к мосту приближались: озабоченный всадник-охранник, двое носильщиков, несущих на носилках нечто вроде переносного кивория с балдахином, верблюд, груженный стогом сена с известной картины, и хмурый погонщик. Что же хранилось там, в кивории, под балдахином? Может быть — чудотворная икона или святыня обыкновенной жизни, кастрюля с гороховым супом с шкварками? Или прах последнего императора, завещавшего похоронить себя на Святой земле? Или чучело любимицы епископа, ручной обезьянки? Неважно.

На каменную стену трапецеидального в плане укрепления, построенного в месте слияния реки и канала, карабкался огромный спрут (такой, каких рисовали в старинных книгах). Беззаботно рассеявшаяся на стене троица бездельников (один из них играл на флейте, другой рассеянно следил за развитием спора из-за рыбы на багре, третий широко расставил ноги и сосредоточенно пускал ветры) не обращали на него никакого внимания, меж тем как спрут уже дотянулся толстым щупальцем до одного из них и готов был утянуть в свою ненасытную пасть. Как же мы все очаровательно легкомысленны... пока могучие зубы дракона не начинают ломать нам кости и выпускать кишки.

Из замка вышла траурная процессия. Мужчины несли гроб на руках. Я услышал слаженное пение монашеского хора. Они хоронили умершего настоятеля. Или главного винодела. Или лысого черта. Какое мне дело?

Чуть в стороне молодые крестьяне — парень и девушка — любили друг друга в миссионерской позе прямо на земле.

По небу летели ведьма на помеле и три огромные жабы.

Несколько крупных рыб, забыв о своем естественном местообитании, парили в облаках и охотились на ошалевших от ужаса перепелок, которых спугнули охотники.

Козочка мирно щипала свежую черную травку. Старый козел, как всегда, пьянствовал.

Овечки терзали еще живого волка.

Морские свинки готовились к эмиграции.

Я посмотрел в воду, на свое отражение, и, о горе, увидел вместо хорошо знакомого мне лица, голый череп с ужасными вытекшими глазами.

4

Хоть я и цыган, но не гадаю на картах, не ворую лошадей, не пляшу, даже на гитаре не играю. Лежу весь день на раздвижной софе, под открытым небом, на берегу озера, пью пунш. Нет, не ужасный немецкий пунш с сахарной головой на решетке, а просто смесь лимонного сока, рома и горячего сладкого чая. Его готовит для меня моя несравненная Лала. Радость моих старых чресл, нежный, ароматный цветочек. Шлюха, да. А вы — кто? Не шлюха? Ну радуйтесь. Только вы мне пунш не приготовите, рядом с собой спать не положите, на ночь не приглубите.

Да, мне говорят, что я не всегда был цыганом... будто бы я раньше был драгунским офицером... У меня есть красная шапочка, которую я всегда ношу, и сабля, да, краденая... лежит вот тут, посмотрите... на всякий случай.

Да, вроде бы я служил, но был уволен из армии за пьянство, самовольные отлучки и буйный нрав. Кому-то ухо саблей отрубил. Или что другое. Может быть, все может быть... Мы всю жизнь думаем, что мы добрые да хорошие, а потом вдруг выясняется, что мы предатели и убийцы. И нас бросают на растерзание толпе или тащат на эшафот...

Тут, в таборе, всем все равно. Драгун ты, цыган или папа римский.

Да, кстати, посмотрите, всего в нескольких метрах от меня — большой деревянный крест на земле лежит. А на кресте распят мужчина, пузатый такой. В митре. Римский папа или епископ. Как он сюда попал — никто не знает, только кажется, он тут никому не мешает. Сердобольная Лала дает ему иногда хлебнуть пунша. Он пьет и вежливо благодарит на латыни.

Я мог бы конечно встать, попросить у кузнеца клещи, и вытащить гвозди из его рук и ног... Жалко человека. Да лень матушка...

Недалеко от распятого епископа — девочка маленькая плавает. В корыте. Голенькая. И пристально на распятого смотрит. Напеваает что-то. И пальцем в воздухе картинку рисует. Весь день, как одержимая, смотрит, поет и рисует. Лала верит, что она тут неспроста. В таборе ее никто не знает. Лала полагает, что она — это грех. Грех епископа или папы. И что посадил ее в корыто и плавать пустил — сам водяной. А рисует она...

Водяной, так водяной.

Только вы не подумайте, что у нас тут одни распятые епископы да дети в корытах...

Вон старая цыганка на корточках сидит, Мачка. Испражняется. Даже отойти поленилась, сука.

Рядом с ней ее муж, Чаворо, на мандолине наяривает. Мастер. Может и ножиком в ребра пырнуть и последний грош у бедняка отнять.

В заштопанных палатках — одни старики. Старые пердуны, а пожрать или выпить — первые. На баб молодых кидаются как петухи. Только те им не дают, потому что молодых клиентов полно и день и ночь, а это и удовольствие и деньги...

Вон, у меня в ногах солдат из деревни, цыганку за титьку тискает. Любу. Ой, сладкая девка. И шустрая. А рядом с костром другой солдат положил на себя молодуху... оба так громко стонут, что собаки пришли посмотреть на представление. Надо бы их камнем шугануть. Тоже лень.

Костер трещит. На вертеле гуси жарятся.

Ветхая ветряная мельница крутит рваными крыльями.

Рядом с ней Дон Кихот готовится к атаке, точит копьё.

Санчо валяется в лопухах.

Дети безштаные разгуливают.

Голая цыганка с клиентом торгуется. Выпятила груди, бесстыдница.

С уланом. Гульден просит за свои полинявшие прелести. Но согласится и на пять грошей, я знаю.

Вон там свиньи лежат, с поросятами.

А там цыганка чужую корову доит.

Одноногий инвалид милостыню просит. Тащит за собой на веревке коляску с безногим товарищем. Ошибся адресом. Ничего ему тут не светит. Тут народ простой, продырявить могут.

Рыбак причалил. Поймал что-нибудь? И не поймешь. Нет, скорее контрабанду с другого берега озера привез.

Пахарь вдалеке пашет. Рядом с ним другой крестьянин на грядку мочится.

Высоко на дереве дед Тамаш сидит. Трубку курит и на деревню смотрит.

А там... Горят несколько домов. Дружно горят. Грохот и треск доносятся. И дым на полнеба. На носилках тащат обгоревших. Деревенские собрались, хотят тушить. Только вот чем? Колодцы тут скверные, а из озера воду тащить далеко. Наверное до тла все сгорит.

5

Как меня занесло в этот город?

Какая роль предназначалась мне в представлении? Что там, в сценарии?

Этого я так и не узнал. Меня вынесло из города так же быстро, как несколько мгновений назад внесло в него. Внесло и поставило на площади с этим дурацким ящиком в руках. И заставило вертеть рычажок.

Или я провел там часы? Недели?

Да, да, я играл на шарманке. На площади этого странного города. «Венский вальс», «Берлинский воздух», «Ах, мой милый Августин» и другие мелодии. Вертел и вертел кривой рычажок.

Я был голый, босой, но в цилиндре и с сумкой через плечо. Передо мной танцевал мой пудель Аделька. В лапе он держал тарелочку для сбора денег. Или это была обезьянка из другого мира? В моей голове все мешается.

Почему я назвал город «странным»? Потому что все люди, находящиеся на этой площади — были обнажены. Не только я. Город голых.

Голый велосипедист быстро вертел педали.

Голый трубочист лез в трубу.

Голые люди глазели на площадь с балконов и жевали попкорн.

Две черных овчарки терзали обнаженного нищего юношу, сидящего на брусчатке.

В метре от меня лежала молодая женщина. Под ее левой грудью торчал кинжал. Женщина была мертва. И тоже обнажена. Над ней стоял, широко расставив ноги ее убийца. Молодой мужчина. Безумец. Я видел, как он пырнул молодую женщину. Я наблюдал это, наверное, тысячу раз.

В вытянутых вверх руках он держал кадку с водой, видимо собирался облить себя. Или труп. Этот мужчина тоже был обнажен. Рядом с ним стояла еще одна обнаженная фемина, к убийству отношения не имевшая. Наш режиссер поместил ее там для контраста и убедительности. В чем же он хотел убедить уважаемую публику? В том, что все вокруг — не так уж и абсурдно и кошмарно. Не убедил.

Слева от меня обнаженная женщина отдавалась сзади кому-то темному чудовищу, то ли псу, то ли демону. Я слышал его сосредоточенное сопенье и ее экстатические стоны. Иногда демон-пес рычал как лев. У меня от его рыка бегали мурашки по коже.

По огромной лестнице спускались: голый старик с тросточкой и еще одна обнаженная — с младенцем на руках. На голове у нее был парик времен короля-солнца. Ребенок отчаянно кричал, как будто его тащили на заклание, и он об этом знал.

Выше, на лестнице, стояла, перегнувшись через перила, косуля (или это были два влюбленных друг в друга застенчивых клерка из близлежащего банка?), выше ее на горизонтальной площадке сидели еще две женщины, а еще одна — прыгнула было на мостовую с высоты третьего этажа и наверное разбилась бы насмерть, если бы не схватилась в последний момент за руки стоящей у перил подруги. Так они и застыли, как диковинный четвероногий зверь с переплетенными руками и двумя головами.

На высоком фонаре сидел продавец газет и предлагал отсюда свой товар. Ниже пояса он был гол. Продавец кричал:

— Покупайте только что отпечатанный выпуск, вечернее приложение к «Зеркалу грез»! Массовое отравление кокаином! На подозрении — франкмасоны! Коллективные совокупления в предместье! Правительство разбежалось! Доколе? Шабаш педофилов на Красной вилле! Как долго продолжится эпидемия? Поможет ли вакцинация? Мнения специалистов. Незаконные аресты и убийства шахматистов! Террор в общественных банях! Кастрация и каннибализм! Машина времени сломана! Кровавые оргии во дворце герцога!

Из окна четвертого этажа дома напротив выпрыгнул человек, похожий на огромную бабочку или жабу. Возможно он убежал от каннибалов. Он летел вниз головой и распевал арию Папагено из первого действия Волшебной флейты: «На сахар я менял бы птиц, чтоб им кормить моих девиц...»

Из арки справа на площадь выходила и выходила процессия, состоящая из нескольких голых мужчин, выполняющих роль поводырей, и сотен голых женщин, ведущих себя непристойно. Они громко пели, кричали, рыгали, стонали... весело и жадно хватали друг друга за груди и срамные места. Целовали взасос. Молодые сильные девушки били и кусали пожилых, дряблых и беспомощных. Те вяло сопротивлялись. Астральные туши с вязким чмоканием отрывались от человеческих тел.

Рядом с процессией бежали и истошно лаяли собаки.

Их жалили вылезшие из-под старых камней василиски и аспиды.

Кем были эти женщины, куда они шли, я так и не понял. Боялся, что, услышав блеяние моей шарманки, эти фурии подбегут ко мне, окружат, уволокут с собой и кастрируют. Но они меня не замечали, шли и шли мимо. Вероятно это были обычные жительницы города. Сознание их помрачилось из-за болезни. А я стал невольным свидетелем проведения ими отвратительного ритуала.

Может быть, они направлялись в предместье? Чтобы пускать там воздушных змеев. Или чтобы заняться там свальным грехом.

На крышах высоких домов (на их фасадах висело на длинных веревках несколько повешенных), окружавших площадь, находились солдаты, стрелки. Эти обнажены не были. Все они стреляли по уносящейся в небеса открытой карете, в которой сидел горбоносый человек в цилиндре. На коленях он держал большую шахматную доску. Кучер немилосердно хлестал лошадь и та несла карету и ее пассажира все выше и выше в небеса. Там ее уже ждали.

Вдогонку карете летели тяжелые, величиной с мамонта, летучие мыши, похожие на бомбардировщики времен Второй мировой.

На одном из фасадов я разглядел Всевидящее Око и неприличную картинку под ним. Голый император Франц Иосиф с невероятными усами и Елизавета Баварская совокupлялись на кровати, поставленной на постаменте на площади Героев...

6

На горизонте извергался вулкан. Из двух его кратеров в атмосферу поднимались столбы пепла и дыма. Пахло серой и инфляцией.

Жерло огромной пушки на берегу залива уже не раз выплонуло снаряд в сторону открытого моря. Кажется, там никого не было. Ни кораблей, ни подводных лодок. Канонир сошел с ума и стрелял из пушки себе на потеху. Палил в пустоту.

Может быть он так пугал ворон, сидящих на деревьях. Или рыб. И был очень горд.

Или пытался по-своему переиграть пианиста, отчаянно бьющего по клавишам невдалеке. Но пианист выстрелов не боялся, играл себе и играл. Что он играл, понять было трудно, в его открытом рояле явно не было струн.

По земле ползали гигантские сколопендры и пауки, черепахи и вараны.

В небе летали заблудившиеся в Солнечной системе кометы и вымершие еще в мезозое птерозавры.

Рыцари Грааля играли в бридж в отдельном зале мерзкой забегаловки. Лознгрин как всегда проигрывал.

На колоссальной пыточной машине была установлена радиомачта с колоколом. На узенькой железной лестнице стоял звонарь. Он нервно дергал за веревку, привязанную к ручке молотка на шарнире. Молоток бил по надтреснутому колоколу.

И тот невыносимо фальшиво сипло звенел. По радио непрерывно транслировали речь фюрера в Рейхстаге первого сентября 1939 года.

Толпа обнаженных мужчин-арийцев несла перевернутую дном кверху кастрюлю, в которой можно было наверное сварить двухэтажный дом. Двух с половиной метровый надсмотрщик-монгол лупил несущих кнутом по головам, спинам и ягодицам. На некоторых из них можно было разглядеть вытатуированную свастику.

Две клячи, ходящие по кругу, вертели вертикальный вал, на котором сидел как на колу казненный когда-то мужчина, похожий на Геринга. Из его страшного трупа, как из дерева, торчали ветки без листьев.

Пыточная машина была соединена трубками с двумя стеклянными колбами, в которых томились казнимые. По трубкам в колбы нагнетался воздух, не позволяя жертвам задохнуться. Страшный костлявый старик управлял поддувальным снарядом, рядом с которым валялись отрубленные головы властелинов мира.

Рядом с колбами на земле лежал почти плоский человек. Прикрепленный к колесу машины невероятно большой молоток с длинными окровавленными шипами трамбовал несчастного каждые несколько секунд. Превращал его в отбивную по-милански.

Рядом с ним на жаровне сидела тучная женщина Магда, которую поджаривал заживо демон с головой совы. Огромная свинья пожирала рядом останки ее шестерых детей.

На куче тряпок лежала обнаженная женщина с раздвоенным носом. Из дыры в ее животе машина вытягивала кишки. И развешивала их как белье для сушки на длинной горизонтальной железной палке.

В канале плавали демоны-гиппопотамы и пожирали всякого, кто пытался удрать и избежать наказания и казни.

На берегу канала стоял, подняв руки с большой железной дубиной между ними, трехметровый демон-монгол. Его окружали голые женщины, борющиеся за его благосклонность.

Одна из них обвинила его ногу рукой и прижалась лицом к его волосатому бедру.

Другие как могли выставляли свои женские достоинства. Видимо хотели смягчить свою участь. Но разжалобить монгола было невозможно.

Чуть позади этой группы возвышалась огромная коническая печь. Лысые демоны подбрасывали в ее ненасытное нутро дрова и уголь. Печь гудела и трещала. Из многочисленных полукруглых отверстий валил вонючий дым. Над печью висело что-то напоминающее крышку для кастрюли. Под этой страшной крышкой были подвешены люди. А вся эта конструкция была ничем иным как машиной для копчения. Неизвестное науке чудовище с длинной головой то и дело откусывало куски мяса коптящихся.

На камнях за коптильной лежал лицом вниз монах. В правой руке его была деревянная рукоятка с треххвостой плетью, которой он пять раз в день хлестал себя по спине. Жестоко. Беспощадно.

Весь этот, описанный выше, небольшой ад — был создан его воображением. Так он боролся с вызовами времени. Однако ад не исчез как мираж после того как монах перестал фантазировать, а превратился в реальность.

И эта реальность стала его пожизненной тюрьмой.

Его и моей. За что?

Авторский комментарий

Прочитал перед микрофоном, несмотря на кашель, мой новый графический рассказ — «Картинки из энигматического альбома». Получилось хрипло.

Это особый текст. Идея его — предоставить читателю или слушателю возможность построить в воображении описываемые в тексте сюрреальные миры.

Миры Альфреда Кубина, адаптированные и дополненные мной.

Не знаю, способны ли современные читатели на что-то подобное, захотят ли... доставит ли это кому-нибудь удовольствие...

Я рассчитывал на таких читателей как я сам, возможно этот расчет неправильный, и происходящий в моей голове эффект «качелей» или «трамплина» не сработает.

Что за качели, что за трамплин? Упрощенно, вот что.

Рисунок Кубина получает от меня субъективную транскрипцию на русском языке. В голове слушателя эта транскрипция превращается в видение, гораздо более красочное и объемное, чем 110-летний оригинал. Работа Кубина при этом не теряет, а наоборот приобретает, «оживает» на современном материале. Можно назвать то, что я делаю — пастишем... или интертекстом или текстографией.

Я уже не раз использовал подобный прием. Текстографией является, например, первая часть моей повести «Человек в котелке».

Но чаще всего я пишу тексты, которые есть не что иное, как пастиши или интертексты моей собственной, не существующей на бумаге, графики.

ПРИСУТСТВИЕ

Раньше меня часто спрашивали: «Зачем ты пишешь?»

Незачем объяснять, почему этот вопрос неприятен автору. Но я все-таки объясню. Вопрос этот свидетельствует о том, что спрашивающий настроен скептически, что он вовсе не убежден в том, что «все это» стоило писать и публиковать, множить сущности, заставлять бумагу терпеть и засорять и без того крайне засоренное виртуальное пространство сумасшедшими словесными эскападами.

Вопрос этот вынуждает автора оправдываться. Мол, пишу, потому что не могу не писать, пишу для себя, пишу для славы, для публики, для истории... Ради сохранения языка... сохранения воспоминаний... памяти...

И каждый раз после ответа на этот вопрос у меня возникало чувство стыда и неудовлетворенности. Потому что я понимал, что обороняюсь, да еще и не очень успешно, а это означает, что на самом деле я не знаю, зачем пишу. Вроде как графоман или идиот. И это горькая правда.

Это было нестерпимо. И вот, в ответ на это мучение у меня выработался своего рода безумный ритуал: каждый день, просыпаясь, я еще и еще раз отвечаю незримому интервьюеру на этот проклятый вопрос. И сегодня тоже... ответил.

И ответ этот был непригляден и прост как правда.

Да, да, я пишу свои тексты и публикую книги всего лишь для того, чтобы...

Так ответить побудил меня приснившийся мне сегодня ночью сон. Длинный и странный. Попробую его пересказать. Хотя это и трудно, уж очень не от мира сего, и одновременно — сон этот и есть мой настоящий мир, мир, который я многократно пытался воспроизвести в виде текста, мир, который всякий раз триумфально противостоял моим попыткам.

Представьте себе большое овальное помещение, разделенное на что-то вроде ячеек... как это бывает на археологических раскопках. Стены между ячейками невысокие — метр, полтора. Из римского кирпича. Потолок помещения напоминает потолок планетария. Звезды, планеты, туманности. Все в движении.

Воздух в помещении теплый, но не совсем прозрачный. Декоратор напустил туману.

Где-то оркестр играет. Звучит его музыка однако так, как будто музыканты еще не играют, а настраивают свои инструменты. Ля-ля-ля...

В ячейках — столы, стулья, комоды, картины, пыльная рухлядь. Там стоят и сидят люди. Много людей. Одеты празднично. В руках у них бокалы с шампанским. Это гости. Они беседуют. Жестикулируют. Но не все. Некоторые молчат, они погружены в себя. Напряженно думают о чем-то. О чем?

Все ждут чего-то. Нет, Годо никто уже давно не ждет. И мальчик не прибегает, чтобы оповестить всех о его приходе. Кажется, Годо уже приходил, но его не заметили. Не удивительно.

Гости ждут ивента, события. События без черточки после «о». Чего-то обыденного, обыкновенного, рутинного. Но возбуждающего, щекочущего нервы.

Событие это как-то связано со мной.

Я во сне не похож на отражение в зеркале. Какой-то я. Одна из моих вариаций, часто меняющих внешность, судьбу и все остальное. Ведь я оборотень...

Брожу по помещению, захожу в ячейки. Раскланиваюсь. Здравуюсь с гостями. Обмениваюсь ничего не значащими репликами. Жму руки, приветливо улыбаюсь. Гости внимательно смотрят на меня. Доброжелательно оценивают. Делятся друг с другом впечатлениями. Кивают головами. Но некоторые — хихикают. Почему?

Многие ищут глазами кого-то. Кого?

Я знаю, кого. Того, невидимого. Я ощущаю его властное присутствие своим телом. И боюсь его и жажду встречи с ним.

Он не человек, не зверь и не чудовище. Он неотъемлемая часть этого пространства. Я не знаю, кто он.

Археологи ищут его в земле. Деликатно скребут глиняный пол скребками.

Одетый в черное священник служит ему, читает проповедь с небольшой кафедры.

Театральный пожарник чистит свою каску. Он видит его в своем отражении.

Попугай в клетке пытается разгрызть орех. И понять его сущность.

Я догадываюсь — это смотрины. Или что-то вроде смотрин. И в одной из ячеек сидит на стуле скромная девушка в белом платье, моя невеста. Ее окружают плотной стеной братья, сестры, родители.

Ищу глазами невесту и нахожу в отдаленной ячейке. Ловлю взгляд ее прекрасных печальных глаз. Жалею ее, ведь она похожа на скелет, так исхудала. Ее кожа стала прозрачной как молодой лед.

Иду к ней.

Или это похороны?

Некоторые женщины плачут. Они оплакивают его. Но он не умер!

Мужчины отводят глаза.

Плотник строгаёт рубанком крышку гроба и напевает непристойные куплеты.

Вход в ячейку преграждает носорог, отец невесты. Каменный истукан с глазами удава. В скверно сшитом фраке и засаленном цилиндре. Волосы напوماжены. Усы как у фюрера. Золотое пенсне.

Отец шипит: «Вам сюда нельзя! Нельзя. Позже, все позже. Идите к гостям, сударь мой, уважайте наши традиции. Или примите ванну и натритесь одеколоном. А о приданом даже не мечтайте. Таким как вы и наследства не полагается. Устарели, господин хороший. На осину, на осину...»

Какой негодяй! Ухожу от него подальше. Хочу вернуться и ударить его.

Но смиряю себя и продолжаю играть свою незавидную роль. По инерции, как манекен.

Брожу, брожу, киваю...

Знаю, что где-то тут — мои умершие родители, потерявшиеся друзья, бывшие возлюбленные.

Они ждут меня, но я не могу их найти.

Где я? Где мы все? Что это за помещение?

Что за комета скользит по потолку как змея?

Что за смех слышится мне несмотря на шум оркестра, звон бокалов, шушуканье, крики и шарканье ногами?

Кто пригласил этот оркестр? Почему он так и не начал исполнять увертюру?

Почему на мне только старая дырявая ночная рубашка и полосатые носки?

Где мои остроносые туфли и белые кожаные перчатки, которые я когда-то так любил.

Как я сюда попал? Почему не могу вспомнить прежнюю жизнь?

Куда все подевалось?

Почему отяжелели кузнечики и зацвел миндаль?

Почему дрожат стерегущие дом и осыпался каперс?

В одной из ячеек — только одна гостья. Стоит, спиной ко мне. Внезапно я узнаю ее.

Это моя жена. Она ничего не говорит, но я чувствую, что она вне себя от горя. Дрожит, бедняжка. И испускает такие звуки, как сломанная музыкальная шкатулка.

Решительно подхожу к ней, беру за плечи и поворачиваю лицом к себе как куклу. Какой ужас! Это действительно кукла. Она моргает своими искусственными веками из алебаstra. Из опаловых глаз текут слезы.

Или это не жена, а моя давно умершая бабушка?

Не могу вспомнить ее лицо. Мне так ее не хватает.

Осторожно кладу куклу на пол и бреду дальше.

Ощущение его присутствия болезненно усиливается.

Сон превращается в кошмар.

Ячейки в помещении становятся камерами пыток в гигантском лабиринте-лупанарии.

Гости оборачиваются демонами и демоницами.
По потолку бегают зловещие рогатые существа.
Оркестр производит чудовищную какофонию, сквозь которую до меня доносится его самодовольный хохот. Его.
Я бреду по лабиринту.

Авторский комментарий.

Этот текст был написан от руки в 2012 году. Случайно нашел три листочка на книжной полке. В папке старых рисунков.

Темы, затронутые в нем, получили развитие в четырех моих повестях: «Вторжение», «Ужас на заброшенной фабрике», «Человек в котелке» и «Покажи мне дорогу в ад».

МАТЬ ГРЕГОРА

Грегор провел последние двенадцать лет жизни в тюрьме.

Никаких противоправных действий, повлекших за собой гибель или страдания людей или какие-либо материальные потери, Грегор однако не совершал.

Вина его заключалась только в том, что он писал и публиковал на интернетном портале «Голос» тексты-прокламации, в которых призывал к вооруженному восстанию против «окупировавших нашу родину воров и бандитов», разоблачал и проклинал ее Верховного правителя «и его клику»... сетовал на то, что никто не хочет подвергнуть его свихнувшуюся страну тотальной ядерной бомбардировке.

И все это не под защитой псевдонима, а под своим настоящим именем.

Какая фатальная самонадеянность!

Сердце Грегора пылало, он не мог иначе. Не мог больше терпеть общественную ложь, пропитавшую своим гноем его родину, ее ежедневную жизнь, культуру и науку, не мог терпеть расцветшую коррупцию, приведшую к неслыханному обогащению небольшой группки близких к Верховному правителю людей и обнищанию большинства населения, был возмущен царящими в обществе насилием и холуйством, стыдился кровавых внешнеполитических авантур своей страны, грозившей уничтожить весь цивилизованный мир, на дух не мог выносить ее Верховного правителя, вызывавшего у него омерзение.

— Проклятая крыса, когда же ты наконец подохнешь?

Но Верховный и не думал умирать, наоборот, становился год от года моложе и здоровее. И явно наслаждался своей властью. Так часто бывает с диктаторами. Им помогает дьявол, и надеяться можно только на время. Но оно убивает всех.

Раньше, при другом, умеренном правителе, Грегора за подобное обличительство в худшем случае оштрафовали бы. Попугали бы психушкой, попытались бы образумить. А если и посадили бы, то месяца на два. Для острастки.

А может быть — и не заметили бы его вовсе. Ну пишет себе и пишет какой-то молодой человек из провинции. Проклинает. Молнии мечет. Кому есть до этого дело?

Но времена изменились, на родине Грегора пришли к власти сотрудники тайной службы, жестокие, бессердечные люди... выявлять и карать врагов было их главным занятием... без чувства юмора и какой бы то ни было симпатии к двадцатичетырехлетнему безработному, живущему на иждивении матери, недавнему выпускнику института мелиорации и сельского хозяйства, проработавшему по специальности только полгода. Они не то, чтобы боялись публицистики Грегора... Слишком хорошо они знали свой народ, слишком глубоко его презирали, они были твердо уверены в том, что все эти призывы не окажут на него никакого влияния. Разве что вызовут неприязнь к их автору. Но червячок сомнения видимо грыз и их. А вдруг... Вдруг симпатическая магия сработает и в стране начнется... это... то, чего они боялись больше, чем вторжения марсиан. И несчастному Грегору дали большой, явно непропорциональный его провинности срок. Чтобы другим неповадно было.

На Грегора донесли такие же как он авторы огненных статей, друзья и соратники «по борьбе с ненавистным режимом», и, как это часто бывает, по совместительству — сексоты.

Он был арестован и доставлен в военный суд. Следствие длилось несколько часов, а сам суд — всего сорок пять минут. Двадцать минут помощник прокурора зачитывал присутствующим на суде кивалам цитаты из текстов обвиняемого. Затем выступил прокурор. Он был краток, упомянул «призывы

к насильственному свержению» и «распространение», и приравнял высказывания господина Грегора Цейтлина к террористической деятельности. Потребовал сурового наказания.

Адвоката Грегору не полагалось. Зачем, когда и так все понятно.

Сам обвиняемый на суде не присутствовал, сидел в маленькой вонючей камере на откидной койке и тосковал. Только там Грегору стало ясно, что он собственно делал последние годы, как самоупоённо копал себе могилу.

Какой же я идиот, — говорил он сам себе снова и снова. — Вместо того, чтобы спокойно подготовиться к отъезду и свалить... Хотя в Канаду. Нашел бы там работу в лесу. А теперь... придется есть дерьмо ложкой... и непонятно, выживу ли. Какой идиот!

Судьи единогласно и единодушно «закатали» обвиняемого «в глину». Двенадцать лет и пять месяцев. Лишение прав... Тюрьма для особо опасных.

Грегор отсидел свой срок от звонка до звонка.

Испытал на себе все прелести тюремного быта. В общей камере страдал от удушья и геморроя... Там его били, унижали и грабили рецидивисты.

Тюремные власти наказывали его за любую мелочь... невежливо поздоровался с офицером... не так заправил койку... не ту одежду надел. Поэтому половину срока Грегор просидел в карцере. Потерял треть зубов. Три или четыре раза тяжело болел, но выздоравливал. Несколько раз его пытались насилловать урки в тюремной бане, но что-то останавливало их в последний момент. Может быть, яростный взгляд его бесцветных глаз под тяжелыми лиловыми веками, кособокая фигура, ранняя лысина, неприятный каркающий голос, запах изо рта... Или прыщи на ягодицах.

Вчера вечером Грегор покинул здание тюрьмы. Сегодня был доставлен под конвоем к месту дотюремной прописки. Старенький микроавтобус вез его чуть ли не сутки по скверным дорогам (закон запрещал — в целях безопасности — перевозить освобожденных авиа— или железнодорожным транспортом). Пить и есть ему не давали. Три раза разрешили помочиться в травку под наблюдением конвоиров. Для разно-

образия отвесили ему пару оплеух, от которых у Грегора сейчас же заболела голова.

Дверь открыла его постаревшая и сильно располневшая за время его отсутствия мать. За ней маячил ее брат Лео, дядя Грегора, здоровенный мужчина в несвежем фраке. По профессии — парикмахер. С мертвенно бледным лицом, розовыми руками и мерзкой привычкой чмокать губами.

Мать надела зачем-то на встречу с сыном свое единственное бальное платье чайного цвета. С кружевами на талии и перьями на рукавах. И с глубоким декольте.

Конвоиры заставили Грегора и его мать расписаться три раза в каких-то бумагах (при этом скабрёзно хихикая пялились на ее грудь, колышущуюся как пудинг), и только тогда сняли с Грегора наручники. Расселись на диване в прихожей, закурили, не спросив разрешения, свои скверные сигареты, и, казалось, вовсе не собирались уходить.

Мать Грегора быстро смекнула, в чем дело, пошла на кухню и упаковала большой кусок пирога, палку балыка и бутылку водки. Торжественно вручила пакет конвоирам и выводила их из квартиры.

Дядя Лео смотрел на эту сцену из гостиной, нервно моргал левым глазом и яростно чмокал.

Грегор, до этого стоявший в прихожей и переминавшийся с ноги на ногу, снял наконец пальто и ботинки, промурлыкал что-то себе под нос, неловко обнял и поцеловал мать в щеку, кивнул, скорчив брезгливую гримасу, дяде, и ушел в свою комнату. Лег на кровать.

Попытался заполнить чем-то образовавшийся после тюрьмы в душе вакуум.

Тупо смотрел на свои старые игрушки, которые его мать выставила в его честь на длинной деревянной полке.

Плюшевый Мишка, астронавт, Арапка, деревянный автомобиль, подъемный кран, сделанный из конструктора, Петрушка...

Но игрушки не навеяли приятных воспоминаний... сердце бывшего заключенного устало... воображение и фантазия отказывались работать и снабжать душу веселыми картинками. Голова Грегора была пуста и гудела как раковина. И в этой пустоте он не прозревал ни ностальгии по прошлому, ни зова будущего. Тоска...

Чтобы не сойти с ума, заставил себя думать о том, как теперь жить.

Сколько раз, лежа на тюремной койке, он представлял себе этот чудесный день освобождения. Смаковал все его сладкие подробности, представлял себе, как он будет ехать и смотреть на еловый лес, полянки, озера... и улыбаться каждой елочке, как будет проезжать по знакомым улицам, идти по двору, в котором прошло его детство, подниматься на лифте на третий этаж, входить в квартиру, есть испеченный матерью пирог с рыбой... но ни разу за все свои двенадцать лет заключения он не думал, что будет делать в своей будущей жизни на воле. Как будет зарабатывать деньги. На что будет надеяться, с кем дружить. Ему казалось, стоит только очутиться дома, и все станет само собой ясно и понятно, и хорошо.

И вот он дома, и ничего не хорошо, ничего не ясно.

Пойти работать? Куда? Опять осушать болота, рыть каналы, бороться с оврагами? До первого паводка? А потом начинать все с начала?

Общаться с осоловевшими от спиртного местными пейзажами? Только не это.

В соседней комнате негромко говорили между собой его мать и дядя, наверное, тоже обсуждали его будущее... Грегору это было неприятно. Он прошептал: «Перестаньте, прошу!»

Его никто не услышал.

В его комнате почему-то пахло хлоркой и чужим одеколоном. Кто-то тут спал. Кто?

— Мать и дядя. Мать и дядя. Мать и дядя, — повторял он машинально, кривя рот.

Дядя... Никаких других родственников у Грегора не было. Отца своего он почти не знал. Тот пропал когда Грегору не исполнилось и четырех. Мать ничего не рассказывала о его судьбе. Когда-то был брат, но он умер во младенчестве. Брат был от второго мужа матери, тоже быстро исчезнувшего из их жизни.

Друзей у Грегора не было никогда. В школе его травили, в институте — сторонились. Вяло третировали. За глаза называли «тараканом». Воспринимали и оценивали его и другие студенты и преподаватели неправильно, несправедливо. Так казалось Грегору. Но он был слишком горд, чтобы кому-то что-то объяснять. Сторонятся — и ладно! Таракан, так таракан!

Были, конечно позже те самые «соратники по борьбе». Расхваливали его до небес. Но после его ареста они перестали с ним контактировать. По очевидным причинам. Некоторые успели ускользнуть за границу. Другие сели сами или затаились. Портал «Голос» был заблокирован и позже уничтожен разработчиками.

Грегор нежно любил свою мать, заботящуюся о нем все эти долгие мучительные годы, регулярно передававшую ему теплое белье, гостинцы и сигареты на обмен (сам он никогда не курил), но втайне надеялся, что она умрет до его возвращения, и не будет больше его опекать, упрекать, учить, контролировать, наставлять, плакать... Грыз и терзал себя за это, но надеялся... но теперь он был рад, что мать жива и здорова.

Было в его отношении к матери еще одно темное пятно. Нет, не темное, а скорее сиреневое. Пахнущее материнским потом, молоком и его спермой. И это тоже мучило его. Не давало покоя в эти первые минуты расслабления.

И еще этот чертов дядя Лео притащился. Мешок, вафля, ворчун. Брадобрей. Бесконечно нудный. Всезнайка и пустомеля. Будет теперь чмокать... И не выгонишь его.

Пользоваться компьютером Грегору было запрещено. Целый год!

А писать и публиковать тексты в интернете — еще пять лет.

Какая мука для политического графомана с горящим сердцем, убежденного в своей правоте! Ведь эта его бессмысленная писанина стала в последние годы до ареста — не только его главным занятием, но и смыслом его жизни, ее внутренним оправданием.

— Как же я буду молчать? Писать в стол... Но кому нужны мои призывы через пять лет? Султан к тому времени уже умрет.

Из дома Грегору было разрешено выходить в первый месяц его свободной жизни — только чтобы выбрасывать мусор. Дальше — ни шагу.

А затем — еще год — он не имел права находиться вне своей квартиры после десяти часов вечера и до шести утра. Индивидуальный комендантский час. Какой бред, какая поэзия!

— Мы будем вас проверять! Вы нас и не заметите. Два нарушения — и на нары. Без суда.

Конечно на нары, как же без этого... скоты. Не страна, а скотобойня.

Хорошо еще дома жить разрешили. Только потому, что его с матерью квартира находилась в неказистом блочном доме на замызанной улице города, известного своим отравленным выбросами химической индустрии воздухом, расположенного далеко от сверкающей столицы и культурных центров. А так бы еще упекли неизвестно куда...

— Грегоренька, иди ужинать!

Уменьшительно-ласкательная форма его имени причинила ему физическую боль. Голос матери изменился. Грегору казалось, что он слышит голос охрипшей фарфоровой куклы.

— У нас тут для тебя сюрприз! Мы с твоим дядей кое-что для тебя купили! Специально ездили в столицу!

Меньше всего ему хотелось сейчас суеты, сюсюканья, завязанных или зажмуренных глаз, восторженных восклицаний, вздымания пухлых рук... всех этих мучительных семейных мыльных пузырей... примерки нового розового пиджака или итальянских туфель...

- Ну что еще?
- Зажмурь глаза!
- Не буду. Сил нет.
- Нет, зажмурь!
- Теперь заходи.

Почти угадал, новый костюм. Маренго. Любимый цвет. И несколько рубашек. Два галстука. Оба серо-голубые. Все это великолепиие на плечиках, подвешенных на старой хрустальной люстре в гостиной.

— Посмотри, какая красота! Ты же будешь искать работу! Ты должен выглядеть как человек из уважаемой семьи, а не как гопник.

Пощупал материя. Но наотрез отказался примерять. Тело его не слушалось. Усики вяло шевелились.

— Позже, прошу вас. Чудный костюм, надеюсь не будет слишком велик. Я похудел. Только куда я в нем пойду? Везде одна и та же дрянь. Свиные рыла вместо лиц.

Сел за обеденный стол и охватил в отчаянии голову руками. Но не разрыдался, слез не было. Неожиданно вспомнил потное дебильное лицо регулярно избивающего его уркагана в первые годы заключения. Заскрежетал зубами. Однажды он преодолел страх, бросился на подонка, схватил за горло и начал душить. Чуть не задушил. Избиения прекратились. Но через несколько лет, в другой тюрьме...

Тут впервые подал голос дядя: «Успокойся, Грегор. Мы понимаем, что ты пережил. Постарайся все забыть и начать сначала. Тебя надо постричь. Седину на висках подкрасить. И маникюр сделать. А-то выглядишь на пятьдесят...»

Дядя Лео вынул из сумки ножницы и другие принадлежности своего ремесла.

— Ради бога, позже, видишь, я едва дух перевожу... боюсь, в обморок брякнушь. Дай поесть спокойно. Мама, есть суп?

— Конечно, твой любимый, грибной. И сметанка... Я же тебе говорила...

— Налей тарелочку. И воды дай стаканчик. Из-под крана.

— Зачем из-под крана, у нас есть кока-кола. И лимонад.

— Не надо колу, дай воды...

Мать проворчала: «Какой ты привередливый, сын! Специально сэкономила, собирала, готовила, чтобы ты хорошо поел-попил после тюрьмы. А ты...»

Но воды принесла. И поставила перед Грегором граненый стакан. Обвеяв его неизвестным ему ароматом дорогих духов.

Подумал сквозь туман: «Откуда у нее такие духи? Неужели репетиторством заработала?»

— Спасибо. Теперь не смотрите на меня, замрите, я хочу супчик похлевать. В тишине.

Дядя Лео почмокал губами и попросил: «Лерочка, плесни и мне супца. И белого хлеба нарежь, сестричка!»

Улыбнулся и стал похож на чайник для заварки. Грегор заметил это и тихо рассмеялся.

Дядя Лео съел тарелку супа, в который макал белый хлеб, а затем попросил у сестры водки. Явилась запотевшая бутылка Абсолюта. Лео налил себе полстакана, почмокал и жадно выпил. После этого встал, похлопал Грегора по плечу, поцеловал сестру в плечико и вышел в прихожую.

— Братик, а как же жаркое, пирог?

— Спасибо, спасибо, я сыт и пьян и нос в табаке. Встретил племянника и удаляюсь. В другой раз постригу бедолагу.

Когда за ним захлопнулась входная дверь, напряжение, висящее в воздухе, уменьшилось, Грегору полегчало. Даже показалось, что все не так уж плохо. Перед глазами быстро промелькнули сиреневые соблазнительные картины. Он отогнал их усилием воли.

Налил себе маленькую рюмку водки.

— Мам, а тебе?

— Налей и мне, грешнице. Сейчас принесу жаркое и пирог.

— Положи мне пожалуйста совсем немного жаркого и маленький кусочек пирога. А-то я с непривычки лопну. Или сблую как Венечка на Курском вокзале. Суп вкусный.

— Для тебя старалась. Грибы на базаре купила. Дорого все.

— Скажи, а зачем ты бальное платье надела? Декольте до пупка.

— Ну как же, праздник. Сыночек любимый из тюрьмы возвратился. Хотела тебя порадовать. Или ты забыл, как...

— Понятно. Как ты жила тут эти двенадцать лет? На свиданиях мы с тобой так ни разу и не поговорили по-настоящему.

— Жила как живется, по тебе скучала.

— А откуда деньги на костюм взяла? Дорогой... Неужели в школе или частными уроками заработала?

— Если бы... Нет, мне один человек помогал. Предприниматель. Добрый, щедрый.

Грегор заметил, как сверкнули ее обычно блеклые глаза и затряслись руки.

— Ты мне про него ничего не рассказывала. Про щедрого.

— Боялась, что ты ревновать будешь.

— Я буду ревновать? Ты что? Ты же свободный человек. Я только рад буду, если ты счастливой станешь. Когда свадьба? Тебе ведь еще и шестидесяти нет, самое время замуж за доброго и щедрого предпринимателя. Ягодка. И платье подойдет.

— Как тебе не совестно, бесстыдник. Ягодка... Я вся извелась. Ты же знаешь, что я только тебя люблю. А с ним общалась, только потому что деньги были нужны. Не только на костюм, но и долги заплатить и за квартиру. И Лео помочь надо было. Он все свои доходы в карты проигрывает. А потом ему есть нечего. Нюхает кокаин. Но я ему не судья. Каждый живет, как может. Цены-то поднялись на все, школу вот-вот закроют. Частные уроки никому не по карману, у людей денег нет, инфляция, все идет на военные расходы. Погоди, поживешь, увидишь. Чуть из квартиры меня не выгнали.

— Как так деньги? Ты что же себя продавала? Ради моего костюма?

Грегор сказал это и сразу же пожалел. Но было уже поздно.

Мать его не заплакала, а только сморщила губы... опустила голову и молчала. Затем выпила рюмку Абсолюта, потрянула кудрявыми волосами и перьями на платье и прошептала: «Да!».

Грегору стало нестерпимо жалко эту постаревшую женщину в нелепом вульгарном платье, так жалко, что он, сам не понимая что и зачем делает, попросил ее: «Мама, можешь вынуть груди из декольте? Я хочу...»

Она выполнила его просьбу без усилия, без позы, естественно и легко.

Грегор встал, без труда взял ее на руки, унес к себе в комнату и положил, осторожно, как священник величайшую святыню на церковный алтарь, на свою кровать.

Мать засунула себе за спину две подушки и села, а он лег на ее бедра головой, взял сосок ее правой груди в рот и начал сосать.

АЛЫЙ ГАЛСТУК

Удивительно теплая и дождливая весна нынче в Берлине. В конце февраля уже порхали бабочки, жужжали мухи и лопались первые почки. Сирень отцвела в марте. В апреле прилетели журавли.

Теплая, но не жаркая, и дождик идет часто. В районе, где я живу, деревьев не много, зато травы, кустарники и цветы растут тут как в Эдемском саду. В этом году — мелкая зелень до того ароматна, пышна и мясиста, что хочется превратиться в мальчика с пальчика и отправиться в эти джунгли на поиски синих стрекоз с изумрудными глазами. Делать это, впрочем, не советую, у нас тут много крыс, праздно рыскающих собак, любопытных сорок и прожорливых ворон.

В мае, недалеко от огороженной высокой решёткой спортивной площадки, на склоне насыпи, выросли маки. Сочные, красные. Размером с блюдце.

...

И вот, сидел я однажды на лавочке.

Там, где все засыпано излужганными семечками и до самого фильтра искуренными окурками (в нашем районе живет много выходцев из бывшего СССР), смотрел на эти жгучие алые цветы с темными крестами вокруг пестика и вдруг...

Чудесный их цвет зашвырнул меня на родину... лет на пятьдесят пять назад. Ничего не поделаешь, старею.

Перенес прямо в нашу крохотную кухоньку в университетском доме на улице Панферова.

На следующий день меня должны были принять в пионеры, и мама гладила мой новый пионерский галстук, красный как берлинские маки, который, как было написано на плакате, висящем на стене школьной пионерской комнаты, «пламенно горит и тремя концами словно говорит... с комсомолом, с партией дружба велика, связь трех поколений как гранит крепка».

Как же тут все знакомо... убого...

Вот и моя комнатка, узкая лежанка, старый письменный стол, скрипка, тетрадки, конструктор, книжный шкаф, фарфоровая лошадка на полке, любимые книжки... остров сокровищ... дети капитана гранта... копи царя соломона. Кактус.

На подоконнике — два небольших лимонных деревца.

Они погибнут через несколько лет от холода. Уехали отдыхать в Дом отдыха и забыли закрыть форточку в морозы.

Покрытая старой маминой ковбойкой клетка со щеглом Сёмой.

Через год или через два, кажется, я выпустил его, в августе...

Сколько дней или лет ты прожил на воле, Сёма? У нас тебе было неплохо, газету в клетке и воду я менял каждый день... корм покупал в Зоомагазине на Ленинском. Ты даже пел в неволе и смешно разговаривал сам с собой на своем языке, но в твоём пении слышалась тоска... по лесу, по полю, по свежему ветерку, по другим щеглам и щеглихам. И я отпустил тебя... открыл настежь двустворчатое окошко и приподнял решеточку-гильотину. Ты вылетел не сразу... посидел рядом с выходом, почистил клюв, осмотрелся, выпорхнул и был таков.

Я смотрел, как ты летишь, воспаряешь в небо. Через несколько секунд ты исчез в московском мареве. Навсегда... Я был так рад за тебя. На маминых ресницах я заметил слезы.

Плакала она и в тот вечер, гладила на кухонном столе мой первый галстук и плакала. От покрывавшей галстук влажной марли валил пар. Мама трогала утюг мокрым пальцем, утюг грозно шипел, и вспоминала, как ее саму принимали в пионеры в нетопленном военном классе их подмосковной школы. Галстук ей бабушка вырезала из своей старой блузки. Из-за горизонта доносилось грозное буханье пушек. Немцы рвались к Москве. Бабушка тихонько шептала дочке: «Не бойся, глупенькая, хуже не будет».

...

Вечером перед приемом я не находил себе места от волнения. Меня, советского третьеклассника, особенно волновал переход как бы на новый этаж жизни. Кажется, я не ве-

рил в сомнительные лозунги коммунистической пропаганды (утверждавшей, что пионер... с компасом в кармане и глобусом в руках, с линейкою подмышкой и змеем в облаках... он честен и бесстрашен на суше и в воде, товарища и друга не бросит он в беде... в трамвай войдет калека, старик войдет в вагон — и старцу и калекке уступит место он), но и иммунитет от ее ядов я еще в себе не выработал, внутренний бунт еще не поднял. Это произошло позже, во время вступления в комсомол, как реакция на попытку агрессивного промывания мозгов.

Но и бесследно для меня, эта, вторая после «октябрьской», государственная идеологическая атака не прошла.

Особенно меня почему-то волновал этот алый галстук, который я отныне должен буду носить на шее, знак принадлежности к пионерской дружине имени малолетнего героя Полесской крепости Петра Коростяного, который отказался покинуть крепость, а потом что-то там героически переплыл. Уже во времена перестройки мне случайно попал в руки его некролог. Оказалось, пионер-герой попал таки к немцам в плен и несколько лет батрачествовал в Эльзасе, после окончания войны был возвращен на родину, где связался с нехорошими парнями и загремел в лагерь за бандитизм, получив сталинский четвертак, но вышел через семь лет и мирно дожил свою жизнь на свободе.

Цвет галстука меня завораживал, я млеял и таял, глядя на него, погружался в непонятный мне самому экстаз. Его огненность и нежная шелковистость заставляли меня дрожать и грезить наяву.

Я ужасно хотел стать космонавтом. И бродить в пионерской форме и галстук «по пыльным тропинкам далеких планет». Искать там свою судьбу.

И девочку... с зелеными глазами и таким же галстуком на шее.

...

Принимали нас в пионеры — во Дворце пионеров на Ленинских горах. Как и полагается, в торжественной обстановке.

Построили в вестибюле. Школьная пионервожатая, кособокая и косноязычная тетка лет сорока витийствовала минут двадцать. Призывала нас «мыть руки, всегда быть бдительными и непримиримыми с врагами нашего социалистического государства, беречь народное добро и собирать металлолом» и в итоге «продолжить и завершить дело мирового коммунизма». Жестикულიровала и жутко выпучивала глаза. Тетку эту дети боялись.

Затем мы давали клятву, повторяли хором: «Перед лицом моих товарищей... жить, учиться и бороться... как завещал великий Ленин...»

Потом нам прицепили пионерские значки и повязали галстуки. Зазвучала песня — «Взвейтесь кострами синие ночи...»

Будьте готовы, нахраписто повторяла пионервожатая.

Всегда готовы, отвечали мы нестройным хором. На что мы были готовы, я не понимал. Руки я и так часто мыл. И металлолом собирал.

Затем нас повели в концертный зал.

...

По дороге домой я недоумевал: «Вот, на мне алый галстук. Но ничего не изменилось, ни во вселенной, ни во мне из-за этой тряпки на шее».

Только по-маленькому хотелось жутко. Процедура затянулась на несколько часов, а отпроситься и сходить в туалет я постеснялся.

Момент икс наступил, когда я выходил из лифта, на нашей лестничной площадке. По телу пробежала волна острой боли... терпеть дольше резь в паху не было сил.

Я присел... и описался.

Полегчало.

И тут же сверкнула мысль: «А если кто увидит? Соседи. Дети нашего двора».

В подъездах тогда не было замков, и мы часто носились по чужим лестницам. А если сюда случайно поднимется та, зеленоглазая?

В ужасе сорвал с себя галстук и попытался затереть им лужу. Не вышло.

Заплакал от бессилия и стыда.

Впал в протрацию. Сидел на холодном полу у нашей входной двери и дрожал.

Там и нашла меня бабушка, приехавшая к нам в гости. Заохала, ввела меня в квартиру.

Матери пришлось срочно стирать галстук, трусы, носки и школьные брюки. Мыть и сушить сандалии.

Пол на лестничной площадке вымыла бабушка.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

1

У каждого свои пороки и придури. Некоторые уехавшие еще из СССР эмигранты жадно смотрят российское телевидение. И впадают в детство.

Другие пишут эпохальные шестисотстраничные романы с многочисленными интригами, географическими и временными ответвлениями от основного сюжета и детальными описаниями оргазмов главного героя непонятной сексуальной ориентации.

Увлекаются футболом, уфологией, кулинарией или монархизмом.

Участвуют в оккультных ритуалах. Разговаривают с духами. После чего витийствуют на актуальные политические темы. Предвещают близящиеся перемены. Постоянно отодвигая сроки драматической развязки.

Ну а я смотрю хоррор-фильмы, единственные в своем роде творения человеческого гения категории Б, еще способные вызвать у меня смех.

Предпочитаю сладкие ужасы мистики: фильмы по мотивам Лавкрафта с его экзальтированными, ищущими себя ходоками-студентами и спящим на дне моря вонючим моллюском Ктулху.

И вот однажды, посмотрев в полглаза треш-фильм про заброшенное кладбище на Аляске (ходячие мертвецы, зловещие дети, сосульки-убийцы, хмурые пришельцы, хеппи-энд), я вдруг вспомнил то, что сам пережил на старом деревенском погосте... ночью... лет пятьдесят назад... в дремучую эпоху застоя.

Скромное это происшествие нельзя конечно сравнивать с коммерческими ужастиками, но...

* * *

Случилось это недалеко от уже не раз описанного мной университетского Дома отдыха, в котором я и мои друзья отдыхали с мамами или с бабушками. В августе.

Задумал я однажды... не один, а с двумя моими друзьями-подростками, высоким блондином, Володей-Чайником и маленьким жгучим брюнетом, умным и рассудительным Боренькой и с еще одной нашей общей подружкой, красоточкой Юлей-Юлечкой по прозвищу Цапля, которая хоть и была нас на два года старше — ей недавно исполнилось шестнадцать — но бегала и возилась с нами, «с сопливой малышкой», для того, якобы, чтобы мы «не наделали делов»... навестись ночью на старое лесное кладбище.

Пройтись по кладбищу мы, естественно, хотели в простынях, а под простынями — фонарики должны были светить. Снизу, чтобы морды страшные вместо лиц представлялись. Кому представлялись? Тем, кто по ночам по лесу таскается. Проходим. Каким проходим? Нет там никого. Тем лучше. Знатно повеселимся в теплой компании!

Все сделали, как задумали. Выпросили — с отдачей — простыни у бабы Зины в бельевой. Одолжили у кого-то фонарики. Даже получили на нашу ночную экскурсию официальное разрешение у мам и бабушек (пусть дети порезвятся).

С условием — в два часа ночи лежать в наших койках в Доме отдыха и дрыхнуть.

Притащились около двенадцати на кладбище. В простынях, с фонариками.

Чайник зачем-то ракетку теннисную с собой взял. Боренька — самодельный трезубец, как у Нептуна. А Цапля захватила с собой шарик из цветного папье-маше на резинке. Допотопный советский вариант йо-йо. Не вращающийся. Но отлетающий и возвращающийся. В руках опытного игрока — прекрасная забава и дразнилка.

По дороге на кладбище обсуждали фильм «Бей первым, Фреди» (его навязчивый саундтрек до сих пор звучит в моей голове). Мне фильм очень понравился. Легкий и смешной. Чайнику — тоже. Серьезный и продвинутый Боренька (недавно самостоятельно освоивший начала квантовой механики) называл его — развлечением для идиотов. А Цапля фильм принципиально не смотрела. Это, мол, пиф-паф с ракетами и голубями, картина для подростков или инфантильных мужчин. А мне интересны Бергман и Феллини.

Несмотря на разногласия, раздавили для храбрости под огромным дубом бутылочку белого вина, нелегально купленного в сельпо. Рислинг. Пили залихватски, из горлышка, улюлюкали и дурачились, Цапля, впрочем, не пила. Потому что «нельзя пить эту советскую отраву». Цапля была права. У меня сразу засвербило в животе. А Бореньку вырвало. Прямо на дуб. Но он сумел это от Цапли скрыть. А мне показал язык. Сделал вид, что стреляет в меня из пистолета. Это за Фреди. Чайник от «отравы» не пострадал. Он у нас — не чувствительный.

И вот идем мы между заброшенных могил, фонариками себя подсвечиваем и подвываем: «А-а-а-а... у-у-у-у...»

Чайник ракеткой воздух крестит, Боренька потрясает трезубцем, Цапля беззвучно шарик вверх-вниз бросает, а я зубами клацаю. Тогда еще мог.

Все здорово, но не весело почему-то. Немножко страшно. Рислинг в животе за кишки тянет.

Ночь, кладбище. Звуки странные из леса доносятся. Треск, жужжанье, бульканье, хрюканье. И еще — стоны... будто зовет нас кто-то. Плачет, всхлипывает, просит о помощи. Лешие?

Остановились, прислушались — тишина. Пошли дальше.

Место, которое мы выбрали для нашего ночного представления — было на самом деле жутким. Почти не тронутый человеком лес. Болота вокруг. До дороги — километров семь,

до нашего Дома отдыха — три с половиной километра. По лесной тропинке. Днем по ней идешь — все ясно. А ночью — все не так. Тени.

Высоченные липы на кладбище — как египетские колонны, ветки, смыкающиеся над нашими головами — как мускулистые руки великанов, корни, тут и там вылезшие из земли — как борода Вяя.

Ограды и кресты покосились... могилы такие, что из них вот-вот мертвецы полезут. Сиреневые огоньки в чаще. Кикиморы мерещатся.

На кладбище этом давно никого не хоронили. Потому что две или три деревни, поставляющие сюда раньше своих покойников, не существовали больше, на их месте плескались зеленоватые воды водохранилища.

Темно. Фонарики наши тьму не разгоняли, только нас самих и слепили.

Луна светила как-то сбоку. Деревья отбрасывали длинные тени, которые явно жили своей жизнью.

В бледно-лимонном, обманчивом лунном свете — кресты, ограды, кусты и деревья казались темно-синими... и исполненными особенного, магического, судьбоносного значения. Не почувствовать это было невозможно. Я заметил, что лица моих спутников посерьезнели. Даже как бы постарели.

Наша дурацкая затея превращалась постепенно и неотвратно — и против нашей воли — в непонятный нам самим ритуал поклонения. Чему, кому?

Чему-то непостижимому, древнему, всеильному, вдруг открывшемуся нам на этом лесном погосте.

Мы чувствовали себя адептами старого-престарого культа. Культа, бессознательными адептами которого являются все живые существа. Более глубокого, чем любая теософия.

Боренька не выдержал первый. Положил свой дурацкий трезубец на землю. Сложил как умел простыню и положил ее рядом с трезубцем. И сел на нее.

Остальные, не сговариваясь, сделали то же самое. Сели в кружок и взялись за руки.

Рядом с огромной елью.

Несколько минут мы пели неизвестный гимн на непонятном языке. Что-то внутри нас диктовало нам слова...

Допели. Чайник тихо предложил разжечь костер. Никто не стал возражать. Костер, конечно костер.

Все ждали чего-то. То ли от самих себя, то ли от других. Или — от того, необъяснимого, от того, что всецело завладело нами этой ночью, от того, чему мы уже были готовы принести свои жизни в жертву.

Притащили сухие ветки, построили из них пирамиду, у Чайника нашлась зажигалка, вскоре запылало и загудело пламя.

Смотрели в огонь. Молчали. Чувствовали, что сейчас что-то произойдет. Не знали что. Но не боялись. Ждали.

Неожиданно Цапля встала, быстро разделась и разулась. Никто из нас не смутился. Никто не остановил ее.

Не похожий на себя, напоминающий былинного ратника Володя-Чайник подошел к ней и взял ее на руки. Она позволила ему поднять себя.

Он положил ее на старый, заросший мхом могильный камень, шагах в двадцати от нас. Положил как подготовленное к жертвоприношению животное.

Боренька и я встали с одной стороны камня, Чайник — с другой. Между нами лежала Юлечка-Цапля. Глаза ее были закрыты. Руки вытянуты. Маленький белый живот судорожно поднимался и опускался.

Не помню, о чем я в тот момент думал. Наверное, ни о чем. Я ждал. Ждал, что Чайник достанет свой охотничий нож.

И он достал его. Раскрыл. Потрогал за длинное лезвие.

Взял нож правой рукой. А левую руку положил на Юлечкин рот.

Медленно размахнулся и...

Следующее мгновение тянулось необъяснимо долго. Как при замедленной съемке. Нож в руке Володи медленно-медленно приближался к груди Юлечки.

Вот, он слегка коснулся ее нежной кожи. У кончика острия показалась маленькая капля крови...

Я уже набрал в легкие воздух, и был готов истошно закричать. Но не закричал.

Потому что нож застыл, так и не проникнув в тело жертвы.

Время остановилось.

Я испытал незнакомое мне блаженство. Все существо мое собралось в белую сверкающую точку и взорвалось.

* * *

На следующий день мы, все четверо, встретились, как и договорились, на пляже и вместе купались. Играли в волейбол. Ели арбуз. Боренька плевался косточками. Чайник грозил утопить его в водохранилище.

На маленькой груди Юлечки, лишь слегка прикрытой бикини — я не нашел глазами ни свежего пореза, ни шрама, ни даже пятнышка.

Вечером того же дня мы устроили на пляже «попойку».

Разожгли костер. Жарили хлеб на веточках. Играли в жмурки.

Выпили привезенную втайне из Москвы бутылку заграничного портвейна.

Разделись и танцевали вокруг костра «дикий гопак».

Цапля обнимала меня и прижималась ко мне животом. Целовалась с Чайником и Боренькой.

То и дело превращалась в птицу. Пыталась взлететь. Но не могла.

Вокруг нас плясали пьяные огни. Синие, зеленые, розовые...

Огни радовали, обжигали, сводили с ума.

А потом... на пляже вдруг показался рояль. За ним сидел пианист, похожий на паука. Он играл Моцарта так чисто, ясно и звонко, что звуки на наших глазах превращались в кристаллы и падали сверкающим водопадом на песок.

Затем пианист исчез вместе с роялем. А мы вместо музыки услышали пеструю какофонию сошедшего с ума небесного оркестра.

После того, как какофония стихла, заиграла виолончель, и мое сердце сжалось от печали.

Я вспомнил лежащее на могильном камне белое тело.

2

Мы все еще шли той августовской ночью по заброшенному лесному кладбищу. В простынях и с фонариками, подсвечивающими лица. Володя-Чайник с теннисной ракеткой, Боренька с трезубцем, Юлечка-Цапля с советским йо-йо и я.

Лес трещал, скулил и плакал. Могилы пугали.

Прошли все кладбище насквозь. Повернули, пошли по тропинке, непонятно куда ведущей. И тут, на этой тропинке, неожиданно встретили маленького мужичка-пьянчужку, скверно одетого, в дурацкой шапке и с грязной женской сумкой на плече. Синей.

Лица его мы не разглядели.

Он медленно брел нам навстречу, что-то бормотал. Увидел нас, задержался, задрожал и вдруг стал на колени.

Ближе всех к нему в этот момент находился идущий первым Чайник. Полагаю, он, как и остальные, был удивлен и ошарашен. Поднял свою ракетку. Как меч. Но не ударил... Позже он говорил мне, что ракетку поднял инстинктивно, мол, кто его знает, что у пьяного на уме.

Мужичишко взмолился: «Братцы, не убивайте! Вот, сумку возьмите, шапку, деньги еще есть в кошельке, вчера получил зарплату в совхозе, все, все возьмите, последнюю рубашку вам отдам, все отдам, только не бейте и не убивайте! Христом-богом прошу. Не жалеете меня, пожалейте жену-страдалицу, инвалида с детства, тридцать лет алкоголика терпит, сама ни-ни...»

Он снял с себя рубашку, брюки, ботинки и положил все это перед собой, и туда же положил свою сумку и шапку.

Мы конечно не собирались его бить или убивать. Мы были испуганы и не знали, что делать. Топтались на месте.

Тут умный Боренька подал пример. Запрокинул голову — как волк — и завыл по-волчьи. Цапля и я тоже завыли. Получилось не очень. Какие-то всхлипы вместо воя. А Володя-Чайник неожиданно для нас, довольно громко и похоже заревел по-медвежьи.

Странно. Откуда-то из глубины леса мы услышали то ли эхо, то ли ответ на наше вытье и рёв настоящих волков и медведей.

Голый мужчина, стоящий на коленях, заткнул уши руками, плакал, плевался, раскачивался из стороны в сторону и повторял: «Не убивайте, братцы, не убивайте, рубашку возьмите, брюки, кошелек... жены-страдалицы ради...»

Мы не знали, что делать, продолжать комедию было глупо и жестоко.

И тут Боренька не растерялся. Перестал выть, посмотрел на свои наручные часы с будильником, и сказал будничным тоном: «Двадцать минут второго. Ребята, пошли назад, с него хватит. Видите же, психованный... А мне мать весь отдых испортит, если я после двух приду».

Мы не возражали, наоборот, были благодарны, развернулись и уже были готовы ретироваться, но тут неожиданно услышали тихий смех и хихиканье.

Смеялся голый человек, стоящий на коленях на лесной тропинке перед кучей трепья. Глумливо хихикал. Ничего он не боялся. И психованным не был. И мольбы его были мерзким притворством.

Мы как зачарованные смотрели на него. А он, насмеявшись вдоволь, встал, растопырил ноги, ничуть не стесняясь, поднял и распростер свои костлявые руки. Стал похож на букву «х». И начал медленно расти. И рос, рос...

Тут мы впервые увидели его лицо в зеленоватом лунном свете. Оно не было человеческим. Оборотень? И его тело — было не человеческим телом, а только его имитацией, под пятнистой кожей как будто ползали змеи...

Существо это стонало и корчилось, как надуваемая снизу сильным вентилятором фигура из полиэтилена.

Мне было очень страшно, а Бореньке и Володе-Чайнику видимо нет. Или в них проснулся охотничий инстинкт? Не знаю. Не сговариваясь, они решили атаковать оборотня.

Чайник ударил его теннисной ракеткой. А Боренька метнул в него свой трезубец. Хотел его продырявить.

В тот момент, когда ракетка и трезубец коснулись кожи оборотня, все вокруг нас изменилось.

Кто-то в один миг сменил декорации. И включил свет.

Пропало кладбище, пропал лес. Могилы, деревья, тени...

Володя, Боренька, Цапля и я сидели по-турецки на пластиковом полу чистой и хорошо освещенной комнаты. Комнаты без мебели, без дверей и без окон. И без видимого источника света.

— Где это мы? — спросила дрожащим шепотом Цапля.

— Где, где, в нигде, — ответил всезнающий Боренька. — В пространстве зеро.

— Это что еще за дребедень?

Боренька ударился в объяснения. Использовал понятия, взятые из учебников по термодинамике и квантовой механике. Я ничего не понял, кроме того, что в нашей жизни что-то пошло наперекосяк.

Боренька предполагал, что из этого «пространства зеро» можно при желании попасть в любую точку мира.

— Понимаете, то, что мы увидели на кладбище — это не чудовище, а инопланетянин. А эта «комната», где мы сейчас сидим, — это его транспортное средство. Не ракета, а пространство зеро. Технология будущего.

— Инопланетянин? Какой мерзкий. Боюсь, никуда это дурацкое пространство нас не переместит. Пупок развяжется. И вообще, никакое это не пространство. И не комната.

— А где, по-твоему мы находимся?

— А черт знает где. Похоже, мы все под гипнозом и нам все это кажется. И комната эта и оборотень на кладбище. А на самом деле — мы валяемся в лопухах. Пьяные или дурные.

— Кто же нас загипнотизировал?

— Леший его знает. Может быть, этот дядька с сумкой. Никто не знает, что в другом человеке кроется. Может он Мессинг?

— Зачем спорить о том, что легко проверить? — сказал Чайник и произнес громко и отчетливо, явно обращаясь не к нам: «Прошу перенести нас в Нью-Йорк, в Музей Метрополитен».

Губа не дура. В Нью-Йорк!

Будь моя воля, я попросил бы перенести меня в нашу комнату в Доме отдыха. Боялся, что бабушка не спит и беспокоится обо мне. У нее мог начаться приступ астмы. Но сказанного не воротишь. Кто-то явно услышал и понял слова Володи. Нашу комнату и нас вместе с ней несколько раз встряхнуло. Потом завертело. А затем... нас с огромной скоростью потащила куда-то неведомая сила. На Луну или в преисподнюю.

Я зажмурил глаза.

А когда я их открыл...

Я и мои друзья находились в большом зале с средневековыми христианскими скульптурами и картинами на стенах.

Неужели мы действительно в Нью-Йорке, в музее? Трудно было понять. Жалюзи на окнах были опущены.

Что-то было, однако, не так. Мы не сразу поняли, что...

Тут, в этом зале, полном предметов искусства, мы не были людьми. Наши души и сознание были вложены (как ручки и карандаши — в школьные пеналы) в деревянные скульптуры. Мы видели все вокруг деревянными глазами, мы могли телепатически общаться друг с другом, но не могли пошевелить и пальцем или хотя бы моргнуть.

Занесло нас в скульптурную группу «Поклонение волхвов».

Володя-Чайник оказался в молодом золотистоволосом Каспаре в красной персидской шапке. Бореньку-умного забросило в коленопреклоненного лысого старика Мельхиора с золотой чашей в руках. Я был заключен в деревянном теле чернокожего короля Эфиопии Бальтасара. Несчастливая Цапля томилась в теле Богородицы.

По залу бродили посетители музея, подолгу задерживаясь у скульптур и картин. Нашу группу они тоже рассматри-

вали долго и внимательно. Норовили потрогать. Но как только рука приближалась к деревянной плоти слишком близко — ревела сирена.

Судя по одежде и обуви, посетители музея не были советскими людьми. Говорили они между собой тихо и на разных языках, в том числе и на английском. Я понял только несколько восклицаний, вроде «какая красота» или «восхитительно».

...

Спустя какое-то время молчащая прежде Юлечка послала нам телепатический сигнал: «Ребята, у меня сердце в пятках, посмотрите на младенца».

— У тебя нет сердца, сестричка, как у Железного Дровосека, — проворчал Чайник.

Я не сразу понял, зачем надо было глядеть на младенца.

Ужас продолжался. Пухленький мальчик с красивой головой и умным печальным личиком на наших глазах превращался в знакомое нам чудовище. Из его глаз, ноздрей и ушей вылезали твари, похожие на угрей. Они щерили свои зубастые пасти и щетинили черную шерсть...

На картинах вместо ангелов, апостолов и Святого Семейства — показались когтистые косматые дьяволы. У некоторых из них были крылья.

Скульптуры превращались в демонов-рептилий с пятнистой кожей.

Посетители, истоиво крича, покидали зал.

Мы слышали клекот, шип, визг, топот мечущихся в панике людей.

Внезапно погас свет. Звуки исчезли. Несколько мгновений мы провели в темноте и тишине.

...

Обнаженная Юлечка все еще лежала на заросшем мхом могильном камне. С одной его стороны стояли Боренька и я. С другой — с охотничим ножом в руке — Володя-Чайник. Суровое его лицо походило на лицо рыцаря со знаменитой гравюры Дюрера. Боренька тоже преобразился. Его добрая еврейская мордочка превратилась в злобную карикатуру, нос

вырос и упал, на нем появилась бородавка, красные клыки вылезли изо рта, глаза увеличились и напоминали глаза большой базедовой болезнью гиены.

Со мной тоже что-то случилось... хорошо, что я не видел себя со стороны.

Я ужасно хотел, чтобы Чайник наконец ударил Юлечку ножом в сердце. Жаждал увидеть, как брызнет во все стороны кровь девушки, как задрожат в предсмертных конвульсиях ее нежные бледные пальчики. Мечтал изнасиловать ее труп.

В последнее мгновение волна зла отпрянула, пришло раскаянье и просветление, и я успел закрыть своим телом несчастную Цаплю. Нож Володи вошел мне между лопаток и вышел острием на груди.

...

На следующий день мы опять встретились на пляже. Играли в волейбол и ели арбуз. А вечером танцевали дикий го-пак.

Юлечка подарила мне свой цветной шарик на резинке. Будет чем заняться в свободное время!

Авторский комментарий

Этот текст — пародия на детскую страшилку, с откровенными преувеличениями и избитыми метафорами. Зачем же я ее написал и прочитал перед микрофоном? Все просто — то экзотическое ощущение абсурда бытия, которое в этом рассказе доминирует — иначе не воссоздать. По крайней мере, я не умею иначе.

НАЖАЛ НА КУРОК

1

Мне повезло, высоченная ель упала и своей хлипкой верхушкой врезалась в стену.

Я прошел по ее стволу к стене, расставив руки как канатоходец.

А в конце подтянулся и вскарабкался на стену, оказавшуюся довольно широкой. По ней можно было ходить.

Раньше я предполагал, что стена поддерживает что-то вроде стеклянного или энергетического купола. Оказалось — там была установлена колючая проволока под током. Установлена так, чтобы никто извне не смог через нее перелезть. Кто-то охранял меня... от кого? От чего?

И проволока и крепления, на которых она была подвешена, поржавели от времени. Кое-где крепления сломались, а проволока висела на другой стороне стены как гирлянда.

Что дальше?

Протрусил по стене чуть ли ни мило... искал подходящее для спуска место.

Жадно смотрел на ту сторону. Там рос обычный смешанный лес. От него веяло свежестью, он хорошо пах. Кажется, я даже видел маленькое стадо пятиногих антилоп... не похожего на себя зайца... и треххвостых ласточек с белыми колечками на спинках.

Заяц нагло мне подмигнул. Не поверил своим глазам.

Наконец... дотянулся до ветки растущего недалеко от стены бука, повис на ней, рискуя сорваться, перебирая руками, добрался до ствола, обхватил его и потихоньку спустился.

Ура, я на свободе!

Ушел поскорее от стены.

О том, что я пережил там, в западне — старался не думать. Не пытался даже объяснить себе то, что со мной случилось. Кому это надо?

Хотел выйти на дорогу, поймать попутку, доехать до какого-нибудь города... а дальше? А дальше... постараться как-то добраться до моей конуры в предместье Далласа. Там в надежном тайнике есть деньги. Много денег. Если нашу трехэтажную коробку на 120 квартир конечно еще не снесли...

Сколько времени я торчал за этой стеной? Неделю? Пять лет? Или всю жизнь? Кто знает...

Шел, шел...

Но никаких дорог не встретил... даже проезжих.

Еще хуже — не видел линий электропередач... будок охотников... специальных мест для пикников... ничего... даже тропинок тут не было.

В небе не заметил конденсационных следов от самолетов.

Ничего не встретил, что свидетельствовало бы о существовании человека.

Зато видел незнакомых мне странных животных — рогатую собаку, преследующую кота с головой петуха, и двухголового зубра. Одна из его голов сосредоточенно щипала траву, другая мрачно смотрела на меня.

Долго не хотел признаваться себе, что на небе два солнца, одно знакомое, земное, а другое — маленькое и синее.

Куда меня опять занесло? На какую планету? В какой галактике? Сколько времени тут длится день?

Натолкнулся на ручей. Попробовал воду — чистая, свежая, вкусная... Только вот, вода ли это?

Напился и присел отдохнуть. Тут же заметил крупных рыжих муравьев, размером с жужелиц, бегущих по своим делам, кто с листиком, кто с личинкой в мандибулах, вежливо поприветствовал их и пошел искать другое место для отдыха.

Один из муравьев кивнул.

Заснул на теплой земле. На одуванчиковом поле.

Когда проснулся, наручные часы с фосфорными стрелками, как-то пережившие мои inferнальные приключения, показывали три часа четырнадцать минут.

То, что произошло со мной потом — трудно описать. Я ведь не писатель. Тут нужны какие-то особые слова или метафоры, а я их не знаю.

Непонятная сила подняла меня на воздух. Затем меня всосал в себя большой никелированный пылесос. Или металлический ящик сложной конструкции.

Я оказался в нигде, в недопространстве.

На меня прыгнул невидимый медведь. Обнял и стал, рыча и пуская ветры, ломать могучими лапами. Давить бедрами, брюхом, плечами и огромной косматой головой.

Кости мои захрустели, из под ногтей брызнула кровь. Кровь пошла из носа, из ушей и изо рта. Я закричал, давясь и корчась, услышал, как трещит мой хребет.

Понял — конец.

И тут медведь исчез. Но боль осталась... и прошла только через час.

Весь этот час я стонал и выл.

А когда очнулся, то не сразу, но осознал, что сижу на деревянной скамье на втором этаже в бывшей церкви Святой Софии в Стамбуле и разглядываю старинные люстры, состоящие из небольших стеклянных светильников, нанизанных как бусы на кривые металлические ребра. А передо мной — простирается величественное внутреннее пространство — сплошная глубина — этого необыкновенного здания, сохранившего свою магическую силу несмотря на почтенный возраст.

Вспомнил, что привело меня в Стамбул однако не желание посетить этот храм-музей, что мне предстоит разобраться тут с одним аборигеном, владельцем игорного салона, по национальности греком, долго жившим в Калифорнии и облопошившим там нескольких светских дам.

Грек промышлял в Америке брачным аферизмом. А у его жертв были влиятельные покровители и родственники. Обычное дело.

Рядом со мной сидел мужчина незаметной внешности. Без возраста, без национальности и без лица. Посредник. Показывал пальцем на одного разгуливающего по музею посетителя, плотного, с лысиной и огромным носом, ведущего за руку кроткую девочку в платочке. Лет двенадцати.

— Вот, возьмите бинокль. Посмотрите внимательно, запомните его лицо, не перепутайте с кем-нибудь. Рядом с ним — его единственная дочка. Кажется, она умственно отсталая. Раз в неделю они ходят вместе гулять и он показывает ей какую-нибудь достопримечательность. Добренький папочка. Покупает дочке леденцы. Потом он отвозит ее на своем стареньком белом Ленгли домой в Ускюдар, где она живет в двухкомнатной квартире с матерью в деревянном доме, а сам возвращается к себе в Каракёй. Его роскошные апартаменты — на третьем этаже недавно отремонтированного дома недалеко от Башни. Советую прямо сейчас подняться на Башню и рассмотреть все сверху с картой в руках. Но не мне вас учить... Вот, возьмите, другую модель мы не нашли.

Мужчина подал мне конверт и пистолет с глушителем.

— В конверте карта, деньги и авиабилет на завтра. До Франкфурта. Пистолет местного производства, но тоже стреляет. После применения можете его выбросить. Фабричный номер сбит.

— Что еще мне надо знать?

— Имя и адрес цели у вас есть. Лучше вам больше ничего не знать. Завтра утром он будет дома один. Он всегда по понедельникам часов до двух торчит дома. Мы проверили. Дверь в подъезд будет открыта, наш человек сломает утром замок и проследит, чтобы его не починили. Позвоните около десяти, а когда он спросит кто там, ответьте по-английски, что вы продаете специальные страховки для животных. Он вам откроет. Страховки для животных — его конек. Вы войдете и сразу же выстрелите в него. Если что-то пойдет не так, не ездите в аэропорт и не возвращайтесь в отель, а спуститесь с холма, перейдите через мост и пройдите несколько сот ярдов направо по набережной. Там вас будет ждать синяя лод-

ка «Синбад». Поднимитесь на борт, наш человек отвезет вас в убежище. Поживете там неделю, а потом мы отправим вас морем в Грецию.

— Вы уверены, что он будет дома один?

— Да. В понедельник утром в Стамбуле все или на работе или в постели. Поступайте по обстоятельствам. Если там будут люди, можете сразу же раскланяться. В этом случае — половину гонорара вам придется вернуть... Главное, ваше лицо тут не известно. И ваше имя тоже. Ваш имидж — турист. Идеальное прикрытие. Продавцом страховок вы будете только несколько секунд. Да, кстати. Прямо за вашим отелем, за глухой кирпичной стеной — пустырь. Там живут бездомные коты. Можете сегодня вечером там поохотиться. Чтобы познакомиться с оружием. В магазине 18 патронов, на всех хватит. Еще вопросы есть?

— Есть не вопрос, а предложение. Пошлите кого-нибудь понаблюдать завтра за его домом и его окнами. Скажем, часов с восьми утра. Если у него вдруг соберутся спонсоры его салона или он наймет трех проституток и будет заниматься с ними утренним сексом, ваш человек должен меня предупредить, я не пойду к нему утром, а навещу его днем или вечером.

— Предложение принято. Я попрошу того, кто займется замком, захватить бинокль и понаблюдать. Он встретит вас и предупредит. Если он не объявится, значит вы можете спокойно делать вашу работу. Да, последнее, наденьте темные джинсы и пуловер с капюшоном, тут некоторые молодые люди так ходят, дурацкая мода... и еще черные очки и соответствующие ботинки... вы будете одним из многих... и несколько случайных видеокамер недалеко от его дома вас не засекут.

— Так и сделаю.

— Прощайте, надеюсь, мы с вами больше не увидимся.

Человек без лица встал, похлопал меня по плечу и исчез.

А я посидел еще несколько минут, а затем вышел из музея и пошел в сторону моста через Золотой Рог.

Все шло по плану.

Пуловер с капюшоном — неопределенного цвета — я купил в торговых рядах у Большого Базара. И черные очки. И небольшую набрюшную сумку для оружия.

На Галата-Башне побывал и нашел по карте и дом цели и окна его квартиры. Начертил мысленно несколько вариантов бегства. Постарался их запомнить.

Посетил пустырь позади отеля. В кошек не стрелял, зато продырявил несколько баночек пепси-колы. Пистолет как пистолет.

Вечером смотрел телевизор. Показывали американский сериал «Твин Пикс». На турецком языке. Хорошо выпался.

Без пяти десять стоял у входа в дом.

Никто ко мне не подошел. Тяжелая, с цветным стеклом, дверь в подъезд была открыта.

Прислушался. Тишина. Быстро, мягко и бесшумно, как пантера, взбежал на третий этаж. Проверил имя на табличке.

Позвонил.

Мой грек даже не спросил, кто там. Открыл дверь. Босой. Носатый. В голубом шелковом домашнем халате на голое тело. Выглядел он благостно, так, как будто хотел пригласить меня позавтракать вместе с ним. Или попробовать новый деликатес. Я скинул капюшон и снял черные очки.

Он посмотрел на меня, и все понял.

На его лице отразились испуг и недоумение.

Я хотел его успокоить, улыбнуться, принять приглашение позавтракать... но в следующее мгновение уже бешено стрелял ему в голову и грудь из своего турецкого оружия. Всадил в него пять или шесть пуль.

В очередной раз прикончил не только цель, но и человека в самом себе.

Грек лежал в неестественной позе в луже собственной крови в прихожей своей квартиры, а я, вместо того чтобы сейчас же уйти, закрыл входную дверь и сел на элегантную, оби-

тую красным бархатом кушетку рядом с огромным венецианским зеркалом в золотой раме. Невольно пробормотал: «Это подделка... вас обманули».

И непонятно зачем начал щупать этот красный бархат, как будто хотел оценить товар.

В этот момент в прихожей появилась девочка, дочка бывшего брачного афериста. Я сразу ее узнал. Она напоминала маленького жирафчика, заблудившегося на бойне. Кроме не закрывающего соски ее опухших грудок детского бюстгальтера — на ней ничего не было. Длинная ее шея была покрыта бордовыми пятнами от засосов.

Девочка не сразу поняла, кто лежит перед ней на полу, скрючив пальцы.

У кого голова — как растерзанный арбуз... и дырки в груди и на шее.

Когда поняла, села на пол и заплакала.

Тихо.

По всем законам моего ремесла я должен был сейчас же убить ее. Потому что она меня видела. Как всегда: «Или умрешь ты, голенький беззащитный жирафчик, или придется умирать мне, заматоревшему мерзавцу и убийце».

Не знаю, если ли у турок смертная казнь. Но тюрьма у них страшная. Об этом меня предупредили.

И чем дольше я медлил, тем сильнее она мучилась.

Услышал эхо звука...

Звук не от мира сего.

Почувствовал, что настал момент, когда я смогу проявить милосердие, отбросить прошлое и вновь стать человеком. Напрягся.

Нет, не осилил.

Чудовище во мне зашевелило темными колючими щупальцами, вцепилось в сердце красными зубами и выпустило из кожаных складок огромных яиц синеватый член, похожий на длинный коготь.

Я поднял девочку и потащил ее в спальню.

Руки мои тряслись от вожделения.

В аэропорту я чувствовал себя комфортно и спокойно. О том, что произошло в квартире грека, видимо еще никто не узнал. Я не заметил ни полицейских патрулей, ни агентов в штатском, внимательно рассматривающих ожидающих регистрации туристов.

Вкусно поужинал в ресторане. Заказал жареные хвосты омара с орехами в масле. Выпил несколько рюмок дорогого коньяка. Пококетничал с официанткой. В зоне Дьюти Фри купил трость с серебряной рукояткой.

В самолете сладко заснул...

А проснувшись сразу почувствовал — страшная машина опять пропустила меня сквозь свои футуристические кишки. Все повторилось, медведь вновь мял и ломал меня. Потом, как и в первый раз, исчез.

И это мучение продолжалось чуть больше часа.

Затем оно прекратилось... и что же... я опять очутился в западне. В искусственном лесу, окруженном бетонной стеной.

Деревья из папье-маше не шелестели листьями и пахли гипсом.

Я долго шел вдоль стены и искал упавшую ель, но так и не нашел.

Ночью мне пришлось убежать от атакующих меня со всех сторон комодских варанов.

Какие гнусные твари!

2

Когда я проснулся, костер уже догорел.

Проснулся я не из-за холода, не из-за чирикания птиц, воя волков или жужжания пчел. А из-за грозной тишины, которая гремела громче грома небесного.

Мое тело в исступлении посылало мозгу тревожные сигналы, вроде сирены полицейской машины, мчащейся к месту преступления по вымершему городу.

В мою спину так глубоко впечатался рельеф коры дерева, послужившего мне спинкой кресла, что я не мог пошевелить

плечами. Казалось, что кожа на спине разорвется. Ноги затекли, поначалу не мог встать. Затем, несмотря на боль, вскочил... за-скакал козлом, чтобы разогнать кровь. Покукарекал, побрякал, что-то проорал в звенящее пространство. Сирена затихла.

Поискал в карманах мобильный телефон. Не нашел.

Зажигалка, складной нож, носовой платок. Больше ничего не было. Ни документов, ни денег, ни приглашения на званый обед в Вестминстере или на концерт Пинк Флойд.

Сияй, сияй, безумный бриллиант.

Пошел, сам не знаю куда. И вскоре наткнулся на стену. Или на забор, назовите как хотите. Бетонный, высотой в три или четыре моих роста.

Потрогал его, постучал тяжелой палкой, никто с той стороны не отозвался...

Делать нечего, пошел вдоль стены. Надеялся дойти до ворот. Перед тем, как идти, нарисовал землей на заборе большой крест и череп. Нет, без всякого намека, оставьте Фрейда в покое. Его и так знобит уже сто лет.

Шел, не торопясь, насвистывал что-то, несколько раз принимался петь арии из «Суперзвезды».

Через два часа вернулся к кресту и черепу.

Не было у забора ни выхода, ни входа. Получается, я в западне.

Что же, мне не привыкать, живу так всю вторую половину жизни.

Тем не менее, решил во что бы то ни стало перелезть через стену.

Но как? Выбрал самый глупый способ. Начал собирать сухие ветки и складывать их в кучу у стены. Работал долго и упорно.

Когда куча подросла, забрался на нее и попытался вскарабкаться на стену. Ничего не вышло. Сорвался, куча подомной развалилась, и я упал на землю. Строить вторую кучу, выше первой, даже не пытался. Я не египтянин. Признал поражение.

Раза три прошел лес насквозь, от стены до стены, но ничего интересного не обнаружил. Ожидаемое разочарование.

Осознал наконец, что какое-то время или остаток жизни придется провести здесь, в лесном массиве, окруженном высоким забором.

Заночевал на ложе из сухих еловых веток.

Проснулся рано утром. Ужасно хотелось пить. Прислушался. Ни звука. Даже шелеста листьев не было слышно. Как будто кто-то построил над лесом громадный стеклянный купол.

Что делать?

Встал, побрел...

И... случайно натолкнулся на дерево с дуплом, полным воды. Черпал воду рукой, другой рукой очищал ее от лесного мусора и потихоньку пил. Вода в дупле оказалась сладкой. Ни паучков, ни муравьев, ни сколопендр в ней не было.

Жажда прошла, а голод остался.

Достал нож, вынул лезвие, потыкал им в воздух и начал мечтать... вот, мол, поймаю и прикончу зайца или кролика, обдеру его и зажарю на костре...

Ноздри почувствовали чудесный запах свежего жареного мяса. Слюна набежала во рту. Фантомные радости скоротечны.

Никаких зайцев или кроликов я в этом лесу не встретил. Вообще никаких животных не видел, птицы тоже отсутствовали. Не было и насекомых. Ни бабочек, ни муравьев, ни даже грибов. Флора была вроде в порядке. Смешанный лес. А фауна пропала. Начисто. Но ведь так не бывает! Все взаимосвязано.

И еще... в этом лесу не было погибших деревьев. Сухие ветки, да кое-где валялись, а старых, покрытых мхом стволов, пней нигде не было видно.

Что это за странный лес?

Я такой только в театре видел.

Может быть, это закрытая зона?

Полигон для испытаний биологического, химического или психотропного оружия?

Или чего-нибудь похуже? Кто знает, до чего додумались наши нобелевские лауреаты?

Или тут нейтронная бомба взорвалась?

Или я на самом деле провалившийся шпион. И меня погрузили с помощью гипноза и специальных наркотиков в состояние долго длящегося бреда с целью выведать явки и адреса вражеских агентов?

Напрасно погрузили. Не знаю я никаких явок.

...

Догадался...

Этот лес не настоящий. Виртуальный или сделанный из гипса и других материалов. Созданный для того, чтобы свести меня с ума. Мой индивидуальный круг ада.

Разбежался и в ярости толкнул плечом дерево. Кажется клен. Клен затрещал и повалился. Оказалось, у него не было корней.

Попытался повалить березу. Не сразу, но удалось. И у березы не было корней, а ствол был сделан из папье-маше. Нарвал листьев, растер их ладонями — труха.

Я действительно находился внутри огромной декорации.

Страшная мысль укусила в сердце. А вдруг и я... тоже... робот, кукла, персонаж компьютерной игры. В ужасе ощупал свое тело. Ущипнул себя за...

Вроде нет...

Кем, за что я так наказан?

В бешенстве принялся валить деревья. Топтал ветки и сучья ногами. Рычал и плевался, кашляя от поднявшейся пыли.

Кидал палки вверх, хотел разбить стеклянный купол. Безуспешно.

3

Я шел по большому незнакомому городу.

Асфальт, дома, фонари, двухэтажные автобусы, автомобили, прохожие и само небо казались мне темно-темносиними.

В руке я держал нож. Я шел к дому, в котором жил этот отвратительный старик, моя цель.

Для окружающих я был невидим, но мой нож мог проткнуть тело человека. Я был идеальным убийцей-призраком, не оставляющим после себя никаких материальных следов. Кроме трупа, конечно.

Я не искал его виллу на карте, не спрашивал прохожих. Властная сила толкала меня в нужном направлении, вела к его дому кратчайшим путем.

Вот, я уже стою перед этим мрачным строением, возведенным после пожара Лондона во времена короля Карла Второго. Прохожу в дом прямо сквозь толстую сырую стену. Иду по темным коридорам, через анфиладу роскошно обставленных, но запущенных комнат. Останавливаюсь перед дверью в душевую.

Открываю дверь.

Под душем моются двое мужчин. Моя цель и младший его лет на сорок молодой человек. Старик и юноша. Вот, старик, плотоядно улыбаясь, повернулся к юноше откляченным морщинистым задом и похотливо потерялся им о его промежность. А юноша...

Я подхожу к старику и всаживаю нож ему в грудь. Затем вытаскиваю нож, с которого капает густая темно-синяя кровь, и втыкаю его ему в грудь еще раз. И еще...

Старик, скрежеща зубами и дьявольски гримасничая, падает и умирает.

Молодой человек садится на корточки и плачет, закрыв руками лицо. Его я не трогаю. Ведь этот юноша, это я сам.

Что это? Ложное воспоминание? Или мечта? Внушенный мне кем-то кошмар? Или указание на то, почему я тут оказался, в этом искусственном лесу.

Мне не надо указывать... я и так знаю.

4

Решил на окружающий мир не реагировать, а мой внутренний мир подвергнуть строгому допросу. Провентилировать память и подсознание. Не удалось.

Прямо у меня над головой соткалось из ничего черное грозное облако. Хлынул ливень. Засверкали молнии. Одна из них ударила в дерево, под которым я сидел, и расщепила его ствол надвое, обнажив неприглядную пустоту внутри оболочки-коры из папье-маше. Дерево вспыхнуло, мне пришлось искать другое убежище. Нашел. Молния ударила и в это дерево.

Внезапно гроза прекратилась. И я услышал звук прибывающей воды.

Потоп! Если бы это произошло в нормальном лесу, я бы подумал, что где-то прорвало плотину. Через несколько минут вода была мне по горло. Пришлось плыть. Вода отхлынула и исчезла подозрительно быстро.

Стало жарко. Градусов сто двадцать по Фаренгейту.

Откуда ни возьмись, налетели осы с желто-черными брюшками и длинными бордовыми жалами и облепили незащищенные одеждой части моего тела.. Начали меня жалить. Я завыл от невыносимой боли, побежал, споткнулся, упал...

Осы пропали так же неожиданно, как и появились. Места укусов не болели.

После жары и ос наступил ледниковый период, я дрожал, умирал, затем появились москиты, слепни, потом из земли вылезли огромные черви, непонятно откуда прилетели летучие мыши-кровососы, притащились шакалы и гиены, тяжело затопал тираннозавр...

Не буду перечислять все прелести моей темницы. Калейдоскоп.

Длились эти ужасы вечность или мгновения — не знаю. Время тут не подчинялось законам природы, а текло или прыгало по чьей-то прихоти.

Но я жил, если конечно мое вымороченное существование в этом лесу можно назвать жизнью. Царапины, раны, укусы, обморожения и переломы заживали удивительно быстро. Существо, у которого я находился в плену, явно хотело продлить мои страдания.

У садистского шоу, главным героем которого я стал, были и зрители. Иногда я слышал рукоплескания, сменявшиеся хохотом и свистом.

Мне казалось, что я вижу этих людей, разгуливающих на костюмированном балу в огромном зале, в центре которого вместо люстры висел на потолке мельничный жернов.

5

Мне недавно исполнилось двенадцать... родители отправили меня на каникулы к Эбигейл, младшей сестре моей бабушки. Ей тогда еще не было и пятидесяти. Жила она в Аллентауне, в небольшом двухэтажном доме в ряду сотен ему подобных домов напротив старого кладбища. На котором был похоронен и ее муж, зверски убитый лет восемь назад при нападении полицейских на протестующих шахтеров. В те прекрасные времена подобные убийства не были редкостью.

Мне нравилось в Аллентауне. В соседних домах жило много моих сверстников, с которыми я быстро подружился, и главное, взрослые не запирали нас на площадках, огороженных высокими решетчатыми стенами, как это было в нижнем Манхэттене, где я жил тогда с родителями. Мы бегали, где хотели, шалили, играли на безлюдных улицах, по которым редко ездили автомобили.

Эбигейл, как мне казалось, мало интересовалась моей жизнью. Кормила меня, следила за тем, чтобы я мыл руки перед едой и полдесятого лежал в постели, стирала и штопала мои вещи... Убиралась, читала, слушала радио, регулярно ходила в гости к своей сводной сестре, жившей на другой стороне реки.

Спал я в маленькой детской спальне под крышей, на узкой жесткой кровати, а Эбигейл почивала на огромном супружеском ложе в спальне на втором этаже.

И вот... в Аллентауне зарядил дождь.

Крыша нашего дома протекла. И как раз над моей постелью. Эбигейл поставила на мою кровать большое цинковое

ведро, а меня погладила по русой голове и сказала: «Завтра крышу починят, а сегодня ты будешь спать у меня, не беспокойся, это нормально. Я никому об этом не скажу».

Вечером послала меня как обычно в душ. Потом заставила надеть пижаму ее покойного мужа, а сама облачилась в непрозрачный пеньюар. Перед сном прочитала мне главку из «Квакерской книжки для мальчиков» — «О чистоте, благонравии и благодати».

Кровать в ее спальне была настолько широкой, что между нами простиралась полоса шириной в два ярда.

Я «ни о чем таком не думал» и заснул как только положил голову на подушку.

А бедная Эбигейл видимо долго боролась с соблазном... через несколько часов сдалась, подползла ко мне, обняла, просунула руку мне в пижамные штаны, нашла мой детский член и яички и стала их ласкать. И целовать меня в губы.

Ребенок реагирует на эротику в несколько раз интенсивнее, чем взрослый. Она приносит ему больше радости, и именно поэтому может испугать или вызвать припадок брезгливости, или стать причиной ненависти.

Через какое-то время я проснулся.

В облаке дорогих духов, ласки и любви...

Окруженный колышущимися женскими прелестями (Эбигейл к этому моменту уже разделась донага и меня раздела). Член мой не просто стоял, но грозил разорваться. По всему телу прокатывались волны наслаждения.

Я не испугался и не возненавидел сестру моей бабушки. Я был ей благодарен. И полюбил ее.

Никто никогда не делал со мной ничего подобного. Сверстницы, к которым меня влекло, меня сознательно не замечали... девушки постарше презирали, родственники, родители... от них я получал только сюсюканье, наставления, упреки...

в лучшем случае — саркастические замечания, которые я тогда еще не понимал.

Десять следующих ночей мы провели вместе.

А затем случилось то, чего я никак не мог предвидеть.

В спальне Эбигейл стояли две тумбочки. Амбир или рококо — не знаю. Но под старину. В одной из них, в верхнем выдвижном ящике лежал дамский четырехствольный пистолет-бульдог. Эбигейл боялась грабителей. Пистолет этот ей купил ее покойный муж, не для того, чтобы она его использовала, а для ее душевного спокойствия.

Я ничего о пистолете в тумбочке не знал. Если бы знал, попытался бы стянуть, чтобы пострелять с приятелями на развалинах кирпичного завода, куда мы часто бегали.

И еще я не знал, что у Эбигейл был любовник.

Эбигейл несколько раз упоминала какого-то Джонни. Говорила: «Вот придет Джонни и починит кран...»

Джонни был мулатом, поэтому его не любили и белые и черные, что негативно отразилось на его характере. Отношения с Эбигейл у него были сложные. И заходил он к ней редко.

Вы, господа, наверное, уже догадались, что произошло. Да, почти так, как вы себе это представили, все и случилось.

Мулат Джонни объявился без обычного телефонного звонка... после полугодового перерыва... в три часа ночи... сюрпризом... пьяный, нанюхавшийся дури и обозленный на весь мир... открыл входную дверь своим ключом, по дороге в спальню скинул с себя одежду и обувь и нырнул в постель своей любовницы, где обнаружил незнакомого ему подростка. Я в это время крепко спал в объятиях неутомимой Эбигейл.

Джонни зарычал и скинул меня с кровати. Как слон белку (такова была пропорция).

Ударил кулаком по лицу несчастную Эбигейл. Та даже не пыталась успокоить Джонни... знала, что это бесполезно... дотянулась до заветного ящика в тумбочке, схватила пистолет, но не успела выстрелить... она хотела выстрелить в потолок. Джонни выбил оружие у нее из рук и начал в ярости душить изменницу.

Тут я и проснулся. На полу в спальне — Эбигейл. Рядом со мной валялся заряженный пистолет. На семейной кровати

обезумевший от ревности Отелло душил мою любовь, у которой уже посинело лицо...

Я схватил пистолет и выстрелил в Джонни. Целил в голову. Но в самый важный момент закрыл глаза от страха. Стрелял вслепую.

Четыре раза.

...

Зажёг торшер. И только теперь разглядел результаты моей пальбы.

И Эбигейл и Джонни были мертвы.

Три пули попали в голову и шею Джонни, а четвертая, шальная — убила Эбигейл. Потом мне сказали, что она влетела в ее раскрытый рот. Как муха.

У меня начались спазмы в горле, я потерял дыхание... повалился на пол... это был нервный припадок, похожий на эпилептический, но без пены изо рта.

Так нас троих и застала полиция.

Ее вызвали соседи, разбуженные криками и выстрелами. Когда меня уводили, я успел разглядеть могучие волосатые пальцы Джонни на пухлой шее Эбигейл и ее вылезшие от ужаса из орбит глаза.

...

Полицейская дама, которая меня расспрашивала в присутствии моей матери, приехавшей из Нью-Йорка, особенно интересовалась характером моих отношений с Эбигейл. У меня хватило ума не раскрывать нашу тайну.

А на часто повторяемый вопрос, что же случилось в спальне, я всегда отвечал так: «Услышал крики двоюродной бабушки и прибежал на помощь. Увидел, что бабушку душит мужчина. Запаниковал. Схватил валявшийся на полу пистолет и выстрелил».

Учитывая обстоятельства, мне поверили и не судили за непредумышленное убийство двух человек. Тем более что Джонни не раз сидел в тюрьме за нанесение тяжких телесных

повреждений... обвинялся он и в убийстве. Но был отпущен за недостаточностью улик.

6

Отрастил усы. Они идут к моей смуглой ухоженной коже. Напялил на себя старые джинсы, ковбойку, кожаный жилет и бежевую шляпу.

На шею повесил галстук Боло с кельтским серебряным «вечным» узлом.

Надел коричневые ботинки на мягкой подошве.

Вылитый гринго.

Мне рекомендовали так одеться мои работодатели. Там, в этом «самом американском городе Мексики», мол, шатается много неудачников из Штатов. Сбежавших от жен, алиментов, долгов, мести обманутых мужей, от судебного преследования...

Да, да. Не выделяться. Это в нашей профессии — главное. Делать свое дело и ничего не демонстрировать, кроме готовности к отпору. А то — заклюют. В кармане у меня лежит складной нож — наваха. С удобной рукояткой и толстым пятидюймовым лезвием из хорошей стали. В случае чего могу побрить обидчику усики. Или палец отрезать.

Никакой охоты делать это, поверьте, у меня нет. Предпочитаю решать бытовые конфликты с местным населением мирно. Но далеко не все зависит от меня.

...

Убивать людей — тоже не доставляет мне никакого удовольствия, но за это хорошо платят. Я не работаю с женщинами и детьми. Не лезу в политику. Не связываюсь с мафией. Никогда не убиваю известных личностей. Не мое дело, ведь я занимаю нижнюю позицию в иерархии наёмных убийц. И это неплохо. На рутину никогда не падает спрос.

Если возможно, использую снайперскую винтовку. Это не так отягчает совесть. Стреляю три раза в голову и грудь.

Тщательно планирую свою работу. Не торопясь, пристреливаю свое оружие, в лесу или в пустыне.

Винтовка обычно ждет меня в разобранном виде на почте. До востребования. Нанимаю какого-нибудь бродягу за пять долларов получить посылку по фальшивой паспортной карте. Наблюдаю за ним издали.

После исполнения заказа оружие и гильзы зарываю в землю.

Деньги мне всегда переводят вперед.

Заказчиков своих я не знаю. Но они знают меня. Присылают мне закодированные электронные письма. Отправляют их из интернетных кафе.

Если я в условленное время не звоню по специальному номеру — значит, я заказ принял и приступил к исполнению. Обратной дороги нет.

...

Границу я пересек пешком. Так надежнее. Доехал до города на автобусе. То еще удовольствие. Кататься в пахнущем выхлопными газами и навозом стеклянном ящике вместе с крестьянами и их курами. Чуть не задохнулся.

Номер взял в гостинице недалеко от дома цели.

На следующий день утром пробежался по той улице. Изображал джоггера. Посмотрел на тот дом.

Синий. Не богатый. Двухэтажный. Ничем не примечательный.

Осмотрел соседние дома на другой стороне улицы. Один из них был недостроен и заброшен. Что может быть лучше? Значит, оттуда и буду стрелять. Из окна, с крыши или из темного угла лоджии на втором этаже.

Ружье мне прислали сносное — чешского производства. С глушителем.

Лучше всего стрелять ночью. Но ночью моя цель спит в спальне, поэтому скорее всего придется стрелять вечером, когда цель подойдет к открытому окну гостиной подышать свежим воздухом.

Надо было и о траектории пули подумать. Тут столько проводов навешено. На всех окнах — металлические решетки. Мешает целиться. Может и пулю от цели отвести.

...

Рядом с входной дверью на стене дома — табличка. На испанском и английском.

Педро Родригес

Маг. Специалист по оккультным проблемам.

Приемные часы: по рабочим дням — с одиннадцати до пяти.

Минимальная плата за час консультаций —
сто американских долларов.

Только наличные.

Оккультным... Меня об этом не предупредили. Моя цель — колдун... Дожил.

Несколько дней наблюдал за домом из комнаты в пустующем доме. Забираться в нее с биноклем на шею, не привлекая к себе внимания соседей и прохожих, — было нелегко.

Раз или два в день к дому подъезжали солидные автомобили, из них выходили хорошо одетые люди и входили в дом. На консультацию к магу...

Записал несколько номеров. Звонил своему знакомому полицейскому в Сан Диего, просил узнать, что это за машины, кто их хозяин. Результат этих исследований мне не понравился. Номера были фальшивыми. Кто-то не хотел, чтобы его узнали. Не люблю тайны.

Все окна на втором этаже были круглые сутки закрыты и вдобавок защищены опущенными металлическими жалюзи. За ними почти ничего не было видно.

Окна на первом этаже — маленькие, это окна кухни, прихожей, кладовки, ванной и туалета. И тут — жалюзи. На другой стороне дома видимо установлены кондиционеры.

По улицам Родригес не ходил. Два раза — утром — выходил из зарешеченной входной двери и садился в свой подержанный форд, паркующийся тут же. Делал это весьма проворно. Я даже разглядеть его не успевал.

Уезжал. Приезжал через час-полтора. Всегда до одиннадцати. Где он был, я не знаю. Возможно консультировал кого-то на дому. Или боролся с привидениями. Мексиканцы страшно суеверны. Брать напрокат машину и выслеживать цель, тут в Мексике, в одиночку, я не хотел. Боялся засветиться.

Квалифицированно заминировать его машину — не мог, это должны делать профессионалы.

Что и где он ел? Каждый день хромая служанка приносила с базара полную корзину продуктов. Фрукты, овощи, творог, рыба, устрицы, креветки. Здоровое питание! Она же видимо исполняла роль поварихи и экономки. И жила в доме.

Живет ли в доме Родригеса старая мама... или маленькие дети от умершей родами жены? Не знаю. Вопрос не праздный. Мне вовсе не хотелось услышать пронзительный крик шестилетней девочки, которая только что стала свидетелем того, как голова ее папы раскололась на куски.

Есть ли у него оружие? Вероятно да, как и у всех мексиканцев.

Чем дольше я наблюдал, тем более трудной представлялась мне моя задача.

По-хорошему тут нужна команда из пяти или больше человек. Как минимум двух головорезов с мачете и трех специалистов, бывших военных. Работать они должны совместно. Выслеживать, минировать, атаковать. И если головорезам не удастся прикончить цель простыми средствами (взломать входную дверь, ворваться в дом и зарубить Родригеса), то это должны сделать профессионалы с армейскими винтовками, взрывчаткой, дистанционными взрывателями, ручными гранатами... Такое убийство должно стоить раз в двадцать больше того, что заказчики перевели мне — пять тысяч долларов.

Придется пойти ва-банк.

Сходить к Родригесу на прием. С навахой в кармане. Устроить кровавую баню.

Хоть это и против моих правил.

Дома подточил лезвие навахи точильным камнем. Чтобы резало бумагу как масло.

...

Позвонил. Входную дверь мне открыла та самая хромая служанка-повариха.

— Что надо?

— Хотел бы проконсультироваться с мистером Родригесом.

— Приходите сегодня в пять. Деньги захватите.

— Спасибо. Приду.

Пришел в пять. Мне долго не открывали.

Затем... Родригес открыл дверь сам.

С виду — это был симпатичный человек европейского вида лет сорока пяти. Не без стали во взгляде. Но общее впечатление — приятный, надежный, умный человек.

— Вы тот американец, который приходил сегодня?

— Да, это я.

— Проходите.

Тут головорез выхватил бы мачете и разрубил хозяину дома голову... а мне полагалось обнять его и нежно перерезать ему горло. Легко сказать...

Вынул из кармана и бесшумно раскрыл наваху.

Обнял Родригеса сзади.

Но пустить ему кровь так и не смог. Струсил.

Даже задрожал от страха. Сам не знаю, почему.

Родригес не сопротивлялся... как будто ждал, когда я закончу... потом обернулся и попросил: «Положите нож тут, в прихожей, на тумбочку. Он вам больше не понадобится».

Я ничего не ответил, но сделал то, что он сказал.

Родригес потрогал лезвие подушечкой большого пальца.

— Ого! Как бритва. Опасная игрушка.

Затем он провел меня по витой железной лестнице на второй этаж, в гостиную.

Гостиная напоминала музей или мастерскую алхимика, столько в ней находилось — стояло на полу, на столах, на полках, висело на стенах — необыкновенных изящных вещиц. Статуи Будды и индийских богинь, китайские божки, старинные изделия из серебра, меди и отлитые из цинка фигурки, кувшины, вазы, африканские маски и копья, кинжалы, сабли,

мумифицированные рептилии и птицы, огромные засушенные насекомые, нефритовые и стеклянные черепа, минералы, старинные пожелтевшие фотографии и карты...

Пахло пряностями и благовониями. Я смутился.

— Садитесь сюда, в кресло. Так вы предпочитаете снайперские винтовки? Похвально, похвально, хотя нож конечно надежнее. Если хватит мужества перерезать живому человеку горло.

Родригес укоризненно посмотрел мне в глаза. Покачал головой. Я почувствовал, что все летит к черту. Сейчас он зовет полицию. Меня уведут и осудят. Сгнию в тюрьме.

И что самое ужасное — даже убежать не могу. Ноги, как свинцовые. Холодный пот. Апатия.

Собрал все оставшиеся силы и проямлил: «О чем это вы?»

— Так, ни о чем. Просто пришло в голову. Сколько вам заплатили? Тысяч пять?

— Как вы узнали?

— Вы не злой человек, мистер... (он назвал мое настоящее имя). Ваши глаза вас выдают. Что, винтовка уже в гостинице?

— Да.

— Ремингтон?

— Что вы? Чешская.

— И на этом сэкономили!

Я сказал правду, потому что окончательно понял — врать бесполезно. Он все знает. Просвечивает меня какими-то лучами. Маг.

— Почему вы дрожите? Для наёмного убийцы это как-то нетипично.

— Потому что я понял, что убить вас не смогу. Это значит — автоматически — следующей целью моих заказчиков буду я. Теперь мне придется скрываться, убегать. Возможно, во время бегства я потеряю все деньги, которые отложил на старость. А для вас, кстати, это тоже не сулит ничего хорошего. Они пришлют команду из самых отвратительных людей,

которых вы только можете себе представить. Они не только убьют вас, но и ваших соседей и вашу служанку и продавцов на рынке, у которых она покупает для вас свежую рыбу. Если будет надо, они сровняют с землей всю вашу улицу.

— Какие злодеи!

— Именно.

— Ну что же, мистер гринго, пойдите в мой кабинет. Там я вам кое-что покажу.

Кабинет мага, выходящий большим окном во двор, поражал спартанской простотой, скромностью. Стол, на нем огромный темно-красный монитор, несколько стульев и два колоссальных книжных шкафа на всю стену, в которых хранились не только книги, но и какие-то ящички, пробирки и колбы.

Торшеры заливали кабинет мягким розоватым светом.

Пахло ладаном.

Маг подвел меня к монитору. Эта штука явно не была монитором компьютера... что это такое? Машина времени? Телепорт? Или простая чертежная доска, на которую он силой мысли мог проектировать свои видения?

Попросил меня положить левую руку на стол, ладонью вниз.

Монитор тут же ожил и показал нам живую картинку.

Необыкновенно солидный мужчина в шикарном костюме с сигарой в руке сидел за дорогим письменным столом в собственном кабинете. Листал журнал мод. Судя по виду из окна, кабинет этот находился на энном этаже небоскреба в Лос-Анжелесе. Я узнал корону башни Банка США.

Вот, в кабинет вошел другой солидный господин и тоже в шикарном костюме.

Костюмы обменялись приветствиями и многозначительными взглядами.

Новый костюм сказал старому: «Кого послали?»

— Нашего ушлепка. Пусть попробует. Я отправил ему письмо неделю назад. Но он что-то тянет. Я послал приглашение и Джонсу.

— Очень хорошо! А если люди Джонса не справятся с заданием, попросим ВВС сбросить на этот паршивый город фосфорные бомбы. Ха-ха-ха...

— Именно так.

...

— Вот посмотрите, это ваши работодатели. Говорят они о вас и обо мне.

— Чем вы им не угодили?

— Это долгая история. Я помог одной из жертв этих пауков вырваться из их финансовой паутины. Они узнали об этом случайно. Кстати, киллеры Джонса и сам Джонс живут в Техасе, недалеко от вас. У него есть собственный самолет. И они собираются лететь на нем сюда. Предвижу, добром это для них не кончится...

— Что же теперь будет?

— А вы сейчас увидите сами. Вот, возьмите это.

Он подал мне мой собственный пистолет Глок. С привинченным к дулу глушителем. Пистолет, который должен был в это время лежать в моей конуре, под матрасом, в шестистах милях отсюда.

— Будьте добры, снимите с предохранителей...

Потом подошел ко мне и крепко обнял меня за плечи. И поцеловал меня в губы.

Не знаю, что произошло, как он все это устроил...

Но уже через мгновение мы стояли в том самом кабинете, где беседовали мои заказчики... рядом с ними. Оба костюма раскрыли рты и уставились на нас расширенными от ужаса зрачками.

...

Я тоже с изумлением посмотрел Родригесу в глаза. А он как-то коротко, властно и яростно кивнул. Как будто беззвучно приказал. И я... да, господа, я как послушный робот выполнил его приказ. Застрелил солидного мужчину с сигарой. Потому что заметил, что его рука тянется к правому ящику письменного стола, где наверняка хранилось оружие.

Пуля попала в серебряный висок и вышла на затылке. Вместе с половиной мозга. Второй костюм как бешеный бросился к выходу. Похоже, спортсмен!

Я два раза выстрелил ему в спину, он упал, захрипел... и я убил его выстрелом в затылок. Вытер оружие и руки носовым платком. Отвинтил глушитель. Положил пистолет и глушитель в разные карманы джинсов.

Родригес все это время смотрел в окно. Так, как будто эти убийства не имели к нему никакого отношения. Затем произнес: «Благодарю вас! Безупречная работа».

Сказал и исчез. Как будто его тут и не было. А я остался.

Дьявол!

В дверь кабинета уже стучала секретарша и вопрошала кокетливо: «Мистер Сименс! Мистер Сименс! Я приготовила для вас и мистера Кларка кофе. Как вы любите — черный с фисташковыми орешками».

Убивать женщину я не хотел.

Содрал когтями с моей первой жертвы пиджак и его белую рубашку, разодрал ее на полосы и обмотал себе ими голову. Так, чтобы получилась маска. Не хватает еще, чтобы меня опознали.

Открыл дверь и грубо обхватил секретаршу руками. Втащил ее в кабинет. Она не сопротивлялась, тарасила на меня глаза и охала. Захлопнул дверь. Как мог быстро всунул секретарше в рот кляп из той же рубашки, замотал ей лицо тканью, связал руки и ноги. Освободил ее нос для дыхания. Перетащил ее подальше от двери.

Затем одолжил у своей второй жертвы немного крови и смазал белую тряпку у себя на лице. Я все еще был роботом, но только не тем, который выполняет приказ, а тем, который действует по одной из вложенных в него заранее программ.

Вышел в коридор.

Мне повезло. Коридор был пуст. Вызвал лифт. Второй раз повезло. В лифте никого не было.

На первом этаже промчался мимо обомлевшего охранника, как вихрь.

Выбежал из здания и понесся по улице как раненая антилопа. Свернул направо. Затем налево. Сорвал с себя окровавленную тряпку и выбросил. Скрепя сердце выбросил и галстук. И носовой платок.

Издали слышал сирену полицейской машины, подъезжающей к зданию, из которого я выбежал. Полицию наверняка вызвал охранник.

Снизил темп, перевел дыхание.

Пошел по Пятой улице, миновал несколько кварталов, потом перешел на Шестую.

В Скид Роу забежал в знакомый магазинчик подержанного барахла и купил себе черные очки, часы, новую зеленую рубашку, джинсовую куртку хиппи и рваный кепи. Толстый чернокожий продавец сидел за кассой, уставившись в маленький телевизор, где показывали какую-то викторину, и принял деньги, даже не посмотрев на меня.

Мою старую рубашку, жилет и шляпу зарыл в куче тряпья.

Среди палаток бездомных нашел ржавый мусорный бак, полный всякой дряни. На дне его плескалась вонючая пестрая жижа. Бросил пистолет в эту жижу.

Когда его там найдут? И найдут ли вообще. А если найдут, вернут одному чайнику в Далласе, у которого его года два назад стащили заезжие пуэрториканцы.

А глушитель выбросил в другой мусорный бак, в полумиле от первого.

Отыскать в этом районе отель было нелегко. Но я помнил, что поближе к реке есть один. Без вывески. Нашел. Снял номер на третьем этаже. Без телевизора. Старый портье бросил на меня понимающий взгляд, вручил мне ключ и даже не попросил расписаться в книге.

...

Сел в ужасное, как будто человеческим салом смазанное кресло и попытался успокоить нервы. Не тут то было.

Перелетел из Мексики в Штаты. Как?

Прикончил своих работодателей. Зачем?

А цель упустил. Струсил. Позволил собой манипулировать.

Если так и дальше пойдет...

Сбрил усы и побрился одноразовой безопасной бритвой, которую нашел в ванной комнате под треснувшим зеркалом.

Раздавил ногами двух любопытных тараканов, выбежавших из-под плинтуса посмотреть на нового постояльца.

Принял холодный душ.

Выпил крохотную бутылочку виски.

Лег в постель и заснул как убитый.

На следующий день услышал по радио, что ранним утром по пути из Далласа в Монтеррей разбился частный самолет. Очевидцы говорили: «Упал с неба. Как огненный шар».

Два члена экипажа и восемь пассажиров сгорели заживо. Спасатели нашли на месте крушения целый арсенал современного стрелкового оружия, взрывчатку и гранатомет. Ведется следствие.

Похоже, это и была группа Джонса. И Родригес знал заранее, что с ней случится. Как это возможно?

Начал размышлять. Загибал пальцы, ухмылялся и хмурился.

С одной стороны — заказчики мертвы. Это не так уж плохо. Потому что это единственные на свете люди, которые знали мое настоящее имя и мою профессию. Все остальные умерли. Еще лучше — то, что и люди Джонса — покойники. Скорее всего, они должны были разделаться с Родригесом, а затем и со мной.

С другой стороны — проклятый колдун жив, он знает, кто я, и он способен на все.

Один раз он уже заставил меня убить двух человек, может быть, ему захочется воспользоваться моими услугами еще раз. Такой человек, как он, имеет много врагов.

Перенесет меня, как вчера, — в Австралию или в Китай. Загипнотизирует. Я пристрелю его врагов, а он меня опять бросит. Тут, в Городе Ангелов, я хотя бы ориентируюсь. А что, если это будет Рио или Оттава?

И ведь не скроешься от него! Во время моего бегства из небоскреба мне казалось, что на меня смотрят его всевидящие глаза. Сквозь дома, сквозь асфальт, с неба.

...

В дверь постучали.

— Откройте, полиция!

В номер ввалились трое полицейских. Ощупали меня, скрутили и положили связанного на пол. Несколько раз ударили ногой в живот. Обыскали мою комнату, ничего естественно не нашли.

Через двадцать минут я уже сидел на откидывающейся койке в одиночной камере. Без окна, но с умывальником и маленьким металлическим унитазом в углу.

Позвонить адвокату мне не позволили. Да и нет у меня адвоката. И звонить некому.

— Вы официально не задержаны.

— Тогда отпустите.

— Потерпите. Мы должны провести с вами очную ставку и побеседовать. И еще с вами хочет познакомиться один очень важный человек со стороны. Советую вести себя с ним прилично и говорить правду.

— Ладно, валяйте.

...

Ко мне в камеру вошел мужчина лет сорока, с залысынами, в свободных брюках цвета хаки, такого же цвета рубашке с галстуком и в дорогих зеленых кроссовках. Сел на тюремный стул и положил ногу на ногу.

Не представился. Молчал и долго смотрел на меня.

— Вы... тот?

— Что вы имеете в виду?

— Да, вы тот самый тип, который...

— Я ни в чем не виноват.

— Только не надо отпираться, мистер... Я уверен, это вы застрелили Сименса и Кларка. Он заставил вас совершить это преступление. Не так ли?

— Так.

— Он тоже был там, в кабинете?

— Да.

— И пока вы работали, он вел себя так, как будто это его не касается? Рассматривал какую-нибудь безделушку, листал журнал, напевал что-то про себя?

— Он молча смотрел в окно.

— Типично... А за минуту до этого и вы и он находились в его зеленом доме в Монтеррейе? По крайней мере, вы так думали.

— Да. В синем. В синем доме в Монтеррейе...

— Хм... А потом вы, непонятно как, перенеслись оттуда в здание инвестбанка в Даунтауне Лос-Анжелеса? На тридцать четвертый этаж.

— Да.

— Фантастика! Полиция вам конечно не поверит. Никто не поверит, кроме меня. Советую вам молчать. Они задержали человек сто или больше. Всех тут, в округе, кто не успел смыться и хоть немного походил под описания преступника, данные секретаршей и охранником. На вас у них ничего нет... У вас даже усов нет.

Сказав это, он усмехнулся.

— Их якобы заметила секретарша. Скорее всего — вас отпустят сегодня вечером. Тут за углом, на Шестой улице вас будет ждать джип темновишневого цвета. Садитесь в него, вас отвезут ко мне. Если вы это не сделаете... у вас нет шансов.

...

Собеседник мой покинул камеру.

Допрашивали меня полицейские после его ухода вяло. После очной ставки с заметно осовевшими секретаршей и охранником, на которой они меня не опознали, полицейские вернули мне мою паспортную карту, гримасничая и чуть не плюясь. Знали, что она поддельная. Но почему-то не хотели меня за нее наказывать. Просто вытолкнули на улицу.

Ко мне тут же подскочила миловидная темнокожая бездомная. Схватила меня за руку и пробормотала: «Пойдем, пойдем, милый братец, тебя ждут».

Черные ее глаза не были сонными, тупыми, ко всему миру безразличными, как у тутошних обитателей. Они горели и жили своей прекрасной жизнью.

Я знал, что она тащит меня к джипу.

Страшно хотелось вырвать мою руку из ее цепкой лапы и улизнуть.

Спрятался бы тут где-нибудь, а ночью — угнал бы машину в другом районе и уехал. Добрался бы потихоньку до одного тайного местечка в Техасе. Нашел бы спрятанное на берегу реки каноэ. И приплыл бы на нем на отдаленный островок. Там есть домик. Который построил Джек. В домике есть все: припасы, керосин, оружие, радио... Пожил бы там годик. Ловил бы рыбу.

Затем вспомнил про глаза Родригеса. Представил себе его лицо. Лицо это почему-то насмешливо улыбалось. Мол, попробуй, убегу в свой домик на острове. Буду тебя там ждать, гринго.

Прошел вместе с моей провожатой к джипу. Прилег на заднее сидение. За руль села моя черноглазая дама. Деловито включила зажигание...

Ехали мы дольше, чем я ожидал. По дороге задремал и отключился.

А проснулся не на сидении автомобиля, а на широкой кровати, в небольшой уютной комнате с вентилятором на потолке... Лопасты его приятно шуршали. Рядом со мной лежала девушка-шофер. Она спала. Ее шоколадная кожа пахла розами.

За окном зеленел небольшой садик. Мне страстно захотелось съесть большое спелое яблоко.

7

В доме с садиком я живу уже больше двух недель.

Вместе с черноглазой, пахнущей розами девушкой, которую, как оказалось, зовут Николь. Настоящее ли это имя или нет, я не знаю, мне все равно.

Хозяин дома, тот самый господин в свободных брюках цвета хаки, вопреки собственному обещанию, так тут и не объявился. Я стараюсь об этом не думать, ни о чем не думать, только жить. Каждый день ем яблоки.

Николь делает для меня все, что может. Спит со мной, готовит, убирается. Я ей не мешаю, подстригаю траву на небольшом газоне, покрасил как Том Сойер невысокий забор. Заменял несколько черепиц на крыше, почистил колодец, починил насос...

Иногда я пытаюсь разговорить мою новую сожительницу, но она не разговорчива. Чаще всего молчит. А если говорит, то скупно, осторожно. Смотрит на нашей домашней видеосистеме только комедии. Смеется и плачет. Телевизор мы не смотрим, радио не слушаем. Компьютер старый, интернет — очень медленный. Зато есть прекрасный проигрыватель и штук пятьсот пластинок к нему. От Баха до Бенни Гудмена.

Подолгу гуляю один.

Несколько раз предлагал Николь пройтись, но она всякий раз находила причину для отказа. Перед тем, как я отправился на прогулку в первый раз, она взяла лист бумаги и нарисовала домик. Карандашом. Как рисуют дети. И забор вокруг него. Потом нарисовала, как умела, озеро, луг, лес... А затем, нарисовала огромную стену, окружающую все это. Я понял, что она рисует карту. Карту окрестностей. Ворот у стены не было. За стеной она изобразила несколько странных существ, не похожих ни на людей, ни на волков.

Николь пояснила: «Это наше поместье. Тут достаточно земли, чтобы вволю нагуляться. Восемь или десять квадратных миль. Но через стену прошу тебя не перелезть. Там колючая проволока под током и что-то еще... Умоляю тебя, не лезь... с другой стороны плохо».

— Значит я тут заключенный?

— Нет, нет, что ты. Все тут — и дом, и я, и сад, и деревья, и тишина и одиночество — для твоего блага, для того, чтобы ты мог насладиться покоем, отвлечься от прошлой жизни. Воспринимай жизнь тут — как оздоровительный курс. Без медицинских гадостей. Лечение природой и любовью. Погоди, скоро придет мистер Кинг и все тебе объяснит.

— Как же он заедет в поместье, если у стены даже ворот нет?

— Он прилетит на вертолете, мы тоже так сюда прилетели. Если бы у нас кончились мясо и мука, или ты или я заболели бы, я бы вызвала вертолет по спутниковому телефону. Он был бы тут через двадцать пять минут.

— Хорошо. Обещаю не лезть на стену. Но ты должна мне сказать, где мы.

— Мы в Америке, это главное. Подожди мистера Кинга, он все тебе расскажет. Я обещала ему не болтать. Прошу тебя, не спрашивай меня ни о чем. Так легче. И тебе и мне. Просто отдыхай. Поплавай в озере, там вода чистая. Поищи малину, собери грибы, вырежи что-нибудь из дерева. Только не терзай себя. И меня.

— Ладно. Последний вопрос. Что это ты нарисовала? Тут, за стеной? Это что, снежные человеки, бигфуты или инопланетяне?

В ответ Николь не проронила ни слова, а ушла куда-то и вернулась с толстым ластиком. Не спеша, стерла эти непонятные фигурки со своей карты. И пошла готовить обед.

...

Я внял ее совету. Набрал после дождика целую корзину диких шампиньонов. Попросил Николь их поджарить, но она скорчила брезгливую мину и выбросила мою добычу в помойное ведро.

— Я не уверена, что эти грибы съедобны. Они как-то не так выглядят.

Я не обиделся. И что странно, посмотрел на мои шампиньоны еще раз — они действительно были похожи на мухоморы. Как же я это не заметил раньше?

Нашел малиновые кусты за березовой рощей. Крупные ягоды прыскали во рту соком. Но в некоторых из них сидели червяки. Жуткие, с синими крючками на коже.

Вода в озере была чистая и теплая. В ней росли лилии. Ненормальное озеро, точно геометрически круглое. Ярдов восемьдесят в диаметре. Как будто космический великан вырезал его в земле огромным ножом.

И еще — оно было необыкновенно глубоким.

Я с детства умел и любил нырять. Мог спокойно достичь глубины в двадцать ярдов.

Нырять, нырять в нашем круглом озере, но дна так и не увидел. Вместо дна подо мной темнел жутковатый провал, в глубине которого мелькали огромные темно-синие тени. Оптическая иллюзия?

Спросил об озере Николь.

— Ради бога, не ныряй глубоко. Жившие тут раньше индейцы верили в то, что озеро это — заполненный водой вертикальный туннель в ад, прорытый исполинским кротом, их предком. Что где-то там, в глубине живут бобры размером с гризли, которые воруют девушек на суше и тащит их в свои подводные жилища.

— Поэтому кроме тебя на этих десяти квадратных милях нет больше ни одной женщины? Всех забрали бобры?

— Мужчин тоже нет. Кроме тебя. И так — лучше, поверь.

— А как же мистер Кинг? Он что, никогда тут не живет?

— Ты так говоришь о нем... без уважения... Он спас меня. Я уже погибала. Продавала себя, чтобы достать деньги на героин. Перестала заботиться о своем теле. Жила жизнью бездомной собаки в Сан-Франциско. Он вытащил меня из клоаки, вылечил и сделал человеком, вернул мне радость жизни и достоинство.

Черные глаза Николь сверкнули.

— Так он, что, врач-филантроп? Психодоктор? Это многое бы объяснило. Но что ему в этом случае нужно от меня? Я вроде не болен. Только профессия у меня не легкая.

— Подожди, все прояснится.

...

Доходил я и до стены.

Стена? Нет, скорее бетонный забор высотой ярдов в шесть-семь.

На расстоянии до сорока ярдов от забора все деревья были аккуратно спилены. Так что забраться на дерево и перелезть через забор было невозможно.

Любопытство заставило меня залезть на высокий дуб, росший неподалеку, и посмотреть на то, что там, за стеной. Может и правда, бигфуты...

Ничего загадочного там не было. Такой же лес, насколько хватало глаз... никакой цивилизации. На горизонте посверкивали снежные вершины гор.

Только далеко-далеко от нас, в сизоватом небе круглилось и мерцало нечто похожее на дирижабль или воздушный шар. Может быть, в эти дикие места занесло ветрами какую-то надувную рекламу — нового пива или кока-колы...

Довольно скоро я убедился в том, что внутри ограниченного забором пространства живут разные звери и птицы.

На полянке паслось стадо длинношеих оленей с огромными глазами и маленькими рожками. Один из них подошел ко мне и ткнулся мордой в живот. Кто-то его приручил. Я погладил ему шею. И сразу заметил под шерстью черных клещей. Отдернул руку...

В лесу я не раз наталкивался на зайцев, невольно спугнул несколько белок в чаще, однажды заметил проشمыгнувшую мимо меня лису на высоких лапах с очаровательным хвостом.

Не раз наблюдал за небесными маневрами стаи скворцов или каких-то других черных птиц. Завораживающее зрелище!

Видел дятлов, диких лесных голубей и ласточек. Слышал кукушку. Один раз надо мной медленно пролетел белоголовый орел. Погрозил ему кулаком. Он даже не посмотрел на меня.

Видел фазана. Удивительная птица. Поначалу принял его за павлина.

Вечерами я брал хвойные ванны. Иногда ко мне в ванну залезла Николь, и мы шалили и брызгались, а затем целовались. В пене.

По ночам я слышал доносившийся откуда-то вой койотов или волков. И еще какие-то, непонятные мне звуки. Ветряная мельница гигантов? Паровой молот? Шаги командора?

...

Ничто не омрачало нашу курортную жизнь в этом лесном поместье. За высоким забором без ворот.

Время шло, вот уже на деревьях стали появляться желтые и красные листья, а по ночам лил холодный дождь. Ночью я замерз. Николь достала откуда-то теплое верблюжье одеяло шириной в кадиллак. Мы начали топить печь.

Два раза прилетал вертолет и три чернокожих гиганта в желтой униформе носили к нам в кладовую тяжелые тюки с продуктами, газовые баллоны, минеральную воду, молоко и консервы. Алкоголя у нас не было...

Я смотрел на вертолет и мне не хотелось улететь на нем. Может быть, первый раз в жизни я не хотел убежать, убежать от самого себя, от своей жизни.

Николь была со мной ласкова, но я чувствовал, что той, заветной, черты я в ней достигнуть не смогу. И что если завтра прилетит мистер Кинг, и заберет меня, а под опекой Николь оставит нового пациента, она даже не заплачет. А может быть и не заметит перемены. Это не печалило меня, наоборот. Мне страшно не хотелось того, чтобы моя добрая подруга страдала.

И вот... вертолет прилетел в третий раз.

Из него бодро выпрыгнул человек в свободных брюках цвета хаки. Приветливо помахал нам рукой и прошел в дом.

...

За обедом мы с Николь молчали, а мистер Кинг говорил без умолку. Смеялся своим собственным шуткам. Говорил о чем угодно, только не о наших делах. Рассказывал, например, о сек-

суальных скандалах в Пентагоне, об эпидемии, уничтожившей поголовье пекари на юге Бразилии, о том, как арестовали художника, вскрывшего себе в экстазе вены на живописном холсте, о том, как чуть не началась, из-за ошибки компьютера, атомная война с русскими, как известный канатоходец прошел по канату между башнями Всемирного Торгового Центра, как провалился в прокате последний фильм Коппола...

После обеда мистер Кинг устроил маленькое совещание с Николь. Я на нем не присутствовал. После совещания очередь наконец дошла и до меня. Кинг предложил мне пройтись по «осеннему лесу». Мы вышли из дома и пошли по направлению к озеру.

Первые десять минут Кинг молчал, я предполагал, что он обдумывает, с какой стороны лучше подойти ко мне. Решил облегчить ему задачу и раскрыть карты.

— Дорогой Тони (так он попросил называть себя за обедом), я очень благодарен тебе за этот чудесный отпуск. За дом, за озеро, за лес, за Николь. За свежий воздух и свободу, разумно ограниченную стеной. Я чувствую себя тебе обязанным и готов помочь. Даже если это связано со смертельным риском.

— Спасибо. Твое пребывание здесь мне почти ничего не стоило. Кто-то должен был жить здесь... заботиться о доме и о саде... это не мелочь. Я очень люблю это скромное поместье... Оставить тут Николь одну... Ты немножко помог ей, она помогла тебе. Мы квиты. К тому же, для того, чтобы помочь мне, ты должен был физически окрепнуть. Да, я хочу прикончить Родригеса и для этого мне нужен ты. Но дело обстоит не так просто, как ты это себе представляешь. Даже не знаю, как это тебе объяснить...

— Может быть, тебе стоит просто сказать мне сейчас — без обиняков — что я должен сделать. Я ведь не мальчик, Тони, у меня руки по локоть в крови. Убивать людей — моя профессия.

— Ну что же, тогда пора открыть карты и мне. Для начала, попрошу тебя ответить на несколько вопросов.

— Если это нужно...

— Это нужно тебе. Скажи мне, кто твои отец и мать? Где прошло твое детство?

...

Вопросы эти застали меня врасплох. Сколько я ни напрягался, так и не смог вспомнить имен своих родителей и где прошло мое детство. Что со мной не так?

Тони, похоже, прочитал мои мысли.

— С тобой все не так, мой дорогой. Но, все по порядку. Давай продолжим. В какой ты учился школе? Посещал ли колледж? В каком городе жил до того, как стал профессиональным киллером?

— Ничего не помню. Помню мою жизнь, начиная с первого убийства.

— Замечательно. Давай поговорим о нем, о твоём первом деле. Расскажи о нем. Кратко.

— Кратко не получится, но попробую. Я познакомился с одним отзывчивым человеком. В стриптиз-баре на выходе из Чайнатауна. Кажется, в «Гонконге». Мы выпили, разговорились. Он сказал, что у него есть работа для меня. А я тогда жил в гостинице недалеко от Аквариума в Сан-Франциско. Мне деньги были позарез нужны. Он дал мне три тысячи долларов, пистолет с глушителем и фотографию одного типа. Показал на карте, где он живет. Объяснил, что мне надо прийти к нему, постучать и, когда тот приоткроет дверь, выстрелить, а потом обязательно сделать контрольный выстрел в голову. Так я и поступил. В тот же вечер. И — счастье новичка — все прошло именно так, как говорил этот человек в баре. Никто меня не заметил, я ушел пешком с места преступления, дал кругалю и вернулся в бар. Рассказал все заказчику убийства. Отдал ему пистолет и фотографию. А через месяц получил от него новый заказ. Лет через семь его застрелили. Но у меня уже были новые работодатели.

— Как это мило... гладко... пожалуй, слишком гладко.

— Я же говорю — счастье новичка.

— Не совсем.

Мистер Кинг начал меня раздражать. Почему он мне не верит? Во мне поднялась волна гнева. За все время моего пребывания в поместье я ни разу ни на кого не разозлился. А тут... Правда, мне и сердиться было не на кого. Николь вела себя со мной как ангел. Не на оленей же мне было злиться и не на фазана.

Неожиданно я увидел перед собой лицо колдуна Родригеса. На сей раз он не улыбался... а наклонился к моему уху и прошептал: «Убей его. Он специально хочет запутать тебя. Он хочет погубить тебя. Убей! Убей!»

Я испытал стыд. Как мог себя успокоил.

— Что еще?

— Не спеши. И не сердись.

— Я и не сержусь.

— Нет, сердисься. Так вот. Попытайся вспомнить, как звали твою первую жертву. Кем он был.

— Не помню.

— Его звали Эндрю Хилл, и он был твоим тестем. Добропорядочным гражданином. Играл на банджо.

— Как же он мог быть моим тестем, если я и женат не был?

Волна раздражения опять поднялась во мне.

— Нет, ты был женат, и жену твою звали Кэнди, а тещу — Рут. И убил ты тогда не одного человека, а трех. И жену и тещу и тестя. Даже четырех, потому что твоя жена была беременна. И случилось это не в США, а в Канаде, в предместье Монреаля. Тебе удалось скрыться. Ты убежал в Мексику и жил там почти восемь лет.

— Все это вранье! Я не был женат и не убивал свою семью. Зачем ты внушаешь мне эту ложь? Хочешь, чтобы я закончил с собой?

Руки у меня тряслись, изо рта выступила пена... Я был взбешен, как медведь в клетке, которого дразнят прохожие.

Тыкают длинными палками с гвоздями ему в бока. Еле-еле сдерживал себя.

Тони не был слепым. Он все видел и чувствовал. И знал, что делал.

— Вроде того. Рассказать тебе, что ты делал в Мексике?

— Расскажи, расскажи, всезнайка. Посмотрим, что ты придумаешь на этот раз.

— Хорошо. Слушай. В Мексике ты присоединился к банде отпетых мерзавцев. Четыре года ты убивал, пытал, грабил и насиловал вместе с остальными. За твою голову назначили вознаграждение, но тебе везло, тебя так и не поймали. Вас предали и заманили в ловушку. В неравном бою с полицией погибли все члены банды, кроме главаря и тебя. Тебя только легко ранили, но ты живуч как кошка. У главаря были отложены деньги. Он купил дом в районе, где жили люди, принадлежащие к богатому среднему классу. В городе Монтеррей. Обставил его по своему вкусу и через два года открыл в нем бюро специалиста по оккультным проблемам. Но ни магом, ни колдуном он не стал. И с привидениями не боролся. Он был посредником. Организовывал убийства граждан, имевших несчастье задолжать кому-то деньги или не понравиться, или просто мешать наркобарону. А ты был его правой рукой. Звали этого человека Педро Родригес. Сами вы не убивали, наемных киллеров в Мексике и без вас более чем достаточно. После того, как вы разбогатели, вы оба после небольших хирургических операций получили другие лица, опасаться вам стало нечего, кровавый бизнес приносил постоянный доход. Казалось бы, что тебе еще нужно? Ты избежал наказания за убийство семьи, ты безнаказанно убивал и грабил четыре года, а нынче заделался богачом. Нет, всего этого тебе было мало. Ты захотел занять мечь шефа. И ты убил Родригеса, хладнокровно зарубил его мачете. В его доме. После ужина. Изрубил тело на куски и скормил их свиньям. А затем... и это самое интересное и загадочное в этой истории... ты, сам того не осознавая, стал Педро Родригесом. Что только ни делает с нами наше больное подсознание, в какие безумные игры ни втяги-

вает. Ты был одним человеком — а стал двумя. «Честным и добрым» киллером, не убивающим женщин и детей... И зловещим магом и колдуном, гипнотизирующим и заставляющим убивать других. Возможно, ты всегда мечтал стать кем-то подобным, но жизнь мешала тебе. Тебе пришлось забыть свое прошлое... ты придумал для себя две новые судьбы. Одну из них твое подсознание разработало сравнительно хорошо, вот только детство и юность забыло придумать, другую — только наметило контурно.

...

Не хочу даже пытаться описать то, что происходило во мне во время этого монолога Тони. Это было похоже на Большой взрыв, породивший нашу вселенную, и на Коллапс, собравший в конце времен ее обратно в точку.

Тем временем мы подошли к озеру. Вода его казалась черной как чернила.

Черный бездонный туннель, не ведущий никуда.

Гнев мой исчез. Я как будто проглотил его. Лицо Родригеса больше не появлялось перед глазами. Я чувствовал себя усталым, выжатым, бессильным, разрезанным на куски. Куски эти вряд ли удастся склеить. Да и зачем? Я знал, что Тони прав.

— Скажи мне, чего же ты хочешь.

— Я думал, ты уже понял это. Я хочу убить в тебе Родригеса... и оставить в живых доброго киллера, который больше не будет убивать.

Сказав это, Тони вынул из кармана небольшой пистолет, приставил мне к левому виску и выстрелил.

Я упал в озеро, в его темные воды, и пошел на дно. Смерть оказалась не такой страшной, какой я ее себе представлял.

8

Ничего не понимаю. Зачем я поперся в лес и в озеро прыгнул?

Как был, в одежде и ботинках. Осенью.

Чуть не утонул. Вот же напасть...

Еле вылез, дрожал. Что это было? Припадок сумасшествия? Суицид?

Снял с себя мокрые тряпки, выжал их и опять напялил.

Холодно. Ветер дует. Лес трещит.

Куда идти — не знаю. Хорошо еще зажигалка в кармане жилета нашлась. Развел костер, прислонился спиной к стволу дерева, согрелся.

Потом, пока не стемнело, начал следы искать. Мои следы. Ботинки у меня тяжелые, рифленые. Узор на них ясный. Ромбический. Нашел следы на берегу озера. Потому что глина там на поверхность выходит.

Только мои следы. Значит, был я тут один, не толкал меня никто.

Висок левый почему-то ныл. Потер кожу, понюхал, порохом пахнет. Если нажмешь, больно. Но дырки нет.

Соединил мысленно центр озера со своими следами и продолжил эту линию до горизонта и выше. Заметил характерное облако, пошел на него. Авось приду туда, откуда пришел. Брел, брел...

И на домик с садиком наткнулся. Яблони, огород, теплицы.

Нашел калитку... вот и входная дверь. Постучал, что еще делать-то?

Толкнул дверь. Открылась. Не заперто.

Прихожая скромная. Дверь на кухню. Кухня пустая.

— Халло! Есть тут кто-нибудь?

Никто мне не ответил.

Еще одна комната. Большая. Наверное, гостиная.

Тааак...

На полу лежали два трупа. Мужчина в брюках цвета хаки и миловидная темнокожая девушка.

Девушка голая и босая, мужчина тоже босой, но голый только до пояса. У обоих пулевые отверстия на груди и по дырке в голове. Похоже, они занимались любовью, когда в гостиную стремительно вошел убийца... и сразу начал палить. Вна-

чале он стрелял жертвам в грудь, потом, для контроля, выстрелил и в головы.

Похоже... это я их убил. Мой почерк. А вот и след ботинка. Ромбы.

А где оружие? На столе лежит. Глок 19 с глушителем. Любимая модель. Вынул магазин. Шесть патронов отсутствуют. Все правильно, два раза в грудь, один раз в голову. Так я обычно и стреляю. Но, почему я не помню это убийство? Кто эти люди? Где мы?

Голова не работала, шок после осеннего купания еще не прошел. А тут еще эти трупы...

Голова не работала, а кровь горела, так хороша была темнокожая красавица.

Расстегнул и приспустил штаны, лег на мертвую девушку.

Через две минуты кончил. Как локомотив летел, задохнулся даже. Вот же сладость!

...

Теперь вместо вожделения пришел страх.

Знакомое лицо повисло надо мной... голос бил молотком в висок: «Ты что же это делаешь, идиот, извращенец? Мало того, что загубил молодую жизнь, еще и надругался? И генетический след оставил, кретин... беги, беги отсюда...»

Но бежать-то я и не мог. Надо было дело до конца довести.

Пошел искать бензин. Нашел, в кладовой рядом с кухней. Две канистры.

Все, что можно — и на первом и на втором этаже — облил бензином, особенно много на большую уютную софу в гостиной вылил. Перетащил трупы на софу. Закрыв им глаза, перекрестился. Вышел из дома и все его стены по периметру тоже облил. Отходя от дома, делал бензиновую дорожку.

Зажег ее зажигалкой.

Пламя побежало как спринтер. Дом запылал, а затем еще и взлетел на воздух. Видимо, баллоны с пропаном взорвались.

Стоял метрах в пятидесяти, смотрел как очарованный на огонь.

Не слышал из-за шума и треска пожара рева садящегося вертолета.

Понял все, только когда люди Джонса окружили меня и начали, гнусно гогоча, избивать прикладами своих М16.

После того, как они выбили мне все зубы и сломали половину костей, ко мне подошел сам Джонс, вставил мне в окровавленный рот восьмидюймовое дуло своего Магнума, прошептал: «До скорой встречи в аду, Гарри».

И нажал на курок.

В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Анна, Лидочка и Джим

В эмиграции с человеком происходит много странного, загадочного, труднообъяснимого.

Одной из таких загадок является способность и склонность эмигранта время от времени «узнавать» в чужих людях... в прохожих, в коллегах по работе, соседях или в покупателях в супермаркете... даже в некоторых голливудских актерах... бывших своих знакомых или близких людей из доэмиграционного мира.

Происходит это «узнавание» не так уж часто, но иллюзия сходства, иллюзия присутствия того человека из того времени — здесь и сейчас — невероятно сильна. И деструктивна.

Сбивает с толку, переворачивает все вверх дном.

Потому что ты видишь в американской толпе своего старого приятеля, а здравый смысл вопит в твоих мозгах — это не Володя, ему сейчас должно быть уже за восемьдесят, а этому человеку, который так фатально на него похож — не только внешностью, но и походкой и ухмылкой — явно не больше сорока... Почему же он, прежде чем исчезнуть в пасти подземки дружески кивает тебе?

Ты натыкаешься в лифте на горничную в гостинице во Франкфурте и вдруг... узнаешь в ней одну из твоих стародавних пицундских подруг, Танечку... Но эта девушка в накрахмаленном белом фартуке никак не может быть Танечкой. Танечка старше тебя на два года, значит ей сейчас 67, а этой крошке не больше девятнадцати. Но она смотрит на тебя также ласково-иронично, как когда-то смотрела Танечка и голос ее веселый также звучит... и эти глаза, незабываемые, зеленые с коричневыми пятнышками, и эти веснушки, и этот запах яблока...

Если ты увидел на улице Берлина или Парижа такого фантомного «володю» или такую невозможную «танечку» — самое худшее, что ты можешь сделать, это побежать за ним... за ней... догнать, взять за руку, попытаться заговорить, задавать вопросы... или, не дай Бог, начать что-то рассказывать.

Тогда ты испытаешь онтологическое унижение, ангелы рассмеются, карточный домик рассыпется. Синие птицы разлетятся.

И твой долгим, мучительным трудом построенный воздушный замок существования, убежище для души, со всеми его призрачными обитателями, стенами с башенками, светлыми покоем, поэтическими закоулками, висячими садами и прочими золотыми рыбками — в один момент разрушится.

От него останется только труха. И ты окажешься там, где ты когда-то начал свой новый путь — на безлюдном пустыре, поросшем полынью, один, нагой и беззащитный.

А в голову против воли полезут воспоминания, от которых ничто не сможет тебя защитить.

* * *

Я встретил Джима в Нью-Йорке, в Гринвич-Виллидже, недалеко от дома, где жил Бродский на Мортонстрит. Он явно спешил. Шел в сторону Гудзона. Что ему там понадобилось? Купил пароход и задумал перепродать?

Элегантный, самоуверенный, деловой человек.

Я даже не попытался его догнать. Боялся, что он исчезнет, как только я дотронусь до него рукой.

Тот самый Джим... Уму непостижимо.

Как его на самом деле звали, я не знал даже в то время, когда раз в четыре дня, на пересменках, встречался с ним по долгу службы в нашем «Центральном складе типографских машин» в районе Белорусского вокзала, где я тогда работал сторожем «чтобы не прервался стаж».

Во время нашей первой встречи он представился:

— Джим. Так меня все зовут... Покойная мама так меня называла, потому что мне очень нравился в детстве темнокожий друг Гекльберри Финна. Я вылепил его фигурку из пластилина, выучил наизусть его монологи и декламировал их взрослым. Все смеялись. — Джим помолчал немного и добавил: — Не хочу, чтобы ты узнал от других... я только неделю как освободился. Отсидел два года за «спекуляцию валютой». Засадили за двадцать долларов в кармане, суки. Устроился сюда, потому что нужна справка о работе. А-то опять посадят... как тунеядца. Да, кстати, ты не знаешь, где тут телефонная будка?

Ну что же, Джим, так Джим. Сидел, не сидел... Не все ли мне равно? Я с ним крестить детей не собирался.

— Будка за углом. Вон там. А откуда у тебя доллары?

— Откуда, откуда, от верблюда. Дядя провез несколько сотен. Он еще в семьдесят четвертом уехал. Устроился неплохо. У одного из наших работает. В Бостоне. Шоферит для него. Бабу его возит туда-сюда. Капусту привез в подарок... но видать кто-то настучал. Может с самой таможни пасли. Посмотреть хотели, для кого валюта... Меня прямо на выходе из гостиницы «Украина» схватили. Руки завернули. И сразу начали шмонать. Двадцатку мою нашли, а сотню для матери, в потайном кармане, нет. На киче отобрали и сотню. Вот суки, ни себе, ни людям. Ладно, доживем до понедельника, брат...

— Надеюсь. Только вот, будет ли лучше... в понедельник.

— Слушай, а там, в подвалах, и впрямь типографские машины?

— Не знаю. Никто не знает. Нам туда заходить воспрещается, мы только двери, окна и замки проверяем. Может быть, там бомбоубежище на случай атомной войны... или большевистское вундерваффе спрятано... или золото партии... не бери в голову.

Джим был высоким, худым, немного сутулым, слегка флегматичным, ярко выраженным евреем лет тридцати. Его заветная мечта не отличалась оригинальностью.

— Ты знаешь, больше всего на свете хочу уехать навсегда из проклятого Совка и поселиться в Нью-Йорке. Буду играть на бирже, заработаю кучу денег и стану жить по-королевски. Так и будет, обязательно. И когда-нибудь, Антоша, мы встретимся с тобой на Бродвее, и я посажу тебя в мой шикарный кадиллак и повезу обедать в лучший ресторан Нью-Йорка.

— Дураки мы с тобой. Раньше надо было лиять, а не ва-режку разевать понапрасну. Проболтали наше время. А теперь...

— Раньше никак. Мать не мог одну оставить.

— Понимаю. А я не хотел бросать молодую красивую жену, мы только поженились. Она бы ни за что не уехала. Патриотка...

— Нашел бы себе в Штатах новую жену. Ты парень видный.

— Я эту любил. Все равно развелись. Цапались, цапались...

— Потому и не женюсь. Гиблое дело.

Разговор этот состоялся осенью 1983 года в Москве, в разгар андроповщины, через несколько недель после того, как советские сбили южнокорейский пассажирский самолет недалеко от Сахалина. Холодная война бушевала вовсю. Эмиграция из СССР прекратилась, а о том, что через несколько лет наступит перестройка с ее послаблениями и надеждами, и каждый желающий, имеющий достаточно мужества и решимости, сможет покинуть осточертевшую всем нам «социалистическую родину», никто и мечтать не мог.

Наоборот, все думали, что после периода «гонок на лафетах», к власти в Кремле придет какой-нибудь новый, молодой, энергичный, и закрутит гайки так, что мы поганое брежневское время будем вспоминать как райские кущи. А об эмиграции можно будет забыть навсегда.

Сейчас, вспоминая это казавшееся бесконечным недосуществование последних советских лет, я прихожу к выводу, что мы не так уж сильно и ошибались в наших прогнозах. Тоталитарный СССР развалился, туда и дорога. Зато появилась «новая Россия», которая, поколебавшись, обрела равновесие и уверенность в себе не как обычная демократическая страна, а как «гибридная» диктатура. Опять, двадцать пять.

И «новый, молодой» — пришел-таки к власти, только позже, и даже успел состариться на посту. И гайки закрутил...

Старожилом на складе почиталась Анна, женщина лет на двадцать пять старше Джима... пергидролевая блондинка с высокой грудью, похожей на сопки Манчжурии, с круглым грубым лицом и широкой задницей... почти всегда одетая в какой-то немыслимый неопределенного цвета костюм эпохи Ягоды. Она смотрела на всех двуногих, а в особенности на мужскую половину человечества недоверчиво, насупленно, зло... мол, я знаю, чего вы хотите, но со мной этот номер не пройдет.

Чтобы сразу разрядить обстановку, я сказал Анне в первую же нашу совместную смену: «Прошу вас, не рассматривать меня как искателя ваших прелестей, а исключительно как коллегу по работе. У меня есть жена, я ее люблю».

Ответ Анны был суров: «Не надо мне лапшу на уши вешать... Жена, люблю...»

Никаких конфликтов у меня с Анной во время работы на складе не было. Несколько раз она меня даже выручала, пусть и не безвозмездно, то есть не доносила начальству на то, что я, вместо того, чтобы ночевать в вонючей будке сторожей, уезжал за полночь ночевать домой, а в шесть утра приезжал на место работы. Стоило мне это каждый раз пятерку. Учитывая, что наша месячная зарплата была — восемьдесят рублей, это было не так уж мало.

Совесь меня не мучила, когда я уезжал домой. Склад типографских машин был окружен, как крепость, высоким кир-

пичным забором, утыканным заостренными стальными штырями, а единственные тяжелые железные ворота надежно запирались.

Золоту партии ничего не угрожало.

Началось все с того, что Анна втюрилась в Джима.

Он в этом виноват не был. Пришло время и Анне влюбиться.

Влюбилась... и в кого? В фарцовщика.

Джим часто приносил с собой на работу чемодан с пестрыми шмотками и джинсами. Прятал чемодан в единственном запирающемся шкафу. К нам на проходную приходили его покупатели.

— Можно ли повидать Джима? Мы от Гоши.

— Проходите.

Однажды я присутствовал при встрече Джима с двумя типами «от Гоши». Вопреки моим ожиданиям, они с Джимом не торговались, а молча осмотрели и ощупали товар, узнали цену, кивнули, проверили с помощью карманного калькулятора окончательную сумму, заплатили рублями и ушли, упаковав вещи в принесенные с собой большие хозяйственные сумки. Похоже, это были перекупщики... из Воронежа или Иркутска. В их города иностранцы не приезжали, а в Москве их было много. Джим говорил, что «чаще всего работает с поляками», которые привозят свой товар из ГДР, а гэдээровцы получают его «почти задаром от западников».

Однажды я спросил Джима, почему милиция его не беспокоит. Он посмотрел на меня скептически и ответил кратко: «Потому что менты получают в лапу то, что им причитается. Регулярно. И не только менты».

Я замолчал. Все мы боялись и милицию и «не только ментов». Даже если не делали ничего такого. Просто так. Это у советского человека было в крови.

Да, Анна втюрилась.

Раньше всех это заметил Денис Абрамович, величественный старик с лвиной гривой седых волос, уволенный за что-

то из московской коллегии адвокатов, не только дающий нуждающимся платные профессиональные консультации по уголовному праву, но и ведущий из нашего склада долгие судебные дела. Инкогнито, разумеется.

Однажды он прошептал мне на ухо: «Антон, посмотрите на Анну, она вся светится и сегодня пришла на работу в розовой юбке, розовой же кофточке с цветочками и на каблуках. Маникюр сделала и волосы завилла. И духами от нее несет».

Меня Анна мало интересовала, я сам бы и не заметил перемены.

Поглядел. Да, сторожиху Анну было не узнать. И похорошела, и глядела на других не зло, а... почти с участием.

Мне Анна сказала неожиданно помягчевшим голосом: «У вас всегда такое печальное лицо, Антон. Наверное, вы несчастливы в браке, но скрываете это от других и от себя самого. Вам надо найти новую любовь, иначе вы пропадете».

А Дениса Абрамовича Анна впервые за шесть лет совместной службы обняла и погладила по седым волосам. Он мне рассказал.

Когда в комнату, где она сидела, входил Джим, Анна краснела, опускала глаза и начинала что-то тихо бормотать. Молилась вслух.

— Господи, Иисусе Христе, Богородице-дево, простите меня грешную и спасите мою душу, смилуйтесь, пожалейте, сделайте так, чтобы он полюбил меня, дуру старую, ничего больше у вас не прошу...

Джим естественно ничего не замечал. Был занят какими-то расчетами и комбинациями, часто бегал на улицу и звонил из телефона-автомата, устраивал свои гешефты... вел себя как бизнесмен, что, учитывая его положение сторожа на складе, было смешно и гротескно. Но из подобных гротесков состояла большая часть советской действительности.

У нас в бригаде все, кроме Анны, были слегка с приветом. Каждый по-своему.

Денис Абрамович занимался адвокатской практикой, я на работе рисовал эскизы к будущим картинам, которые так и не написал никогда, еще один наш коллега, Игорек, изучал, следуя указаниям Кнорозова, древние книги майя, рано располневший декадент-диссидент Мишенька, по его словам, «писал ноэли», хотя французским, вроде бы, и не владел, а наша юная сексапильная звезда Лидочка ухитрялась на огромном замызганном складском дворе обслуживать клиентов. Предлагала и мне сделать минет за полцены, но я отказался. Из-за брезгливости.

Предлагала она себя и другим членам бригады.

Денис Абрамович был уже староват для таких подвигов, Игорек ничего не хотел знать, кроме своих индейцев, Мишенька был голубым, а Джим...

Полагаю, минетом дело не обошлось... денег у него было много, кроме того, несмотря на свою флегму, Джим был очень охоч на клубничку.

Бедная Анна наблюдала его кувыркание с Лидочкой через маленькое зарешеченное окошко. И ревновала. Особенно жгуче ревновала после того, как он и с ней переспал в ночную смену.

Джим рассказывал так:

— Веришь ли, Антоша, она меня затащила к себе в койку. Я и пикнуть не успел. Сидели с ней вечером на проходной, играли в подкидного. Я принес бутылку. Раздавили. Поздно уже... Я собирался идти спать в маленькую комнату, а ей уступить большую. На самом деле обе наши комнатки в будке столовой были метра по четыре квадратных, не больше. В них помещались только койка, стул и замызганный шкафчик. «Большой» и «маленькой» эти комнатки мы называли в шутку. Вдруг Анна как вскочит. Как будто ее ужалила оса. Ведьма настоящая. Руки растопырила. И ко мне... Глазами сверкает, зубами скрежещет, рычит как медведица... Впилась мне губами в губы, укусила, а затем в большую комнату потащила.

Бросила меня на койку как куклу. Одежду с меня стащила и сама разделась. Прыгнула на меня как рысь, хватя за член...

— Ну, а ты...

— Что я... поддался... а затем потихоньку завелся. Ох, горячая же кобылка. До сих пор яйца горят. Ты чего хмуришься?

— Не вышло бы чего.

— Что не вышло? О чем говоришь?

— Не знаю. По мне хоть всю Москву трахай. А Анну лучше в покое оставить...

— Это почему?

— Потому что она чокнутая.

— Ты не понимаешь! В этом весь смак. Она во время сношения и мяукала, и лаяла, и хрюкала, и рожи строила, и язык длиннющий высовывала. А в нутре у нее... как будто цыплята только что из яиц вылупившиеся.

— Цыплята? А Лидочка?

— А что Лидочка... она вся, как и полагается, резиновая.

А дальше случилось вот что.

Лидочка пропала. Не пришла на свою очередную смену и не позвонила.

Подумали, мало ли что... может, укатила куда, по вызову, или так, в гости. В Питер или в Кострому. У нее там жили родственники. Или запила... с кем ни бывает.

Через три дня опять не пришла. Позвонили в милицию. Те сразу заподозрили неладное и начали расследование.

Вел дело майор Коклюжий. Розовощекий бык с маленькими глазками, неприятными пухлыми губами и огромными руками, похожими из-за псориаза на лапы ящера.

После первых же бесед с нами он арестовал бедную Анну. А всем остальным прочитал что-то вроде нотации, смысл которой сводился к следующему: все вы — ненужные советской стране ублюдки, если хоть в чем-нибудь малом вас замечу — посажу в тюрьму, к уголовникам.

А с Джимом он еще и отдельно побеседовал. Мишенька видел, как Джим вышел из кабинета майора, бледный как смерть, качающийся и с дрожащими красными руками.

Джим рассказал мне позже, что Коклюжий «называл его вонючим жидом, фарцовщиком, спекулянтom, два раза ударил по лицу своим кулачищем, размером с гирю, потребовал всю выручку за тяжелую работу последних месяцев. И пригрозил, что посадит в пресс-хату без судебного разбирательства, если не отдам ему деньги».

— Ну и что? Отдашь?

— А что делать, отдам, что есть. Мне моя жопа дороже...

— А про Лидочку... что он говорил?

— Говорил, что Лидку Анна прижмурила. Из ревности. Но ни улики, ни тела нет.

— Ты ему что, про себя и Анну...

— Конечно рассказал. Я ведь для него урка... с такими не церемонятся. Может и трупика на меня повесить. Все может. А ты?

— Он меня о тебе и Анне не спрашивал. Он со мной почему-то о моей кооперативной квартире беседовал.

— Это он тебя так запугивал, а ты не понял.

— Ужас.

На складском дворе милиционеры днями напролет что-то искали. Мы слышали их скабрзные шутки про лобки и волосы.

Я спросил Дениса Абрамовича, знает ли он что-либо об Анне.

— Ничего пока неизвестно. По опыту... если тело или хотя бы палец Лидочки не найдут, рано или поздно ее отпустят. Если конечно она не сознается. Сейчас они ее кошмарят, чтобы сама себя оговорила.

Коклюжий вызвал меня к себе. Я сходил. Не хотел давать повод для подозрений.

— Если хоть что-то о деле знаешь, рассказывай. Пусть даже мелочь, пустяк...

— Ничего не знаю.

— Ну смотри, если узнаю, что знал и не сказал, посажу за недонесение.

— Рад бы помочь...

— Это ты врешь, что-нибудь и ты знаешь. Но молчишь. Потому что ты всех нас ненавидишь. Советскую власть. Партию. По глазам вижу. Ладно, свободен. Интеллигенция...

Похоже, худшего определения для человека у псориазного майора не было.

Коклюжий представлялся мне во время допроса огромной жабой с пузырьчатой кожей. Жаба прыгала по комнате, разевала пасть, рычала и квакала, грозила проглотить меня как комара.

Неопределенность продолжалась две недели.

Затем... на складе вдруг появилась Лидочка. Запуганная, но живая и невредимая.

На вопросы она не отвечала. Все недоумевали.

Милиция исчезла. Коклюжий больше никого не вызывал.

Об Анне — ни слуху, ни духу. На ее место взяли другую сторожиху. Тоже пергидролевою блондинку. И тоже с круглым грубым лицом.

Я уволился со склада, так и не узнав, что же произошло. Джим уволился за три месяца до меня.

Времена изменились. К власти в Кремле пришел Горбачев. Из магазинов исчезло спиртное. У винотделов выстраивались длиннющие очереди. Однажды в одной из таких очередей на улице Горького я случайно встретил Дениса Абрамовича. Узнал, что его опять приняли в коллегия адвокатов. Теперь он вел дела в судах легально. Выглядел прекрасно, помолодел и волосы покрасил.

Не удержался, спросил у него, что же тогда произошло с Лидочкой и Анной. И он рассказал мне шепотом, на ухо...

— Да, Антоша, Лидочку никто не убивал. Возможно, Анна и устроила бы ей сцену, очень уж ревновала, но убивать... Нет, Лидочку похитили у метро Сокол люди в темных пальто и отвезли на специальную дачу на Рублевке. Там ее припугнули, раздели донага и бросили еще с пятью такими же как она красавицами в теплый бассейн с розовой водой. А в бассейне не жились начальники... из высшего легиона. Лидочка рассказывала неохотно, что они там делали. На обычное половое сношение никто из них уже способен не был. Лидочку и других девушек вешали за руки или за ноги, головой вниз, щекотали, щипали, обливали горячим воском и пороли розгами. Мочились им на лица. А потом звали молодых парней из охраны, чтобы те на глазах у начальников девушек насиловали... В конце концов Лидочка начальникам надоела, ей впрыснули лошадиную дозу наркотика в вену, отвезли домой, бросили на кровать и оставили умирать. Но случай иногда творит чудеса. К Лидочке пришла ее сестра, у которой был ключ от квартиры, вызвала скорую, ее откачали. А через неделю она вышла на работу. Я отсоветовал ей обращаться в суд. Посоветовал уехать на время. Она послушалась и уехала в Кострому.

— А что же приключилось с бедной Анной?

— Эта история еще мрачнее. Мне все рассказал старый знакомый в прокуратуре. По секрету. Оказывается, этот знойный дегенерат, как его, майор Коклюжий, вбил себе в башку, что Анна убила Лидочку из ревности. Он раскопал сведения об Анне... Оказывается, она работала в юности лаборантом в одной из секретных химических лабораторий МГБ. И имела доступ к ядам. Коклюжий решил, что Анна отравила Лидочку, а затем профессионально уничтожила ее тело, растворила его в кислоте. Где-то на складе. Его люди долго искали следы преступления... Поскольку Анна не сознавалась, он начал ее истязать. Загонял иголки под ногти, защемлял пальцы, надрезал и жёг кожу. В какой-то момент ее сердце не выдержало. Она умерла. Дело замяли. А тело кремировали и похоронили. Обычная практика, Антоша. Средневековье. Мой вам совет, как только сможете, уезжайте отсюда навсегда.

В конце восьмидесятых я уехал.

В подzemелье

Зря я тогда сказал Джиму, что в наших складских подвалах хранится золото партии.

Слово «золото», по-видимому, оставило в его памяти свой манящий мерцающий след и навело на некоторые не совсем кошерные мысли. О которых Джим далеко не сразу мне поведал. Выдержал паузу, надо отдать ему должное.

Где-то через полгода после нашего разговора, ночью, на складе дежурили только он и я. После традиционной игры в карты — мы играли в гусарика — и чаепития с пражскими пирожными Джим начал зондировать почву.

— Послушай, Антоша, ты это про золото партии просто так ляпнул, или в этом что-то есть?

— Просто так, конечно. Я понятия не имею, что там, в этих подвалах. Может быть там летающие тарелки или кладбище жертв опричнины. Но кое-какими соображениями я могу с тобой поделиться. Исключительно для того, чтобы скрасить нашу полуночную беседу.

— Поделись, профессор, поделись.

— Ответь на вопрос... за все время твоей работы на складе мы хоть раз открывали ворота?

— Нет. Не помню. Я думал, это только в мою смену случайно никто не приезжал, не уезжал...

— Я говорил об этом с Анной, а она тут чуть ли ни четверть века варилась... никогда ворота не открывали. Никто и никогда. А что это значит?

— Что?

— Элементарно. Это значит, никто и никогда не привозил и не увозил отсюда эти самые типографские машины. А это, в свою очередь, означает...

— Что никаких типографских машин тут, на складе, нет и не было.

— Именно так. И волей-неволей встает вопрос, что же мы на самом деле охраняем. Ведь мы, согласно документам, «стрелки вневедомственной охраны» и что-то охраняем, пусть и без оружия, не так ли? Или...

— Логично.

— Итак... мы охраняем нечто, то, что кто-то когда-то привез и спрятал в подвалах. Что спрятал? Когда? При Усатом? Или при Петре Первом? И с тех пор это нечто никто из подвалов не забирал, не посещал, не проверял... На территории склада никто кроме нас, твоих покупателей и клиентов Лидочки не появляется. Начальство приезжает раз в месяц, обходит двор, делает нам внушение и исчезает. И это все. И все эти люди, подчеркиваю — все, входят-выходят через проходную, на которой всегда кто-нибудь из нас сидит. То есть, все под контролем.

— Вроде так.

— Продолжим плести наши силлогизмы, как говорил кот Бегемот. Что такое собственно, наш склад? Проходная, будка сторожей и двор, заставленный большими деревянными ящиками, в которых... может быть в них и хранятся эти самые типографские машины? Работающие тут до нас сторожа не раз взламывали эти ящики. С целью личного обогащения. И что же они там нашли? Листовое железо, уголки, стальные прутья. Поржавевшие, скверного качества. Никаких типографских машин в них нет. Ящики эти — камуфляж, обманка. Чтобы никто вопросов не задавал. Вот мол склад, а вот и ящики... Под нашим двором — огромный подвал, подземелье. Откуда мы это знаем? Вот откуда. По всему двору установлены металлические трубы-отдушины. Заваренные сверху, но имеющие отверстия по бокам. Это вентиляция. Как она работает, не знаю. Видимо, естественно. Шума от вентиляторов не слышно. Но если поднести руку к отверстиям, чувствуется

движение воздуха. Значит там, внизу, есть что-то или кто-то, нуждающийся в свежем воздухе. Может быть, там тюрьма?

— Типун тебе на язык.

— Ладно, поговорим теперь о том, как можно войти в подвал.

— Ты сам знаешь. В подвал ведут два люка. Крышки их заперты на могучие замки. Люки теряются между неподъемными ящиками...

— Да-да. Кто-то не только спрятал что-то в подвале, но и постарался это скрыть. Значит то, что спрятали, имеет большую ценность.

— Или оно опасно. Динамит, бомбы, яды, ракеты, оружие, радиоактивные материалы...

— В этом случае тут сидели бы солдаты и гэбисты. Кстати. Если бы там хранилось золото, то тут тоже не мы с тобой сидели бы. И не Денис Абрамович...

— Тоже верно. Но что там все-таки? Посмотреть охота ужасно.

— Это не так трудно устроить, как ты думаешь.

— Почему?

— Потому что голубенький наш Мишенька нашел недели три назад — в паузе между рукоблудием и ковырянием в носу — под койкой в маленькой комнате небольшой грязный мешок. А в нем — штук двадцать ключей. Хотел их кинуть в мусорный контейнер, но я не позволил ему это сделать, мало ли чего. Мешок этот тут, на проходной, в шкафу, я сам его спрятал. Так что, возможно, мы сможем открыть люк и спуститься в подвал. Но экспедицию эту мы устроим только при одном условии.

— Каком?

— Что ты ничего оттуда не стащишь. Ни-че-го.

— За кого ты меня принимаешь?

— За того, кто ты есть на самом деле.

— Ладно, принято.

Я конечно Джиму не поверил. Но и меня тянуло заглянуть в подвал и уже давно. И во мне еще не умер юнга из «Острова сокровищ». Да и Сильвер тоже.

Почему-то я решил, что и тому, непонятному некто, что живет в подвале, не терпелось познакомиться со мной. Это вызывало во мне легкую дрожь... смесь возбуждения и ужаса. Поэтому мне не хотелось спускаться в подземелье одному. Джим был, разумеется, не лучшим попутчиком для такого путешествия. Я бы предпочел умника-Игорька или Дениса Абрамовича. С ними я по крайней мере не опасался бы того, что они что-нибудь там незаконно присвоят, автоматически превратив меня в соучастника кражи...

Решили попробовать спуститься в подвал прямо сейчас. Зачем тянуть?

Заперли проходную. Погасили в ней свет и вышли на двор.

Ночная Москва встретила нас тяжелым мерным гулом и скрежетом мегаполиса, крепко обняла своими огромными воздушными руками. Ударила в нос запахом асфальта и выхлопных газов.

Захватили с собой мешок с ключами и плоские фонарики, единственный инвентарь сторожа-стрелка, который нам предоставили наши работодатели. Кроме казенных солдатских одеял конечно.

Подшли к одному из люков. Не торопясь, попробовали разные ключи. Ничего не вышло. Большинство ключей явно не подходило. Но один... мог быть и от этого замка. Но он не хотел поворачиваться, а применять силу мы не стали. Боялись сломать.

Замок второго люка тоже не открылся, но в нем один ключ по крайней мере повернулся градусов на сорок.

Знающий толк в таких делах Джим попросил его подождать и ушел в нашу избушку. Вернулся через десять минут. В руках у него была старинная масленка. Где он ее нашел?

Ключ мы осторожно повернули назад и вынули, и Джим впрыснул машинное масло в замочную скважину.

Сердце у меня билось как метроном, глаза Джима горели зеленым огнем золотоискателя. Мы чувствовали, что на этот раз...

И вот... Джим осторожно повернул ключ своими длинными пальцами карманника.

Замок щелкнул, а затем... нехотя открылся. Победа!

Мы с трудом подняли люк. Посветили вниз. И не увидели ничего, кроме пыли и пустого пространства.

Вниз вела узкая поржавевшая винтовая лестница, крепящаяся к стене подземелья.

Спускаться по ней было опасно.

Но любопытство пересилило страх. Первым в подвал полез Джим.

Мы договорились так: Джим должен был достичь дна, оглядеться, убедиться, что все тихо, и после этого дать мне сигнал.

Джим спускался медленно, проверяя каждую перекладину, держит ли, прежде чем наступить на нее ногой. Лестница скрипела и ходила ходуном. Я ждал...

Наконец услышал... слабый голос из глубины.

— Все в порядке, спускайся, брат. Тут нет ни двухметровых крыс, ни оживших мертвецов.

Я начал спуск. Считал перекладины. На шестидесятой сбился.

Достиг дна. Стоял как истукан. Боялся идти.

Рядом со мной стоял Джим. Пылинки роились вокруг его фигуры... как мушки.

— Ну и что теперь? Скажи, профессор!

Как будто я это знал.

Джим начал яростно светить фонариком во все стороны. По стенам подземелья забегали синусоиды... Это было эффектно, но не позволяло понять, где мы, черт возьми, находимся.

— Стоп! Перестань мельтешить. Возьми и мой фонарик, сложи его задними сторонами с твоим и подними оба. Как можешь высоко. Да, на вытянутой руке.

— А теперь... медленно поворачивайся. Как маяк.

Два луча высветили стены большого, прямоугольного в плане подземного зала.

Просторного и высокого. И вроде бы совершенно пустого. К вящему разочарованию Джима. Мы находились в одном из его углов.

На стене, прямо за лестницей мы обнаружили что-то напоминающее старинный выключатель. Джим осторожно крутанул колесико...

Неожиданно в зале зажегся свет. Слабый, мерцающий, сиреневый...

Мы погасили фонарики и жадно глазели по сторонам.

Оказалось, стены и потолок зала были покрыты фресками, настолько выцветшими, что я поначалу ничего не смог разобрать. Какие-то непонятные фигуры, незнакомые мне предметы, дома, смутно напоминающие марсианскую архитектуру.

Предложил: «Давай обойдем зал по периметру, может быть, найдем двери в другие помещения».

Джим не возражал.

Прошли по периметру. Дверей не нашли. Зато определили, что размеры зала составляли примерно тридцать один на девятнадцать метров (Джим считал шаги).

Интересно, как это строители укрепили тут потолок... Без колонн...

Прошли в середину зала.

Задрали головы. Прямо над нами на потолке был изображен огромный орел. В когтях он держал голубоватый шар. Глобус! И глобус этот непостижимым образом вращался.

Джим неожиданно схватил меня за руку и спросил:

— Ты чувствуешь это?

— Что?

— Не знаю, как описать. Дрожание земли... вибрация.

— Тут метро недалеко. Может быть, поезд проехал?

— Нет, это что-то другое. И музыка...

— Ничего не слышу, вибрации не ощущаю.

Пошли назад к лестнице. Выключили свет. Поднялись на поверхность. Поприветствовали верхний мир. Жадно дышали ночным мартовским воздухом.

Закрыли крышку люка. Заперли замок.

Поклялись как скауты, никому о нашем приключении не рассказывать.

Я положил ключ назад в мешок, а мешок спрятал в шкафу на проходной.

Разошлись по своим комнатам. Я не стал раздеваться, лег на койку, завернулся в одеяло и тут же заснул.

На следующий день, в восемь утра, нас должны были сменить.

Ночью мне снилась всякая чертовщина. Будто бы стою я в этом подземном зале и смотрю на фрески. И фрески начинают наливаться цветом и объемом.

Фигуры на них оживают и спрыгивают со стен в зал. Это средневековые войны, вооруженные мечами и копьями. Они бегут ко мне... ужасный орел слетает с потолка...

Тут я открыл глаза.

И, вот же наваждение... я стоял голый и босой... с фонариком в правой руке и ключом в левой... в подземелье, освещенном слабым сиреневым светом.

Один.

И это не было продолжением сна. Это была самая настоящая явь.

Как я сюда попал?

Неужели разделся на своей койке, зашел на проходную за ключом и спустился в подземелье? Как лунатик?

Тут я ощутил то, что Джим назвал дрожанием, вибрацией. Только мне показалось, что не земля дрожит, а само про-

странство. Как будто готовится к чему-то. К метаморфозе, преобразению...

И музыку я тоже услышал. Она отдаленно напоминала органную музыку Оливье Мессиаана, которую я слушал недавно в Зале Чайковского.

Хорошо еще, что фигуры на фресках все еще были блеклыми и не собирались оживать.

Я чувствовал себя пугалом... идиотом... глупо вмешавшись в чужую игру, не понимая ее правил, без шанса на победу. Ставкой в этой игре была моя жизнь.

Хотел подняться по винтовой лестнице.

Но что-то меня остановило.

Поначалу, не понял, что. Да, я услышал шаги... кто-то шагал, шаркая и посвистывая.

Но я не видел шагающего. Он был еще далеко.

И вот... он вошел в зал. Прошел сквозь стену.

И направился к противоположной стене.

Выглядел он как бездомный. Старое пальто английского покроя, в кармане — бутылка кефира с зеленой крышечкой, вместо брюк — рванина... Грязная меховая шапка. Ботинки с калошами. Дырявые перчатки. Бородка.

В середине зала он вдруг остановился. Пробурчал что-то вроде: «Ах-ха-ха...»

Обернулся и пристально посмотрел на меня. Вздохнул... и неодобрительно покачал головой.

И пошел дальше. Вошел в стену легко, как корабль входит в туман. Видел такое в Крыму, у Карадага.

Его лицо показалось мне знакомым.

Вспомнил! Это был Михаил Одноралов. Я видел его на выставке московских неофициальных художников в Доме Культуры на ВДНХ. Лет десять назад. Видел и это пальто с бутылкой кефира. Посмеялся тогда и задал стоявшему рядом с ним маленькому человеку несколько вопросов. Он ответил... Приглашал меня к себе в мастерскую, но я не воспользовался

приглашением. И вот, он тут, в своем знаменитом пальто, ходит сквозь стены, вздыхает и головой покачивает...

Погодите, но он же уехал в Америку. И не умер. Что же он забыл в нашем подземелье? Подрабатывает привидением? У большевиков на службе?

Или это не он, мне показалось?

Тут я услышал звонкий детский смех и из стены зала, там же, где Одноралов, выпрыгнули три маленькие девочки. Маленькие. Они побежали по его следам. Возможно, хотели догнать.

И они тоже остановились в середине зала, обернулись и посмотрели на меня. Состроили гримасы. Высунули языки. Что-то прокричали вместе.

Голоса их были похожи на то, что получается, если ленту на магнитофоне прослушивать задом наперед.

Лица у них были неживые, кукольные.

Девочки вошли в стену там же, где это сделал бродяга.

Из стены... выехала карета-ландо, запряженная двумя пегими лошадьми. Карета остановилась, из нее легко выпрыгнула дама в роскошном белом платье до пят. И направилась ко мне... положила руки мне на плечи, приблизила свое лицо к моему лицу и сказала: «Я — Марта Целле. Ты вызвал меня и вот я тут, любимый...»

Я был потрясен этими явлениями. Оставим Одноралова с его пальто и девочек-куколок на совести подсознания. Но откуда этот зал узнал, что я всю жизнь мечтал именно об этой женщине?

Подождал к тому месту, откуда появлялись эти существа, потрогал стену. Несколько раз ударил ее кулаком. Никакого подвоха, никакой потайной двери. Стена как стена. И пройти сквозь нее, и тем более проехать на карете — держу пари — вы, господа, не смогли бы. И я не смогу.

Что же это было?

Поднялся наверх, лег на свою койку и заснул.

А утром успел до прихода сменщиков поговорить с Джимом.

Оказалось, он тоже спускался ночью в подземелье! Но рассказывать о том, что он там видел и пережил, покрасневший как рак Джим решительно отказался.

* * *

Решил в подвал больше не спускаться. По крайней мере — в ближайшие дни. Испугался. Не был готов жить в той новой реальности, которую выстроил для меня зал.

Меня терзало недоброе предчувствие, я полагал, что то неистовство, с которым я овладел этой женщиной-миражом в белом платье, не пройдет мне даром и отравит мою обычную семейную жизнь с Нелей...

Да, зал не обладал собственной волей, а только материализовал, развивал, трансформируя, мои воспоминания, мои представления и мечты... Но я справедливо опасался, что он поступит также и с моими страхами, кошмарами, навязчивыми идеями. Боялся, что зал пробудит к жизни чудовищ, невидимых для окружающих меня людей, но составляющих неотъемлемую часть моего естества, чудовищ, которых я — каюсь — подкармливал, пытался заговорить, задобрить, подмаслить... чтобы они не так жестоко терзали меня и моих близких.

Я вечно всего боялся... кролик, а не человек...

А Джим... Джим кроликом не был.

Через две недели после нашего совместного посещения подземелья... ночью, на проходной... мне все-таки удалось его уговорить рассказать мне о том, что он тогда пережил. В таинственном зале с фресками на стенах и орлом на потолке.

Для этого пришлось открыть карты и, ничего не скрывая, поведать ему и о бродяге в пальто, и о трех голеньких девочках, и о явлении женщины в белом, и о той оргии, что мы с ней

устроили. Джим слушал меня и улыбался. Наверное я казался ему ягненком или кроликом...

— Кажется, мы оба сошли с ума. Многое из того, что там со мной случилось — я не могу описать словами. Просто не понимаю, что это было. Этого я и касаться не буду... Так вот, для начала зал показал мне то, что я никак не ожидал увидеть. Как это называют... кинематографическую аллюзию. Как и у тебя, прямо из стены выехал большой темный автомобиль. Я узнал модель — обожаю старые американские машины — это был четырехцилиндровый Максвелл начала двадцатых годов. За рулем сидел человек в кожаной куртке, шапке и в таких же перчатках. И в больших автомобильных очках, которые делали его похожим на сову... или на аквалангиста. Автомобиль остановился в середине зала, шофер посмотрел на меня, грозно блеснув очками, достал пулемет... Томпсон с круглым магазином... и давай палить. Отстрелялся и дальше поехал — прямо в стену. Исчез. Так зал меня поприветствовал.

Я, признаться, часто представлял себе, как гоняю по пыльным дорогам Техаса или Аризоны на старомодном автомобиле и постреливаю по кактусам или индейцам. Вот и допредставлялся. А потом... ты не поверишь... В зал вплыл огромный корабль. Пассажирский лайнер. И наш зал как бы соединился с салоном внутри этого корабля. И гости по залу заходили, и шикарная мебель появилась. Ну Титаник просто. Затем появились квадратные восьмиместные обеденные столы и кресла. За столами сидели веселые компании богатых людей, между ними бегали официанты во фраках. За одним из столов вкушала пищу семья нашего последнего царя. Сам Николай в военном мундире, его постаревшая, но все еще красивая жена, как мне показалось, надменная и холодная, четыре их милые дочери и наследник престола, печальный мальчик лет четырнадцати. И вот, откуда ни возьмись, в зал вбегают двенадцать отвратительных, вооруженных винтовками и маузерами уродов со звероподобными лицами. Это чекисты. Они

подбегают к столу, за которым обедает царская фамилия и открывают бешеный огонь по несчастным. Царь, царица и их дети умирают, обливаясь кровью. А чекисты начинают сдирать с них своими медвежьими когтями одежду. Они ищут зашитые в платьях царицы и царских дочерей драгоценные камни. И находят то, что искали. Кладут обгаренные кровью дымящиеся камни на стол. Один из чекистов, с мордой гиены, берет своей ужасной лапой крупный алмаз и швыряет его мне. И... ты представляешь... я ухитрился поймать его в воздухе. И на сердце мне стало радостно... теперь я богат! И одновременно я с ужасом понял, что нахожусь на стороне этих убийц... Может быть, даже принадлежу к ним. И тут... декорации мгновенно изменились. Наш подземный зал — перестал быть обеденным салоном пассажирского лайнера, а превратился в спальню. В спальню императрицы в Александровском дворце. На стенах — портреты, иконы... Мебель изысканная. Шелка... Широкая кровать. На ней — обнаженная женщина, манит меня. Я ложусь к ней, обнимаю ее. Сердце мое пламенеет — я в постели российской царицы. И вот, она поворачивает ко мне свое лицо. И... это не принцесса Виктория Гессен-Дармштадская, а Галина, дочь треклятого Брежнева. Жирная как свинья, бухая, развязная... Хрюкающая и рыгающая... Вцепилась в меня своими цепкими короткими пальцами. Целоваться полезла... Шептала: «Я тебя озолочу, Джимми, будешь есть на золоте... подарю тебе изумруды Кортеса!»

Сердце мое переполнилось черной жадностью. И я лег на нее.

До сих пор все внутри холодеет. Вот, посмотри.

Джимми достал из внутреннего кармана пиджака два драгоценных камня и осторожно положил передо мной на стол. Розоватый алмаз чистой воды, размером с пуговицу пальто, и необработанный шестигранный изумруд чуть ли не с сигарету длиной.

Прокофьев

- Имя, отчество, фамилия.
 - Иосиф Абрамович Кацнельсон.
 - Год рождения.
 - 1937.
 - Почтовый адрес.
 - Проспект Вернадского, дом 93, корпус 2, квартира 124.
 - Семейное положение.
 - Холост.
 - Дети есть?
 - Нет.
 - Таак... А на складе вас знают как Дениса Абрамовича.
- Почему вы скрываете от коллег ваше настоящее имя?
- Я не скрываю... просто не хотел иметь ничего общего с бронзовым генералиссимусом.
 - С Сталиным? Какие страсти! А нам показалось, что вы хотели замаскировать вашу активную нелегальную деятельность в московских судах... хм... в роли адвоката инкогнито, так сказать... Поэтому везде, где можно ввали, юлили и мутили воду.
 - Приходилось мутить и юлить, признаю. Прошу за это прощения. Люблю свою профессию, бросить ее — физически не могу. Но закон я не нарушал.
 - На это мне плевать... А почему «Денис»?
- Сказав это, следовательно, допрашивающий Кацнельсона, демонстративно зевнул. Так что чуть скулы наизнанку не вывернул. Это означало: «Вот видишь, я обязан задавать тебе эти дурацкие вопросы, чтобы усыпить твою бдительность... Впрочем, ты это и сам превосходно знаешь, стреляный воробей. Но мы и не таких пернатых до костей ощипывали!»
- Потому что моя семья была знакома с семьей Драгунского. Дядя Виктора был женат на двоюродной сестре матери.
 - Вона, какие у вас знакомства... Чук и Гек просто... За что вас выгнали из московской Коллегии адвокатов?
 - Вам это известно лучше, чем мне. Придрались к оплошности в отчете и выгнали.
 - А поконкретнее нельзя?

— За то, что я защищал Добровольского и Троицкого. Неделю назад я подал ходатайство об отмене решения Коллегии. Времена меняются, может и восстановят.

— Ладно, это все мелочи... Когда вам пришла в голову идея спуститься в подвал?

Кацнельсон ответил не сразу. Сообразил, что надо отвечать осторожно. Следак выглядел как недалекий, туповатый служака, но кто его знает, каков он на самом деле. Морда опухшая, глазки как у китайца, курносый... лапы как у гориллы, кулаки чугунные, врежет еще... Допрашиваемый поморщил лоб, почмокал толстыми губами, подергал себя за седые волосы на висках, почесал правое ухо, заросшее волосами, затем почесал левое ухо, тоже волосатое и страшное. И только потом начал говорить.

— Мне всегда было интересно, что находится там, внизу. Потому что я уже в первый день работы на так называемом складе догадался, что к типографским машинам наш склад отношения не имеет. Интересно мне было, но никаких конкретных действий я не предпринимал. Двенадцать лет. Чувствовал, что разгадка тайны не принесет мне ничего приятного. Так и случилось.

— Не драматизируйте и не давите на психику, Кацнельсон, вы не в суде. Мир наш существует не для того, чтобы таким как вы делать приятное. Зарубите это себе на носу. К тому же, мы вас — пока — ни в чем не обвиняем. Но мы во всем разберемся, обещаю вам... И если в ваших действиях заключался преступный умысел, то вы ответите и будете наказаны по всей строгости закона.

— Только что вы говорили, что вам плевать на то, нарушаю ли я законы...

— Ты меня не путай, адвокат... не зарывайся... можем и пальчики защемить.

— Не сомневаюсь.

— Молчи, гадина сионистская. Не раздражай. Отвечай только на вопросы.

Следователь Прокофьев покраснел и закашлялся от злости. Встал, немного походил по комнате, успокоился. Выпил стакан воды. Поморщился. Плюнул на пол.

Кацнельсон был ему отвратителен... но не потому, что он спускался в подземелье, а потому что он был евреем, а евреев Прокофьев терпеть не мог. Особенно евреев-адвокатов, хитроумных, скользких... Но разозлился Прокофьев не только из-за того, что Кацнельсон — еврей... не потому даже, что он поймал его на противоречии... Нет, Прокофьев был прежде всего зол на своего начальника, заставившего его заниматься этим вшивым делом несмотря на его сопротивление. Делом, из которого ничего не выжмешь, кроме неприятностей... Злился Прокофьев и на весь белый свет, на судьбу, подарившую ему тяжелое военное детство, отчима-алкоголика, жизнь в коммуналке и регулярно избивающих его хулиганов во дворе, на Комитет, в котором так и не задалась его карьера.

Ну да, спустился этот Кацнельсон в подвал. Чего-то там увидел... Мало ли чего в темноте не увидишь? А через полчаса оттуда вылез. И все. Вот и все дело. Кого это волнует? Выяснилось, волнует. И еще как. Оказалось, что этот подвал не просто подвал, а спецобъект номер 47500/374. О существовании которого знали только самые высшие начальники органов государственной безопасности СССР. Знали-то знали, но давным-давно забыли. Не давным-давно впрочем забыли, а во время погрома, устроенного в органах Хрущевым. Да так основательно забыли, что — в нарушение всех правил — повесили спецобъект на баланс Вневедомственной охраны, не объяснив толком, что за объект она должна охранять. Скинули с себя ответственность.

Самое скверное заключалось в том, что секретная «особая папка», в которой была изложена история объекта номер 47500/374 из архива исчезла. Уму непостижимо! Поэтому, когда со склада пришел анонимный донос... доносчик утверждал, что сторож-еврей, обязанный охранять склад — «само-

вольно проникает в подвал и присваивает хранящиеся там ценности, принадлежащие советскому народу»... стали искать сотрудников КГБ или милиции, знавших хоть что-то о спецобъекте. Чудом нашли одного старенького дяденьку, который когда-то, еще в структурах МГБ имел с ним дело. Посетили его чудовищно грязную и вонючую квартиру где-то на Божедомке. Дядька не вязал лыка. Не понимал, о чем его спрашивают. Ему пригрозили. Подняли голос. На это дядька отреагировал так — заплакал, и, жалко улыбаясь, пропел куплеты из известной песни. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... Преодолеть пространство и простор... Наш острый взгляд пронзает каждый атом...

Складской подвал естественно посетили. Точнее, это он, Прокофьев, один спускался в этот подвал. По приказу руководства. С фотокамерой и вспышкой. Пришел на проходную, показал свое удостоверение, потребовал список сторожей. Затем заговорил о подвале...

И список и ключ дал ему дежуривший тогда Кацнельсон, он же рассказал о выключателе, снабдил фонариком, показал люк. Прокофьев спустился по винтовой лестнице вниз. Включил свет, обошел зал два раза. Убедился в том, что он пуст как брюхо голодающего, пофотографировал в свое удовольствие и покинул помещение. Уже на лестнице ему вдруг померещилась в темноте его бывшая теща. Она стояла в середине зала и манила его рукой. Голая и жуткая. Не обратил внимания. Свалил все на водку, которую употреблял каждый день «для того, чтобы окончательно не слететь с катушек».

Что за параша, — говорил сам себе следователь. Теща померещилась... Какие ценности? Ничего там нет.

Пришел в свой кабинет. Написал рапорт начальству. После чего не поленился, отнес пленку в лабораторию, а рапорт... лично передал наглой секретарше Хохловой, на которую давно положил глаз, но так ничего и не добился. Та бумажку приняла, а затем демонстративно небрежно сунула ее между каких-то посторонних бумаг. Хмыкнула и закурила

длинную американскую сигарету. Начальник Прокофьева, полковник Котов, вызвал его на следующий день на короткую беседу.

— Слушай, Прокофьев, вот твой список сторожей на складе. Один жид и пять старых русских теток. Одна из них и донесла, как пить дать. Золотой у нас народ. Заботливый. Вызови жиду и проверни его через мясорубку, может, что и узнаем. Надо что-то наверх доложить. А потом подгоним туда машины и зальем этот зал бетоном. Чтобы закрыть дело. А затем и ящики со двора склада выкинем, а сторожих на пенсию отправим. Пусть носки вяжут внукам. Построим там многоквартирный ведомственный дом. Такое место шикарное пропадает... метро рядом, вокзал, центр.

— Слушаюсь. Все сделаю, как вы сказали.

— И еще... ты Прокофьев того, синяков не оставляй у жиды на туше. У него связи.

— Есть. Никаких синяков.

— И последнее. Что это ты там снимал казенной камерой? В лабораторию отнес... Хорошо, к человечку знакомому попала пленочка, к Михееву. Он могила. Работник старой школы. Начинал при Лаврентии. Михеев пленку проявил, фотографии напечатал и мне принес. Вот, посмотри...

Начальник подал Прокофьеву фотографии. Прокофьев посмотрел и обомлел, и похолодел. Вместо зала и его стен — на них были... он сам и его любовница Зиночка, бухгалтерша из ресторана Арагви. Голые. Во всех возможных позах. Камасутра прямо. Кто же их снимал? Хорошо еще, фотографии были нечеткие. Видимо, снимали с рук... в полутьме. Свои небось. И Котову подсунули теперь. Ржут, наверное, в курилке, как дикобразы. Сволочи.

Прокофьев начал лихорадочно вспоминать, когда же он встречался последний раз с Зиночкой. Вспомнил и поперхнулся. Это было десять лет назад. Затем Зинка устроила ему сцену с мордобоем и с другим любовником в Питер укатила. С тех

пор они не виделись. А у Прокофьева появилась другая женщина. И еще одна. Но с Зинкой ему было слаще.

И все-таки... Откуда взялись эти снимки? Коллеги что... ждали десять лет перед тем, как начальнику их подsunуть? Невероятно. Неужели это проклятый зал в подземелье как-то устроил? Такого не бывает. Или бывает?

Прокофьев естественно Котову ничего не сказал, скорчил верноподданную мину, виновато вздохнул, забрал проявленную пленку, фотографии и ушел к себе в кабинет. Сигнал, посланный им начальнику, прозвучал бы так: «Спасибо, что не дали делу хода, товарищ полковник. Постараюсь исправиться».

Пленку и фотографии сейчас же уничтожил. Сжег. Все, кроме одной. Потому что на ней он был не с Зиночкой, а... стыдно сказать... с женщиной. Хорошо Котов этого не заметил.

Но ведь такого никогда с тобой не было, — заклинал Прокофьев сам себя, вытирая холодный пот со лба и покусывая большой палец правой руки.

Да, в реальности не было... а в твоих мыслях было. Иногда. Спаси, господи!

Прокофьев еще раз, с лупой в руках рассмотрел фотографию. Тоже нерезкая. Да, это он. А мужчина, на котором он... кто это?

Вначале Прокофьев глазам своим не поверил. Потом пришлось поверить. Никакого сомнения, фотография запечатлела акт мужеложства его, Прокофьева с — трудно даже мысленно это имя произнести — Адольфом Гитлером. Это уже ни в какие ворота...

И еще... еще страшнее... Фотография эта была явно сделана в подземном зале на складе типографских машин. Прокофьев узнал стены, покрытые блеклыми фресками. Это как прикажете понимать?

Прокофьев сжег и это фото. На душе его полегчало. Он понял, как и о чем надо говорить с Кацнельсоном. Главное, не дать волю ярости. Не расвирепеть.

— Прошу меня извинить за грубость на первом допросе, товарищ Кацнельсон. Нервы шалют, работа адская. Не обижайтесь.

— А я не обиделся. Но впредь... постарайтесь, пожалуйста, держать себя в руках.

— Постараюсь... Скажите, а кто рассказал вам о том, что можно спуститься в подвал.

— Мой бывший коллега. Надеюсь, это ему никак не повредит.

— Не беспокойтесь, не повредит, если он, конечно, не украл что-либо из подвала или не разрушил...

— Рассказал о подвале мне Антон Сомна. Он не вор и не вандал. Честный и порядочный человек. Уволился недавно. Перед увольнением показал мне ключ от замка на люке. Говорил, что зал огромный, пустой... не утаил и то, что он видел там что-то вроде галлюцинаций. Рекомендовал соблюдать в подземелье осторожность. Но в подробности не вдавался.

— Тут кроме него работали еще два сторожа. Как вы думаете, спускались они в подвал?

— Об этом мне ничего не известно. Скорее всего, нет. Иначе они мне бы об этом рассказали. Мы любили потреться, покидать понты. Работа скучная.

— Придется всех допросить.

— Ваше право.

— Но начнем с вас. Вы ведь спускались в подземелье, не правда ли?

— Да.

— Сколько раз?

— Один раз.

— Когда?

— Примерно неделю назад.

— Не могли бы вы подробно и ничего не скрывая, рассказать мне о том, что там с вами произошло. Я уже кое-что знаю. Ведь я и сам там побывал. Знаю, что в подземелье с человеком могут произойти неправдоподобные... хм... события. Галлюцинации — это еще мягко сказано. Мне там покойная теща поме-

решилась... Как видите, мы не ведем никакого протокола. Разговор наш не записывается на магнитофон. У органов нет никакого интереса как-то подловить вас и наказать... мне самому важно понять, с чем мы там на самом деле столкнулись. Может быть, там газы какие-то скапливаются ядовитые... или еще что-то, надо разобраться.

Кацнельсон понял, что Прокофьев не лжет. То есть, конечно, лжет, они не могут не лгать. Но в данный момент действительно хочет понять, что это за подземелье такое. Газы... в это он сам не верит. Видимо, пережил там что-то... теща... и теперь жаждет как манны небесной объяснения. Хочет, чтобы кто-нибудь расколол для него орешек. Ведь ему рапорт писать надо, а начальству правду говорить нельзя. На этом бесконечном вранье держится вся система.

Кацнельсон был подготовлен к такому развитию событий. Решил выдать следователю одну из «домашних заготовок». Состряпанных им из правды и лжи. Не без помощи Франка и Лукаса. И выдал.

— Ну что же, если так, то расскажу, конечно. Хотя не уверен, что мой скромный опыт вам чем-то поможет. Только прошу вас обещать не отправлять меня после этого в психушку.

— Обещаю, обещаю...

— Тогда начнем. Еще на лестнице, по пути вниз я услышал какие-то неприятные звуки. Похожие на смесь гортанного хохота и мяуканья. В зале явно кто-то был... звери? В темноте что-то мелькало. Я зажег свет. И увидел вот что. В центре зала возвышалось что-то вроде платформы или сцены. На сцене стояли два старинных деревянных стула. На стульях сидели, смешно поджав лапы, коты, покрытые до плеч белыми простынями. Два старых павиана в тирольских шапочках, сюртуках и фартуках стригли им ножницами усы. Коты мяукали, павианы гоготали... Один из котов напомнил мне япон-

ского императора Хирохито. Потому что он носил пенсне. А другой — одного из членов Политбюро. Забыл фамилию. Третий павиан сидел на корточках и готовил что-то вроде мази в большой деревянной тарелке. Я поначалу оцепенел, до того абсурдно было это видение, но взял себя в руки и даже пошел по направлению к сцене. Не знал, что делать. И вот... и коты и павианы меня заметили... и устроили такой концерт, хоть святых выноси... А затем исчезли вместе с сценой. Я протер глаза... прошел зал из конца в конец по диагонали. Ничего. Пустота. Разглядел огромного орла на потолке. На одной из фресок узнал изображение Вавилонской башни. Видел в каком-то альбоме. На другой — рембрандтовскую Даная из Эрмитажа. Пузатую. И Даная эта повернула ко мне голову и так... почти незаметно головой покачала... Вы наверное мне не верите.

— Продолжайте, продолжайте...

— На а потом... начались настоящие чудеса. В середине зала вдруг из ничего появился квадратный бассейн. Вели в него ступеньки из прозрачного мрамора. А в середине бассейна — фонтан в виде готической колонны. На колонне стоял бронзовый ушастый демон с крылышками и лил в фонтан воду из всех своих отверстий. В середине колонны было что-то вроде балкона. На балконе этом обнималась нагая влюбленная пара. К фонтану с левой от меня стороны подходили старые женщины. Некоторых везли на тачках их мужья или слуги. Других, совсем немощных, несли на руках. Старухи раздевались и входили в бассейн. Купались в нем и выходили справа от меня — юными красавицами. Тела их светились, золотистые волосы были завиты. Их встречали элегантные кавалеры в роскошных одеждах. Это был фонтан вечной молодости! Женщины с сопровождающими их мужчинами — выходили из левой от меня стены зала и уходили в правую. Я не мог оторвать глаза от этого потрясающего зрелища. Честно говоря, захотел искупаться... Начал было раздевать-

ся, но ко мне тут же подошел старец в белой одежде до пят и жестами показал мне — нет, мне нельзя было даже близко подойти к фонтану.

Прокофьев неожиданно понял, что Кацнельсон его дурачит. Потому что вспомнил... вспомнил посещение картинной галереи в Восточном Берлине. Не сумел он тогда от этой экскурсии отбазариться. Проклятый еврей описал ему не то, что на самом деле видел в подземелье, а картину... как его... не помню. Там был и фонтан, и квадратный бассейн, и старухи, превращающиеся в юных красавиц.

Прокофьев почувствовал, что теряет над собой контроль. Кровь бросилась ему в лицо. Неожиданно сильная боль пронзила его голову от виска до виска и кинулась в затылок. Затем что-то в его голове взорвалось как петарда. Непонятно почему в багровом тумане показалось опять лицо покойной тещи. Она звала его по имени. Из-за далекой песчаной дюны высунул свою противную усатую голову фюрер и проорал что-то умирающему Прокофьеву. Следовательно медленно повалился со стула на пол. Кацнельсон не смог удержать тело от падения.

В комнату для допросов вбежали коллеги Прокофьева. Посмотрели на мертвого и, не разобравшись в чем дело, начали избивать Кацнельсона ногами.

Игорек и Мишенька

Кацнельсон сказал следователю Прокофьеву неправду. И Игорек и Мишенька спускались в подземелье. Поодиночке.

Для Игорька это кончилось трагически — его принесли в жертву индейцы майя, в город которых он попал сразу после того, как сделал несколько шагов в подземелье. Стены и потолок зала вдруг исчезли, пространство безмерно расширилось, на Игорька хлынул яркий солнечный свет, задул ветер, ноздри Игорька ощутили резкие пряные запахи, уши услыша-

ли непривычные звуки... как будто миллионы кузнечиков застрекотали, а ягуары запели хвалу своему богу.

Игорек испытал потрясение... какое мы все испытываем, когда наши фантазии и мечты внезапно материализуются.

Жадно смотрел на лучезарное голубое небо Юкатана, на ступенчатые пирамиды, на рельефы и колонны, на толпу пестро одетых краснокожих, на оживающие на его глазах огромные каменные головы создателя вселенной бога-змея Кукулькана.

Несколько полуголых жрецов в роскошных головных уборах подскочили к внезапно появившемуся из ничего чужаку, раздели его и связали. Растянули несчастного Игорька на пахнущем кровью и блевотиной покатом деревянном столе. Монотонно запели незнакомый Игорьку гимн. Вспороли ему живот обсидиановым ножом и неловко вырезали сердце. Положили дымящееся сердце на жертвенный алтарь — каменную человеческую фигуру, пристально смотрящую в сторону, с подносом для сердец на животе.

«Как все это странно и жутко», — подумал Игорек и умер.

Когда на следующий день в подвал спустился Мишенька, зал был как всегда пуст.

Приключения Мишеньки в подземелье, к счастью, не получили подобного трагического завершения. Наоборот, Мишенька в конце своего посещения зала испытал нечто вроде катарсиса.

Он бродил по освещенному магическим сиреневым светом залу минут пять, и ничего не происходило. Хотел было уже вернуться на проходную и заварить чай.

Неожиданно оказался на бескрайнем поле, заросшем неизвестными ему цветами. Белыми, розовыми, красными и фиолетовыми. Запах их был похож на запах левкоев.

— Bravo, bravo, — неизвестно кому сказал Мишенька и сел прямо на цветы.

Зал ответил на это появлением двух пожилых женщин, шагающих по цветочному полю на ходулях. Мишенька узнал

умершую год назад бабушку и ее сестру, вспомнил вкус пирогов с яйцами и капустой, которые они пекли к семейным торжествам. Сердце его сжалось и заболело от тоски. Негромко, прерывистым голосом позвал их, но они не откликнулись на его зов. Встал и побежал к ним. Но угнаться за ними так и не смог, потерял дыхание и упал. Отдышался, проклиная так и не вылеченную советскими врачами бронхиальную астму, встал, вытер слезы... и только тогда заметил, что цветочное поле исчезло, и что стоит он на бетонном перроне. Ждет поезда. И смотрит на неизвестный ему урбанистический ландшафт европейского города.

Вместе с ним на перроне ожидали поезда другие люди. Все они почему-то были глубокими стариками. Лысыми, сгорбленными, уродливыми, с слуховыми аппаратами в огромных ушах. Некоторые опирались скрюченными подагрическими руками на трости, другие — на костыли. Все старики, и болезненно худые и толстые, обрюзгшие, пялились на стоящую тут же полуголую девицу, рыжую, в шикарной шляпе и с глубоким декольте, не скрывающем роскошную грудь.

— Что тут такое, смотрины? — спросил Мишенька стоящего рядом с ним старика в голубом костюме. Брюки его держали выглядывающие из-под пиджака розовые подтяжки. Старик потянул за подтяжки, хлопнул ими, а затем презрительно посмотрел на Мишеньку, закашлялся, харкнул на рельсы и показал толстым указательным пальцем на подъезжающий поезд.

— Вам туда, вам тут не место. Уезжайте, уезжайте скорее. Если он вас увидит, пощады не ждите.

— О ком вы говорите?

Тут старик скорчил ужасную гримасу и громко обратился к остальным старикам на перроне:

— Ха-ха, молодой человек из мира рептилий не знает, кто «он». Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное? Какая наивность, доходящая до наглости и пренебрежения закона-

ми нашего отечества! Чему их там учат, в их так называемых школах? Сбрасывать кожу? Позор, позор и бледная немощь.

Остальные старики на перроне перестали пялиться на полубнаженную девицу и уставились на Мишеньку. Возмущенно трясли головами, кашляли и шумно харкали на рельсы.

Подошел поезд. Мишенька быстро вошел в вагон. Никто из стариков за ним не последовал. Девица тоже осталась на перроне. На прощание она помахала Мишеньке пластмассовой ручкой с зелеными ногтями на розовых пальцах. Только теперь Мишенька догадался, что она была не живым человеком, а манекеном-автоматом. Поезд тронулся.

Вагон, в котором ехал Мишенька, был почти пустым. На другом его конце компания примитивных роботов, сделанных каким-то умельцем из старинной кухонной утвари, резалась в дурака. Роботы на появление Мишеньки никак не реагировали.

Мишенька уселся на мягкое, удобное сиденье. Смотрел в окно. Всегда это любил.

— Нам тут не место. Почему? Что-то мы всегда делаем не так. Всегда... Из мира рептилий... Похоже.

Поезд остановился. Двери открылись автоматически.

В вагон ввалилась толпа, состоящая из женщин среднего возраста. Круглолицые, простоволосые, почти без бровей... полные, худые, грудастые, плоские... они мгновенно заполнили вагон своими телами. Мишеньку они прижали к стене вагона так, что он не мог двинуться... не мог и рта раскрыть. А вопящих роботов безжалостно выкинули в окошко. Мишенька видел, как они падали на гравий и разлетались на части.

От женщин несло дешевыми духами, луком, вареным картофелем и потом.

На следующей остановке — о чудо — все они из вагона вышли. Оставив после себя только запахи, духоту и отвращение к жизни в душе мизантропа.

А Мишенька мгновенно перенесся из своего вагона то ли в сарай, то ли в средневековый крестьянский дом где-то

в Шотландии или Дании. Протер глаза, поморгал, пощипал себя за подбородок.

Видение не пропадало...

В средних размеров комнате под дырявой покатой крышей танцевали мужчины и женщины, одетые в короткие рубашки без рукавов. Музицировал сам дьявол. С рогами и копытами. В короне. Бешено дудел в свою волынку. Мордой он почему-то напоминал императора Нерона. Перед дьяволом стоял комод, очевидно выполняющий функцию алтаря. На нем лежали мертвые грудные дети, листья и плоды белладонны, сушеные мухоморы и какие-то подозрительные кости.

Освещали комнату черные свечи, находящиеся в руках у покойников, лежащих в поставленных вертикально гробах. На поперечных балках крыши висели повешенные. С горящими свечками в руках. На алтаре горела толстая синяя свеча в форме мужского полового органа.

Особенно рьяно отплясывали: дед с огромной бородой, явно страдающий приапизмом, его блондинистая подруга лет сорока, смахивающая на Аниту Экберг, старая ведьма с открытой черной грудью, прыгающей как два мячика, и ее партнер — болезненно худой лекарь в кипе. Из-под его рубашки вылезал длинный темный хвост.

Все четверо перестали танцевать, когда увидели неожиданно появившегося перед ними Мишеньку. Обступили его, обмениваясь удивленными взглядами и восклицаниями. Остальные продолжили пляски.

Для начала они, хохоча, сорвали с Мишеньки одежду. Потом закрутили его как юлу. Дождались, когда он придет в себя, расцеловали и помазали ему плечи, лоб и губы какой-то зловонной мазью. После чего подвели к дьяволу и жестами объяснили, что он должен поцеловать нечистого в анус.

Дьявол поднял и раздвинул свои ослиные ноги. Гениталии его были похожи на гениталии коня.

Мишенька не хотел целовать его густо заросшую черной шерстью красную дырку. Упирался как баран. Тогда все чет-

веро завернули ему за спину руки. Особенно старался дед-приап. Ведьма впилась Мишеньке в мошонку своими длинными нечистыми ногтями. Лекарь истово читал заклинания и тряс хвостом. Блондинка-экберг щекотала Мишеньке своими длинными волосами низ живота и промежность.

Дед подвел голову Мишеньки к заду дьявола. Затем толкнул его коленом и Мишенька ткнулся-таки губами туда, куда хотели его мучители.

И тут же все вокруг Мишеньки изменилось.

Затихла дьявольская волынка. Исчезли ужасная комната и ее обитатели.

Голый Мишенька стоял один на вершине высокой дюны в пустыне и, запрокинув голову, смотрел на небо.

Звезды маняще мерцали в глубине бесконечной вселенной.

Спиральные галактики медленно вращались и разбрасывали вокруг себя светящийся пух.

В середине Млечного пути парила величественная Черная дыра, напомнившая Мишеньке анус дьявола.

Оргия

Перед тем как уволиться со склада типографских машин, я еще раз посетил подземелье. Не смог отказать себе в этом удовольствии. Что из этого вышло — судите сами.

Открыл люк и спустился по винтовой лестнице. Без приключений.

Включил свет.

В зале было тихо. Пусто. Одиноко. Тоска...

Вроде как ты пришел в театр, а там — никого, ни в коридорах, ни в зале, ни на сцене. И ты стоишь один, теребишь ненужную программку, гладишь подушечками пальцев велюровую обивку кресла, грустно смотришь на пустую сцену и мечтаешь о пышных декорациях, головокружительных коллизи-

ях и оркестре, играющем веселую музыку. Но нет, тишина коллет тебе барабанные перепонки, пустота сосет под ложечкой, мечты о театральных радостях постепенно испаряются, и ты понимаешь, что это конец. Конец твоего пути. Но это не приносит тебе облегчения, ведь скоро из-за шкафа выпорхнет огромная моль и проглотит тебя и вместе с тобой все, что ты еще любишь.

Не успел я как следует пожалеть самого себя, как ко мне подошли двое неизвестно откуда взявшихся диккенсовских мальчуганов с грязными лицами. Нищих или бродяг. Они приволокли с собой комичный старомодный велосипед, положили его рядом со мной на землю и убежали, давась от смеха и жестикулируя. Дошли до стены зала и прошли сквозь нее. Шаги их скоро затихли.

Взгромоздился на велосипед (шершавое седло тут же начало натирать мне промежность) и поехал за ними. Решил таранить стену... разогнался, закрыл глаза...

Стена пропустила меня сквозь себя, как ломтик сыра — иглу.

Я очутился на улице города, чем-то напоминающего Оксфорд, знакомый мне по открыткам из коллекции дальнего родственника жены, выездного оперного певца с известной фамилией, заядлого филокартиста, у которого мы один раз ужинали. Родственник, плотоядно посматривая на Нелю, после обильной трапезы хвастался нам своими богатствами. Среди прочего показал английские открытки, рассказал о концертах в Оксфорде и Кембридже и сногшибательных аплодисментах, которыми наградила его тамошняя интеллектуальная публика. Будто бы сама королева и герцог Эдинбургский приезжали из Лондона... королева во время концерта прослезилась и подарила ему медальон. Медальон этот королевский, впрочем, певец нам почему-то не показал. Намекал на какие-то тайны...

— Ага, похоже зал материализовал еще одну твою стародавнюю мечту... готика... барокко... Какая уютная романтика — город-университет во второй половине девятнадцатого века. Чудесные фасады, стрельчатые окна, арки, колонны, эркеры, вимперги, башенки, аркбутаны, контрафорсы... Каштаны, дубы, речка, похожая на канал... Библиотека... Интересно, а чем же он заполнит внутренности этого города? Откуда возьмет жителей, их фигуры, одежду, какие мысли вложит им в головы? У меня в памяти всего этого нет. Как чертов зал залатает прорехи? Неужели с помощью моей фантазии? Неужели я так богат? Не верится...

Я медленно ехал по мощеной брусчаткой улице на своем велосипеде, тряся и глазел по сторонам. Пялился на затейливые скульптуры... на витрины многочисленных магазинчиков, полные непонятных мне предметов. Цилиндры и конусы с трубками и гребешками... Терракотовые статуи неизвестных мне животных, смахивающих на демонов... газовые маски сложной конструкции, явно приспособленные для защиты от неизвестных земной науке газов.

Не сразу, но понял, как зал решил проблему жителей... Их просто не было.

По улицам этого города не сновали прохожие. Бродячие собаки или кошки мимо меня не пробежали. Конные экипажи не проезжали. Не встретил я и других велосипедистов.

Солнца не было видно. Не было даже облаков. Мертвенная тишина заливала собой город как жидкий гипс — форму.

Попробовал, было, зайти в книжную лавочку... привлекли лежащие на витрине старинные фолианты и странные виньетки на переплетах. Треугольники, с вписанными в них квадратами.

Постучал в дверь, украшенную прекрасной резьбой. Розы, птицы, легавые собаки, охотники в рогатых шлемах...

Никто мне не открыл. Толкнул дверь, затем потянул ее на себя... Дверь не открылась. Она и не могла открыться. Дверь, дверная рама и наружная стена дома — составляли единое

и неразрывное целое. То, что я принимал за дерево и камень, не было ни камнем, ни деревом. Весь дом состоял из одного, неизвестного мне, твердого серого материала. Даже оконные стекла и стекла витрины были из него сделаны. Почему я это сразу не заметил?

Подошел к другой витрине... присмотрелся, пощупал фасад, дверь... и тут то же самое. Серый материал. Нечто среднее между металлом, деревом и пластиком. Осторожно лизнул и понюхал стену дома. Не почувствовал ни вкуса, ни запаха. Вот тебе и материализованная мечта! Стерильный слепок...

Я был разочарован, чувствовал себя обманутым. Идиот! Вообразил, что сейчас из-за угла выскочит и поманит меня за собой белый кролик или сам Льюис Кэрролл... Хм, коллега, вы, я смотрю, заблудились... не хотите ли принять в подарок первое издание «Алисы в Зазеркалье»?

— Зал в подземелье не твой друг. Как ты мог забыть об этом? Вообще не что-то, доброжелательно настроенное к человеку. Хорошо, если он не смертельная опасность, не мышеловка для таких как ты простофиль. Что же он такое? Кто его построил? Зачем? Как? А не все ли равно? Главное — он есть. И ты сейчас находишься в нем. И тебе давно пора подумать, как ты будешь выбираться из этого искусственного Оксфорда. В Москву. В твое советское Зазеркалье.

И тут я услышал музыку.

Какая-то неизвестная мне певица с низким голосом завораживающе хорошо пела песню в стиле рокабилли пятидесятых. Оркестр ласково ей аккомпанировал. На сердце у меня потеплело. Гитарные переборы заставляли тело ритмично вздрагивать.

А через несколько мгновений обрадовались и глаза. Музыка доносилась из хорошо — внешне и внутренне — освещенного дома на перекрестке. Дома явно сделанного не из серого материала, как все вокруг него. А из кирпича, камня, дерева и стекла. Крыша дома была покрыта красной черепицей.

Тысячи разноцветных лампочек украшали фасад. Внутри дома мелькали тени. Дом пах... как тридцатипятилетняя модница из провинции, приехавшая теплым весенним днем навестить свою парижскую кухню, ушедшую в отпуск по береженности.

Этот дом явно не старался что-то имитировать, он просто был... и как будто улыбался мне... не скрывая дружеской иронии... и я улыбнулся ему в ответ.

Рано обрадовался, конечно. Дом этот был сыром в мышеловке.

У входа стояли две девицы в черных цилиндрах и черных сетчатых чулках, соединенных резинками с черным же пояском. Больше на девицах ничего не было, если конечно не считать темно-фиолетовой помады на губах и такого же цвета лака на ногтях.

Девицы подбежали ко мне, обняли, расцеловали, взяли под руки и втолкнули в дом, затем провели меня по коридору, украшенному великолепной, то и дело оживающей лепниной, и ввели в салон, роскошное помещение без окон... с плюшевыми диванами, на которых вальжно раскинулись полураздетые красотки всех рас и возрастов, с обценными картинами на стенах и розовым фортепьяно в углу, за которым сидела макака в золотом фраке и вертела в лапах желтые очки. Потолок салона был обтянут посверкивающим голубоватым щелком. Пол — покрыт персидским ковром. Вместо люстры в середине зала висел небольшой мельничный жернов...

Никаких сомнений в предназначении всего этого у меня не возникло. Я попал в бордель! Никогда ничего подобного не видел. А в кино — видел только у Хусарика в его «Синдбаде».

Дамы недвусмысленно вызывающе смотрели на меня и посылали мне воздушные поцелуи... жестами приглашали подойти к ним и раздеться.

Я смутился... поскользнулся и упал прямо у ног хозяйки заведения, сидевшей в кресле эпохи рококо, — еврейки лет пя-

тидесяти. Нос ее напоминал старинный духовой инструмент, а губы походили на переспелые фиги. Ее ступни смахивали на копытца... Из глаз ее вылетали зеленые искорки... а изо рта, когда она говорила, выпрыгивали маленькие лягушки.

— Вы не ушиблись, дорогой Антон? Вставайте, вставайте скорее! Садитесь рядом со мной, сюда, прошу вас. Выпейте шампанского. Я так давно вас жду! Вы не поверите, несколько столетий. А вы все не появляетесь. В ожидании вас я потеряла все мои зубы.

Еврейка открыла свой большой рот и показала голые алые десны. Потом расхохоталась, вновь открыла рот — все зубы были на месте.

— Шутка, шутка, простите, не могла удержаться. Вы такой неловкий!

— Вы меня смутили...

— Вас? Не преувеличивайте, дорогой. Вы просто себя не знаете. Вас вовсе не так легко смутить... Монсеньор доволен вашей службой.

— Прекрасно. Ну что же, я здесь, можете начинать, любезный маркиз... что у нас в программе на сегодня? Избиение младенцев? Сожжение двадцати тысяч мучеников никомидийских? Радение хлыстов в ските под Красноярском? Или полет на Брокен?

— А что бы вы предпочли, Гарри?

— Полагаю, это вам и без меня хорошо известно.

КОМА

Узколицый, породистый, еще совсем молодой врач нахмурился и демонстративно медленно просмотрел мое электронное досье.

— Что ж, ваши соматические заболевания мы худо-бедно диагностировали. Попробуем вас подлечить. А что у вас с психикой? Каким вам видится окружающий мир, как вы себя в нем чувствуете?

— Мир? Мир от меня ускользает. Как песок в песочных часах. Жизнь уходит. Время течет в пять раз быстрее, чем в детстве. Я постарел и деградировал. Ничего не делаю. Лень. Ни с кем не общаюсь. Идеи больше в голову не приходят. А раньше сыпались с неба как метеориты в августе. Смотрю на алфавит на клавиатуре моего компьютера и думаю о смерти. А тут еще боли. Симфония.

— Да вы поэт... Не надо упиваться отчаянием. Сейчас всем не легко, не только пожилым и больным. Корона. Война. Инфляция. То ли еще будет... Кстати, у меня тут один пациент из комы вышел. Почти три недели пролежал после аварии на железной дороге. Помните, поезд сошел с рельсов под Нюрнбергом? Машинист заснул, вроде бы. Автоматическая блокировка не сработала. Черепно-мозговая травма... поврежден позвоночник... Тоже из России. Реабилитация ему трудно дается. Для гипнотерапии он еще слабоват. Чувствую, ему надо выговориться. Но я по-русски не говорю, а его немецкий... хм... еще хуже его английского. Может быть, вы с ним поговорите по душам? На родном наречии... Расскажите мне потом... Лежит он в отдельной палате. Номер 207. Можете прямо сейчас и пойти. Лифты там, за поворотом. Не забудьте смартфон захватить. Вы телефон нашего отделения помните? Звоните, если что.

Решил навестить этого человека. Исключительно из уважения к моему любезному и внимательному доктору. Интерес к судьбам других людей я давно потерял. Исповедальные излияния терпеть не могу.

Нашел его палату. Постучал.

Он лежал на больничной кровати и глядел в потолок. Голова забинтована, на шее бандаж. Капельница. Взгляд отсутствующий.

Кажется, мой ровесник.

Представился. Сообщил, что меня прислал доктор такой-то.

— Для того, чтобы вы могли поговорить со мной на родном языке. И поведать мне все ваши сокровенные тайны.

Глаза его ожили.

— Тайны? Какая забота! Страховка оплатит? Шутка, садитесь, прошу вас.

— Расскажите о себе.

— Охотно. Давненько я не брал в руки шашек... Никому не интересно... как в том анекдоте о похоронах Рабиновича.

Я узнал, что идейные родители назвали его в честь какого-то большевика. Что он родился и вырос в Москве, недалеко от МГУ на Ленинских горах. Там же учился и работал. Приехал в Германию с любимой женой в начале девяностых.

— Когда все уезжали.

Ходил на языковые курсы, но не пошло. Пытался устроиться научным сотрудником. Не вышло. Затем инженером на строительную фирму. Но его и рабочим не взяли. Пил, затем бросил. Жена ему изменила с молодым и представительным менеджером фирмы, в которой работала системной программисткой, он случайно об этом узнал.

— Как она могла лечь в постель с этим наглым прохвостом? Все менеджеры — наглецы. А гонора у них...

Развелся. Опять начал пить. Жил то тут, то там, у разных женщин. Мучил их и бросал. Они платили ему тем же. Нюхал кокаин. Искал постоянную работу, но так и не нашел.

— Эти высокомерные сволочи не хотели меня брать!

Пробовал — в компании других энтузиастов — начать новую жизнь... в Патагонии! Пасти овец. Сорвалось. Деньги группы украл организатор.

— И смылся, подонок. Если когда-нибудь его встречу...

Пришлось ему полгода батрачить у местного пейзажа.

— Тогда и познакомился близко с аргентинскими овцами. Знаете, они умнее, чем я думал...

Вернулся в Германию и неожиданно нашел работу в саду у какого-то нувориша. Жил в садовом домике. Жена нувориша...

— Была ко мне благосклонна. Несмотря на мой возраст и характер. Нувориш догадался, чуть не застрелил...

Кое-как дотянул до пенсии.

Спросил его об аварии.

— Я, как вы уже поняли, неудачник. На родине мотался... между небом и землей. Университет еле закончил. Работал спустя рукава. Всем, кому мог, испортил жизнь. И прежде всего — самому себе. Рисовал, лепил, пытался писать прозу... все фуфло. Воображал о себе. Хуже Манилова. Строил грандиозные планы. Генералы на мосту. Обыкновенная история. В Германии тоже ничего не добился. В Патагонии... об этом и упоминать стыдно. Да, а тут еще... этот дурацкий поезд. Железнодорожная катастрофа! Вот уж действительно — апофеоз жизни идиота. С нормальными людьми такое не происходит. Вагон этот паршивый. Помню, в нем нестерпимо пахло писсуарами. И чистящими средствами. Ненавижу химию. Пассажиры... Ехали мы ехали, а потом вдруг... заскрежетало как в аду, хлопнуло... вагон запрыгал как игрушечный заяц... Ударило что-то тяжелое в крышу. Как будто строительный кран на нас свалился. Это мы на большой скорости сошли с рельсов и опрокинулись. Я как будто потерял вес, затем и зрение, и слух... левитировал... В последний момент мысль проскочила: «Ну вот и все. Приехали тачанки... курым-бурым... А затем...»

— Очнулись в этой палате?

— Если бы так...

— А что же еще было, кроме тачанок?

— Вам что, на самом деле интересно?

— Да. Вы ведь пытались нашему доктору что-то рассказывать. А он ни черта не понял и послал к вам меня. Так что я весь внимание. Не стесняйтесь, прошу вас. Я ваш рассказ записываю на смартфон. Если вы не возражаете. Попытаюсь потом перевести доктору. А затем сотру запись. Честное слово!

— Валяйте, валяйте. Только предупреждаю... это личное. Ничего особенного.

— Мне все равно. Я для доктора стараюсь...

— В поезде была еще боль, кровь, борьба. Я изо всех сил пытался вылезти из-под трупов других пассажиров, их чемоданов и сумок. Помню, у меня по лицу ворона ходила, черная как смерть. Откуда она взялась? Помню лицо пожарника, спасшего меня. Оно светилось... походило на лицо ангела. Его слова поразили меня.

— Смотрите, кровавая каша. Этот кажется еще живой. Счастливчик.

Я — живой! Живой. Значит, еще не все кончено. Значит, мутная канитель моего немецкого существования продлится еще несколько лет. Радоваться или печалиться?

По дороге в больницу я чувствовал телом каждую неровность дороги, каждый камешек под колесами — любая встряска вызывала у меня невыносимую, пульсирующую боль в шее, на которую надели жесткий корсет, и в голове. Боялся, что не дотяну... В больнице врачи сделали мне компьютерную томографию, прооперировали наскоро, посоветовались и ввели в искусственную кому. Реальность упорхнула от меня как птичка. Решил, что умер.

Поначалу я висел, не чувствуя ни рук, ни ног в... скажем, в белом влажном тумане. Продолжалось это довольно долго, как долго точно я не могу сказать, потому что не с чем было сравнивать. Время и пространство исчезли. Исчезли люди, здания, деревья. Я попытался расслабиться, старался ни о чем не думать. Несколько раз засыпал и просыпался. Все в том же влажном тумане. Но это состояние не было сном и бодрствованием. Забытье. Отрешенность от всего. Ничто.

Но вот, я снова очнулся, но уже не в тумане, а в бабушкиной спальне, в ее и дедушкиной квартире в университетском доме, построенном в стиле «сталинского ампира», на кровати из карельской березы. У меня был жар, першило в горле, я почти не мог глотать.

Понял, что галлюцинирую, что меня забросило в год 1972-й, когда я, шестнадцатилетний школьник, несколько раз тяжело болел ангиной.

Бабушка сидела рядом со мной, меняла мне холодный компресс на лбу. Компресс мне не помогал, только мешал. Я пытался спихнуть его со лба. Но бабушка терпеливо клала его обратно.

Мерила мне температуру. Потом, глядя на ртутный термометр, тихо сокрушалась: «Опять сорок и пять. Уже три дня не спадает. Ах, гулик, гулик...»

Я узнал каждую морщинку на ее добром лице, опухшем из-за длительного приема преднизолона, единственного тогда средства от бронхиальной астмы. Узнал звуки ее свистящего дыхания, ее кашля. Узнал ее седые, поредевшие от старости, великолепные когда-то, курчавые волосы. Узнал ее голос и запах.

Узнал трельяж, нефритовые и фарфоровые фигурки на нем, которые мой покойный отец привез из Китая, узнал шкаф из той же карельской березы, узоры которого напоминали мне в детстве сплетающиеся обнаженные женские тела, узнал вишневое пианино Петроф, заменившее старенький Бехштейн, на котором бабушка несколько лет безуспешно пыталась научить меня играть на фортепьяно.

Узнал фотографии на стенах и вид из окна. Узнал книгу в пестрой обложке на тумбочке. Это была «Лолита» по-французски.

Узнал даже старые бабушкины тапочки.

Казалось бы, галлюцинация не может быть таким буквальной, детализованной.

Или это была не галлюцинация, а что-то другое?

Душа моя болела. Я был переполнен жалостью и любовью к этому давно исчезнувшему миру, к давно умершей бабушке.

Неотвязная мысль жалила сердце как оса. Как ты мог тогда бросить и бабушку, и дедушку, и маму? И немногих своих близких друзей. О чем ты думал? Что превратило тебя в эгоистичную скотину? На что ты надеялся? На карьеру на Западе? Ты даже пастухом в Патагонии не смог стать, ничтожество. Самовлюбленный кретин. Отомстил родным и близким за собственную слабость. Бросил умирать в Совдепии все, что тебе было дорого. Ради чего?

В судорогах раскаяния и невыносимой душевной муке схватил бабушкину руку, поднес ее к губам. Целовал ее ладонь, целовал и рыдал.

Бабушка крикнула деду: «Миша, он плачет. Что же нам делать? Позвони Марии Абрамовне, прошу тебя».

Затем мое подсознание смилостивилось надо мной...

Меня опять унесло в белый туман. В пену несуществования. А когда я проснулся...

Декорации остались прежними, но времена изменились. Бабушка превратилась почему-то в мою подружку Олечку, разделась и села на меня верхом.

Я все еще лежал на кровати из карельской березы.

Но мне было уже восемнадцать. Ангины больше меня не терзали, потому что несколько месяцев назад мне вырезали гланды в одной из Градских больниц на Ленинском проспекте. Опытная врачиха возилась минут сорок. Я запомнил только то, что кровь, эта красная лава, лилась из меня как вода из крана. Только медленно.

На дворе жаркий московский июль. Бабушка и дедушка отдыхают в санатории в Переделкино, я живу один в их двухкомнатной квартире на Ломоносовском... наслаждаюсь свободой... и изо всех сил пытаюсь затащить в постель свою застенчивую подружку Олечку, студентку экономического фа-

культета, стройную, нежную, преданную, с которой часами целуюсь в университетском парке каждый вечер. Мы целуемся, обнимаемся и влюбленно воркуем. Но этого мало, мало.

И вот... наконец... Мы, молодые, красивые, голые — в бабушкиной кровати.

Рай на земле?

Как бы не так.

Длинные льняные волосы Олечки падают на маленькую, прекрасной формы грудь, пахнущую розами. Аккуратненький животик украшен снизу рыжей опушкой. Очаровательная талия. Узкие бедра.

Ее руки — в моих руках. Ее близорукие карие глазки моргают от волнения.

Я уже пять минут изо всех сил пытаюсь воткнуть мой вставший член туда, куда полагается. В созданные для него природой в женском теле ножны. Но Олечка этого явно не хочет, ёрзает задом... она боится забеременеть, боится стать взрослой женщиной, боится ответственности.

Ничего у нас не выходит...

В отчаянии я кричу Олечке — и всей вселенной — что-то грубое, оскорбительное. Глаза моей любимой вспыхивают, лицо искажается гневом, маленькие крепкие ручки лыжницы сжимаются в кулаки. Она отталкивает меня, вспархивает с постели как испуганная бабочка с цветка, мгновенно одевается и убегает. Бешено хлопает входной дверью, страшно пугая этим рыхлую и трусливую соседку с варикозными венами на ногах, как раз выходящую из лифта. Возвращающуюся из булочной и молочного. С двумя полными сумками, из которых вылезают зеленые крышечки бутылок кефира и уголок упаковки вафельного торта, нашего советского деликатеса.

А я остаюсь один на один со своим разочарованием, со своим возбуждением. С тоской по женщине. Со своим острым кинжалом. Тупить который мне уже который раз приходится самому.

И опять меня гложут мысли как волки ягненка.

Как легко ты тогда оскорбил эту девушку! Оскорбил и безжалостно выкинул из своей жизни. И теперь каждый раз,

когда тебе одиноко и грустно ты вспоминаешь не тех милых женщин, с которыми ты годами кувырчался в постели и наслаждался всеми возможными видами плотской любви, а эту близорукую лыжницу с льняными волосами. Она была так нежна с тобой. В университетском парке. Мы так сладко целовались. Как сложилась ее жизнь? Жива ли она? Или от нее осталось только твое воспоминание? Твоя тоска.

Я вижу, вы приуныли. Ожидали ужастик, а получили — мелодраму и нытье. Я вас предупреждал. Впрочем, будет вам и ужастик. Продолжать?

— Естественно. Я привык к вашему стилю...

— Ну что же, если вы еще не сыты по горло... Следующее мое пробуждение не было похожим на первые два. В этом новом мире царил беспросветный ужас.

Очнулся я... в пещере. Я лежал — в очень неудобной позе — на ее холодном и неровном каменном полу. Затекшие мои руки и ноги были крепко связаны грубой толстой веревкой. Так, наверное, связывают в деревне свиней, перед тем как перерезать им горло.

Я был одет... не сразу это осознал... в форму советского солдата. Грязную и рваную. На ногах — кирзовые сапоги.

Рядом со мной валялись еще несколько солдат. Многие были ранены, они стонали, матерились, просили воды.

Сцену освещали две керосиновые лампы, стоящие в топорно вырубленных в глиняных стенах нишах. Лампы коптели, воняли. Мне казалось, что по пещере летают летучие мыши. Издалека доносились крики и взвизги.

— Там у них пыточная, — негромко сказал здоровенный блондинистый солдат, лежащий рядом со мной. Показал головой направление.

Я спросил его:

— Где мы?

— А кто знает. Меня так избили после боя, что я чуть ни целые сутки провалялся без сознания. Везли куда-то нас духи долго. В тыл, полагаю, через перевал, подальше от наших. Теперь будут кишки тянуть...

— В какой мы стране?

— Ну ты даешь, чувак. По голове тебя не били? В Афгане мы.

— Год какой сейчас?

— Слышь, пацаны, он и год не знает. Оторвался по полной. Тебе ничего не вкалывали? Говорят, у духов лекарство есть специальное, американское, человека в зомбака превращает. Зомбаки эти у душманов вроде рабов. Восемьдесят второй год.

Что за вздор? Я никогда в Афганистане не был. Войну эту не поддерживал. Осуждал даже.

Внутренний голос прошептал мстительно: «Не был, не поддерживал, осуждал, но никогда, никогда и нигде ничего не сделал, чтобы остановить эту бойню. Даже вслух ничего не сказал. Все десять лет молчал. Трясся».

— Молчал, как все молчали.

— Все нас не касаются, но ты, ты... никогда и ничего. Даже шёпотом не протестовал, не то, что там... на Красной площади. Даже дома об этом говорить боялся.

— Да, нас так запугали.

— Запугали... Запугали, потому что вы разрешили себя запугать. И от молчания вашего вы даже особый кайф славливали. Радость от собственной гнусности получали. Вроде как купались в чужой крови.

К нам подошли несколько моджахедов с большими черными бородами. В темных халатах и характерных шапочках. В их глазах я прочитал смертный приговор всем нам, неверным собакам. Сердце у меня ушло в пятки. И не зря.

Ни слова не говоря, они распорили животы одному за другим всем связанным советским солдатам своими кривыми ножами, а затем отрезали головы.

Когда мне резали живот, я кричал что было сил. Мой блондинистый сосед не издал ни звука.

Когда мне отрезали голову — кричать я уже не мог.

* * *

Тут я прервал моего собеседника. Не было сил дальше слушать. Поблагодарил и ушел.

Доктору переводить его рассказ не стал. Не хотел его мучить карельской березой, льняными волосами и кривыми ножами. Сказал только: «Похоже, вашего пациента попросту замучила совесть. Редкое явление в наше время».

Молодой врач поднял и опустил свои узкие брови, укоризненно покачал головой и пожал плечами. Ему тоже было все равно.

Пациента из палаты 207 выписали недели на две позже чем меня.

ПОЗОЛОЧЕННАЯ РЫБА

Нас было трое. Трое?

Да, Лео, Кролик и я.

Странно. Я забыл, как они выглядели. Мои спутники. Лео и Кролик.

Хотя... может быть у них и вовсе не было внешности, как у большинства моих друзей в социальных сетях до катастрофы?

Кем для меня были Лео и Кролик? Не знаю.

Их настоящие имена давно стерлись в памяти.

Помню только, что... мы, все трое, были скептиками... с налетом гедонизма. И это нас объединяло. Скептиками и эскапистами.

Ну да, у Лео были большие печальные глаза. Как у лошади.

А у Кролика... Большие уши? Нет.

Кажется, он был белый, как молоко. Или бежевый.

Память моя — островки. Островки, заросшие полынью.

Не могу вспомнить, как звучали их голоса.

И характеры их я позабыл.

Характеры... Что это такое, вообще, характер? Сохранились ли у людей, выживших в катастрофе, характеры? Свойства? Склонности? Есть ли у них воля к жизни? Планы? Фантазии? Страстные желания?

У моих спутников, наверное, сохранились, а у меня нет. Все размылось. И характер, и воля, и желания. Нет ни планов, ни фантазий. Остались только страхи.

Лео, тот прежде любил кофе. Когда он пил кофе, глаза его умиротворенно мерцали. И он тихонько ржал и томно потягивался.

А Кролик... что любил старина Кролик?

В былые времена он любил лакомиться муссом из маракуйи. И рассуждать о политике. Делал безумные прогнозы. Надо отдать ему должное, он предсказал катастрофу лет за пятнадцать до того, как она произошла. Мы все чувствовали ее зловещее приближение. Людей стало слишком много. Все повторялось. Угроза уже висела в воздухе. Угрозой этой были мы сами. Но мы прятали голову в песок, а Кролик не прятал. Наоборот... бил во все колокола. Над ним смеялись, издевались, называли его тирольской Кассандрой (он говорил, что родился в Тироле).

И чем сильнее обвинителей Кролика терзало чувство обреченности, тем с большим удовольствием они травили его. А ему было все равно.

Или он любил мусс из тамарилло? Забыл. А ведь мы часто обедали вместе.

На столах лежали чистые скатерти с вышивками и кружевами по полям. Свет от многочисленных светильников преломлялся в хрустальных бокалах и неспешно скользил по серебряным приборам. Свет отражался от позолоченных фарфоровых тарелок и слепил нам глаза. Шампанское лилось.

Официанты старались исполнить любую нашу прихоть.

Однажды нам подали позолоченную рыбу. Ее зеленые глаза были сделаны из малахита, а ее вырезанные из яшмы розовые плавники нервно подрагивали. Рыба эта то и дело открывала свой безгубый рот и восклицала: «Оккама... Оккама...»

Кролик на это реагировал так: «Даже глупая рыба понимает, что не стоит множить сущности».

И подмигивал мне. Много лет назад я имел глупость объявить, что собираюсь написать роман в стиле Анны Радклиф. Кролик постоянно иронизировал по этому поводу. Называл меня «великим компилятором», причитал, издевательски растягивая слова: «Деревья отбрасывали меланхолические тени, а полная Луна была похожа на лицо прокаженной старухи. Эмилия, о, нимфа, тебя ждут при дворе Генриха Наваррского...»

В другой раз к нашему столику подошел одетый в парадную форму адмирал. Бородач с эполетами, аксельбантами и с кортиком на боку. Вежливо нас поприветствовал и... начал раздеваться. Оказалось, это профессиональный стриптизёр из клуба «Могул» неподалеку. Его номер оплатил Лео. Адмирал должен был стать сюрпризом для Кролика, отмечающего в тот день мнимые именины.

В конце того вечера Кролик и адмирал устроили голую пляску на столиках. До смерти испугали жующих и пьющих пиво бургеров. Вызвали полицию. Дежурный офицер, разобравшись в чем дело, посмеялся в кулак, успокоил и выпроводил публику, команду свою отправил назад в участок, выпил бутылку виски из горлышка, предложенную ему Кроликом «для разогрева», разделся и сам полез на столик — танцевать. Тут выяснилось, что он — женщина-кенгуру из Эдемского сада в Новой Гвинее. Радости Кролика не было границ.

Лео как обычно зевал и привередничал.

А я уединился в интимном уголке с одним сексапильным созданием, капризом природы. Мы играли с ним в «бегемота и мышонка», периодически меняясь ролями.

Да, все прошло. Где теперь валяются эти скатерти, ложки с гравировкой, вилки и ножи с вензелями? Где мейсенские тарелки? Где экзотические фрукты, ароматные супы, свежее мясо?

Где позолоченная рыба?

Где теперь раздевается адмирал?

Сейчас я был бы рад найти на помойке хоть корочку белого хлеба. Заплесневелую и пахнущую гнилью. Все-таки — напоминание о прежней жизни. Но за полтора месяца наших блужданий мы и корочки белого хлеба не нашли.

По всей Земле царила мерзость запустения.

Если бы не искусственное, пахнущее бензином, но съедобное «мыло» греев и не маленькие флажки с невкусной жидкостью с металлическим привкусом, контейнеры с которыми они сбрасывали со своих монструозных летательных

аппаратов, все уцелевшие в катастрофе жители Земли давно умерли бы с голоду или от жажды. Не знаю, распространялась ли благотворительность греков на животных. Я давно не видел ни одной собаки или птицы. Вероятно, все они погибли.

Я называю это событие катастрофой, потому что не нахожу более подходящего слова. Что это было на самом деле, я не знаю. Преобразование... метаморфоза нашего земного мира.

Мы не слышали и не видели никаких взрывов, не было ни землетрясений, ни смерчей, ни цунами, ни бурь, ни наводнений. Супервулканы не извергались. Ни в Йеллоустонской кальдере, ни в Флегрейских полях в Неаполе.

Что же произошло?

Мы трое сидели в гостиной на вилле Лео, стены которой были оббиты голубоватым с золотыми звездами шёлком. Собирались попробовать свежие персики. И вот... как раз когда я откусил приличный кусок душистой плоти и успел насладиться прыснувшим во рту соком, Лео зевнул, а Кролик пригубил бокал Бордо и глотнул — свет в торшерах померк, а мы потеряли сознание. Я успел заметить, что Лео смешно задержался, а Кролик опрокинул бокал на себя, и вино окрасило кровью его элегантный светлый пуловер. Персик вырвался из моих рук, упал на ковер и покатился... В этот момент все окончательно померкло.

А когда мы очнулись... сразу стало ясно, что произошла катастрофа. Мы лежали на покрытом фиолетовой пылью поле... непонятно где.

У нас болели головы, мышцы, кости. Мне показалось, что мое тело отказывается вести себя так, как ведет себя тело человека. Что все его клетки, ткани, внутренние органы испытывали шок.

Одеты мы были в темные пижамы. Поверх пижам — старомодные пальто, на рукавах которых были выжжены номера. На ногах у нас были тяжелые ботинки, вроде туристических, топорно сделанные. На головах — грязные вязаные шапочки. Тоже с номерами.

Никаких следов виллы Лео — руин или хотя бы фундамента мы не обнаружили.

Пропала не только его вилла, но и все предместье, и наш город... не только постройки человека, но и холмы, река, деревья, кусты, цветы — все исчезло.

Землю покрывала фиолетовая пыль.

Только одинокая башня торчала на горизонте.

Солнце, наше веселое солнышко, скрылось с небосвода. Наступили вечные сумерки.

Кролик огляделся, щелкнул языком и проговорил: «Вау...»

А Лео спросил, нет ли у кого-нибудь случайно аспирина.

Когда-то мы все делили по-братски. Лео открыл для нас свой счет в банке «Амбассадор».

После катастрофы все как-то скукожилось. И мир и мы сами. Теперь мы — каждый за себя. И нам приходится ждать подвоха не только от окружающего мира, но и друг от друга.

Недели две назад Кролик ткнул Лео в зад острым металлическим трезубцем с длинным древком. Где он его взял?

Лео громко завизжал, схватился за больное место, изогнулся как питон и попытался зализать ранки, а наглец Кролик рассыпался в извинениях и демонстративно кинул трезубец в грязевую речку. Как копье. Позже он заверил меня, что не хотел причинять Лео зла и уколол его трезубцем «автоматически». Я поверил ему.

А Лео укусил меня за ухо. Прокусил мочку и ушную раковину.

Мы устроились на ночлег на вонючих мешках в полуразвалившемся сарае, пригрелись, я только-только заснул.

Укусил, а потом склонил голову и так грустно посмотрел на меня своими огромными глазами, что я тут же простил его. И даже не отомстил. Тогда. Но позже припомнил. Когда мы шли по краю нефтяного болота, отливавшего всеми цветами радуги, я слегка толкнул его, и Лео потерял равновесие и шлепнулся в зловонную трясину. Нет, она не засосала его... он

так потешно кричал и неловко хватался своими большими руками, похожими на собачьи лапы, за тяжелую, раздвоенную на конце палку, которую мы ему протянули.

Я сделал вид, что мне жалко друга. И мне, как это часто бывает, и в самом деле стало его жалко. Я даже обнял его потом, утешил и помог ему оттереть речным песком пальто от грязи.

Вы спросите, почему же мы все еще шли втроем? Почему не разделились?

По привычке. Ведь мы были знакомы еще с университетских времен.

Иногда мне кажется, что и Лео и Кролик — не существуют. Что они — только проекции. Мои проекции. Проекции, ставшие зачем-то самостоятельными личностями.

До катастрофы мы регулярно отдыхали втроем на средиземноморских курортах. Купались, загорали, играли в карты. А по возвращении в город ходили вместе в кино, в театры и на концерты. Вечера проводили на вилле у Лео. Выпивали, беседовали, имитировали известных политиков, злословили, хохотали. Плавали в подземном бассейне. Уединялись в спальнях с оплаченными Лео гетерами и кинедами.

Мы уже давно не работали. Кролик и я не были богаты, но не хотели гнуть спину как обычные люди — вечные рабы прибыли, спонсоров и начальников. Получивший в наследство огромное состояние Лео щедро помогал нам. Никто из нас и не думал обременять себя семьей. Зачем? Жизнь и так коротка и абсурдна. И жестока. И кончается известно чем.

Кролик жил в бывшей конюшне виллы Лео, которую он сам отремонтировал и перестроил на свой вкус. Лео оплатил только работу электриков, сантехников и краски. А я ютился в небольшой квартирке на окраине города, которую купил когда-то на первые гонорары. В гости к Лео и Кролику ездил на велосипеде «Диамант». На вилле у Лео у меня была собственная спальня. Там я ночевал когда напивался.

Все пропало. Мой велосипед пропал.

Пропал многоквартирный дом, в котором на третьем этаже находилась моя квартира.

Пропала вилла. Пропала и ее бывшая конюшня, и моя спальня.

Мы больше не хохочем. Чаще всего мы молчим.

О чем нам говорить? О будущем?

Его у нас нет.

Да, нас было трое.

Мы бродили по бывшим окрестностям города... Встречали разных людей. Все они были одеты также как мы. И мужчины и женщины. У всех были номера на рукавах пальто и на шапочках. Детей мы не видели. Почему — поняли позже.

Изредка встречали старых знакомых. Встретили Часовщика. До катастрофы его фирма производила известную всем в Европе марку механических наручных часов. С синим циферблатом, серебряными стрелками и сапфировым стеклом. И, не смотря на заоблачную цену своей продукции, процветала.

Мы не раз бывали в его мастерской, расположенной на склоне покрытого виноградниками холма недалеко от Женевы, и дивились работе его подчиненных. Лео покупал там часы и дарил их нам или официантам, продажным женщинам, таксистам, жокеям...

Часовщик принимал нас по-королевски, угощал собственными винами, как-то особо приготовленным его поваром бламанже и трюфелями.

Грустно было смотреть на него, небритого, поседевшего, с грязными обкусанными ногтями и подбитым глазом, в оборванном пальто.

Сначала он не узнал нас, а когда узнал, захныкал и забормотал: «Тью-тью-тью... Господи, что стало со всеми нами? Куда все пропало, может быть вы знаете, барон? Тью-тью... Что, черт возьми, происходит? Где моя мастерская? Где виноград-

ники? Кому помешали мои хронометры? Тью... Где Женевское озеро? На его месте — непроходимое болото. В нем даже лягушек нет. И, черт возьми, куда делись Альпы?»

Лео обнял его и попытался утешить. Но Часовщик не успокоился... продолжал терзать нас вопросами. Затем он замолчал, вытер нос рукавом пальто, плюнул себе под ноги, и, истощно воя, на всех четырех умчался от нас. Как испуганная обезьяна.

— Вау, — провозгласил Кролик. — Бедняга кажется спятил.

— И он, и мы все, — добавил Лео.

— Часовщик прав, где, черт возьми, Альпы. Озеро могло и обмельть, превратиться в болото, но Альпы...

— Тью-тью-тью, — промурлыкал Кролик.

Мы пошли дальше.

Неожиданно мы наткнулись на Астронома. Он стоял и внимательно рассматривал какой-то камень в руке. Увидел нас и кивнул, так буднично, естественно, обыкновенно... как будто мы встретились не на покрытой фиолетовой пылью Земле после катастрофы, а в студенческой столовой в перерыве между лекциями.

Кивнул и тут же заговорил.

— Когда это случилось, я не работал, а показывал в саду сыну Сатурн в наш домашний Кессегрен. И представляете... навожу я на резкость... и вдруг... Сатурн превращается в какую-то мерзкую рожу. И эта рожа показывает мне язык. И тут меня как будто ветром сдуло. И несло и несло... очнулся я тут. Где мои — не знаю. Даже следов моего дома не нашел. И еще... не знаю, что вы думаете обо всем этом, мне кажется, что я сплю, что все это... сон. Кошмар и больше ничего. Я не силен в геологии, но... верьте мне, мы не на Земле. Да, не на Земле. Вы не задумывались о том, где Солнце. Куда оно делось. Почему нет ни дня, ни ночи? Это театр какой-то...

Мы не успели ему ответить. Потому что Астроном ушел, не попрощавшись. Зашагал как робот прочь. И быстро пропал.

— Еще один псих. — констатировал Лео.

— Может быть, мы на Сатурне? Только вот, где кольца? — нелепо сострил Кролик, посмотрел на свои длинные пальцы и рассмеялся.

Я промолчал. Вспомнил посещение обсерватории. Астроном был спокоен, горд за свое хозяйство, поглаживал бока своих огромных телескопов и пытался объяснить нам, где находится Великий Аттрактор и что такое темная материя и темная энергия.

Похоже, тут, на этих бескрайних полях, покрытых фиолетовой пылью, я это наконец понял.

Загадку номеров на рукавах и шапочках помог разгадать другой встреченный нами старый знакомый, бывший сосед Лео, старик Барбарис. Так его звали, потому что весь свой участок он засадил кустами барбариса, из плодов которого изготовлял превосходный мармелад, нежно пахнущий лимоном и грушами. Барбарис владел клубом «Флорида», заведением с плохой репутацией, в которое мы тем не менее иногда заглядывали. Когда хотели развлечений погрязнее. Там я познакомился с цирковой группой, состоящей из румынских лилипуток. Девушки эти были не только мастерицами пограничного сладостолубия, но и гимнастками, жонглёрами и фокусницами. Одна из них смогла прямо на глазах у зрителей превратить католического монаха в крысу.

Барбарис разгуливал не один, а с тремя миловидными дамами. У меня создалось впечатление, что он жалеет не о потерянной «Флориде», не о городе, не об Альпах, а только о своем барбарисовом саде.

Всеведущий Барбарис поведал нам, что номера на рукавах пальто и на шапочках — это места в очереди на посадку в космические корабли греев, совершающие челночные рейсы между Землей и планетой X.

Посадка эта будто бы осуществляется на крыше башни, бывшей гостиницы, единственного уцелевшего здания в нашем регионе, над которой все время парят антигравитационные аппараты греев.

— Вы конечно близко к башне не подходили? А следовало бы. Там очередь... спиралью... толщиной человек в шесть и длиной километров в тридцать. Все хотят улететь отсюда. На планету X.

Планета эта вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Эту планету греи якобы нашли и оборудовали специально для людей. Сутки там составляют — 24 земных часа. Год длится 400 дней. Мягкий климат. Луна отсутствует. Планету X, так же как и Землю до катастрофы, омывают океаны, но приливы и отливы на побережье там почти незаметны.

Барбарис с жаром рассказывал нам о том, что законы природы на этой планете не похожи на земные, что пространство, время и сама материя подчиняются там воле живущих на ней существ... Говоря проще — каждый из новых переселенцев с Земли сможет жить там в мире, который пожелает. Достаточно его представить и захотеть, чтобы он возник. Впрочем, горько заметил Барбарис, на этот счет есть различные мнения.

Не растерявшие свои религиозные убеждения земляне будто бы верят, что греи — на самом деле — ангелы Господни, что на планете X праведников ждет рай, а грешников — ад.

Другие, утверждал Барбарис, верят в то, что планета X — не что иное как колоссальная лаборатория, в которой греи проводят над людьми свои зловещие и болезненные эксперименты.

А неисправимые скептики якобы убеждены в том, что никакой планеты X не существует. И что греи собирают землян для упорядоченной утилизации и переработки на галеты. Им будто бы надоело есть искусственную пищу...

А висящие над башней аппараты — на самом деле гигантские мясорубки.

Сказав это, Барбарис неприятно захихикал, а его дамы потупились.

Расставшись с Барбарисом, мы стали прикидывать, когда подойдет наша очередь на отлет. Получилось, что самое раннее — через четыре месяца.

Кому верить, что делать все это время — мы не знали. Идти было некуда, везде было одно и то же. Поэтому мы просто шатались вокруг да около, стараясь не слишком далеко отдаляться от башни.

Во что верили мы?

Я не верил ни во что. Навсегда остаться на разрушенной до основания Земле — мне тем не менее не хотелось. Никто не знал, сколько времени греи будут нас кормить и поить. Надо было улетать. А вась попаду в мир, в котором есть хотя бы душ, туалеты и туалетная бумага.

Кролик — в прошлом большой любитель научно-фантастических романов — верил в планету-лабораторию. Но надеялся на добросердечие греев. Он рассуждал так: «Не могут столь высоко технически развитые существа просто так устроить остров доктора Моро на чужой планете. Духовное их развитие наверняка не отстало от материального. Это ведь они нас кормят и поят, а не мы их. Греи возможно нуждаются в нашем генетическом материале, ну так дадим его им, а они нам взамен подарят новую планету».

Немногословный обычно Лео отвечал Кролику так: «Будь я на месте греев, я бы десять раз подумал, прежде чем тащить нас в новые миры. Землю мы уже испоганили, испоганим и планету X. Да и греям, если когда-нибудь наша возьмет, недобровать. Мы их самих на галеты переработаем. Надеюсь, они это понимают».

Неожиданно меня осенило. В голову пришла мысль, заставившая меня содрогнуться.

— Мы за деревьями не увидели леса. Все гораздо проще. Проще и страшнее. Мы уже не на Земле. Прав Астроном. Мы на этой треклятой планете X. Греи как-то ухитрились всех нас сюда перетащить. Разумеется, тут нет Альп. Нет мастерской и виноградников Часовщика, нет барбарисового сада. И не может быть. Тут ничего нет, кроме остатков какой-то прежней цивилизации. Мы в аду, поздравляю вас.

Спутники мои удивительно спокойно отреагировали на мое откровение.

Кролик заметил стоически:

— Поздравление принято. В аду, так в аду. Обойдемся и без Альп и без барбарисов.

А Лео добавил:

— В этом мире почти все уже уничтожено. Деревья не растут, зверей нет, даже насекомые исчезли, одни руины и фиолетовая пыль... Убивать некого... Значит мы будем убивать друг друга. Это не ад, это огромная арена, а мы тут — гладиаторы. А греи, наверное, готовят многочастную теле-трансляцию на всю галактику. Кролик, там, где ты нашел трезубец, было и другое оружие?

— Да, там валялись мечи и копья.

— Вот видите. Погодите, скоро наши хозяева завезут сюда экзотических животных. Саблезубых тигров, мамонтов, гиппопотамов... может и динозавров воскресят. А для придачи шоу особой пикантности притащат сюда высшие духовные достижения человечества — куклу Чаки, Лепрекона, Фредди Крюгера, Чужого и Майкла Майерса...

Последующие события подтвердили его правоту.

Через несколько часов после этого разговора мы услышали приближающийся топот... мимо нас промчался, пыхтя, исполинский носорог. Носорог нас явно не заметил или заметил, но решил не прекращать свой бег из-за таких незначительных существ как мы.

Через полминуты примерно мы поняли, что носорог спасался бегством. Его преследовало уродливое чудовище, по размеру — раза в три большее носорога. С зубастой пастью, как у лангольеров в известном фильме, и телом, напоминающим полосатую подводную лодку. Но на шести волосатых лапах. За чудовищем неслись уже какие-то и вовсе невообразимые создания.

— Вау! — дежурно отреагировал Кролик, когда все стихло.

— Я же говорил, — пронудил Лео и горько посмотрел на меня своими огромными глазами.

Еще через день мы натолкнулись на следы побоища.

Какая-то зверюга растерзала группу, похожую на нашу. От людей остались одни ботинки и окровавленные ступни с торчащими из них костями. Все остальное, по-видимому, сожрал зверь. Вместе с одеждой. Все вокруг было забрызгано кровью. Душераздирающая картина.

В нескольких сотнях метров от побоища мы обнаружили большой открытый ящик, в котором лежали прямые и изогнутые мечи, копья, шлемы с плюмажами и щиты. Все это явно предназначалось для нас.

Лео и Кролик в шлемах, с мечами и щитами в руках. Мурмиллон и фракиец. Гротеск.

Стало ясно, что следующими жертвами будем мы. Если конечно не произойдет что-то экстраординарное. Странно, приближающийся конец нас не испугал. Почему?

Одна мыслишка не давала мне покоя.

А что, если не все то, что поведал нам старик Барбарис было ложью. Что если он рассказал нам кусочек правды? Разжевал и в рот положил, а мы этого не заметили.

Что если то, что он говорил про миры на планете X, — не было враньем?

Проверить это можно было чрезвычайно легко. Представить себе, например, виллу Лео и нас в ней до катастрофы, пожелать все это восстановить и посмотреть, что из этого выйдет.

Поделился идеей с моими спутниками. Спросил их прямо, хотят ли они, чтобы я попробовал воссоздать наш старый мир. С виллой, голубым шёлком на стенах и персиками.

Кролик согласился, но почему-то без особого энтузиазма: «Валяй, что мы теряем».

А Лео добавил: «Может быть придумаешь что-нибудь поинтереснее, чем моя вилла? Тут конечно жизнь собачья... и закончиться она может быстро и не безболезненно. Но наша прежняя жизнь была не хороша... и тянулась бесконечно. Имитация счастья... Подумай».

Поначалу я удивился, а потом вдруг заподозрил, что эта планета, покрытая фиолетовой пылью, вместе с проклятой

башней и носорогом — это мир-антипод, который пожелал и создал Лео. Может быть и бессознательно. Потому что пресытился прошлой жизнью. А Кролик... это понял, но перечить Лео не стал. Не стал перебивать его фантазию своей.

Пора было показать, кто в доме хозяин.

Я решительно втянул в себя мои проекции. Лео и Кролик послушно заняли свои обычные места в моей голове.

Вернулся к ящику с холодным оружием. Сбросил пальто и шапочку, напялил шлем с плюмажем, взял в левую руку щит с мордой льва, а в правую короткий меч-гладиус.

И — внутренне — вызвал всех чудовищ этого мира на поединок.

Через несколько секунд я услышал вокруг себя злобное рычание.

С одной стороны ко мне подошел человек в маске хоккейного вратаря. В руке его был нож. С другой приблизился черный как дьявол Чужой и высунул изо рта свою стальную челюсть.

ПРОГУЛКА

(очерк)

Предупреждаю, в этом печальном повествовании нет ни инопланетян, ни зомби, ни серийных убийц. Вообще никаких убийц нет. Нет и отрезанных голов или ног.

Или есть? Посмотрим.

Единственный персонаж — я, автор, рассказчик. Лишний человек. Состарившийся, нездоровый, скучный и нудный тип. С претензиями. И толстяк. В общем — ноль без палочки.

Время — около девяти утра, август. Место — Хоэншёнхаузен, спальный район в бывшем Восточном Берлине. Северо-западное продолжение небезызвестного Марцана.

Если бы я был романтиком, то назвал бы этот район, эту конструкцию из аккуратненько, ровно поставленных панельных зданий эпохи немецкого социализма — вторым и главным персонажем моего очерка, но я не романтик, а реалист, поэтому остаюсь в гордом одиночестве. Хотя в моих текстах можно, при желании, заметить умеренный антропоморфизм.

На улице еще не жарко. На небе — жиденькие облачка. Белесые и сизые. И в полосочку. Похожие на стиральные доски моего московского детства.

У моей няни были вечно стерты в кровь пальцы. От стирки. Она их сосала и дула на них, но боль не проходила. У няни было несчастное лицо. Ей было шестнадцать лет. Она тосковала по оставленным в Удмуртии родным. Спала на раскладушке в кухне. Когда других взрослых не было рядом, я дразнил ее дурой. В лицо. Смеялся над тем, как она говорит по-русски. «Этот корова ест трава».

Теперь я и сам попал в ее положение. Как ни стараюсь, а правильно употребить немецкий артикль не могу. Да и с окон-

чаниями часто путаюсь. Ни одной немецкой фразы не могу сказать без ошибки, а то и двух или трех...

Чувствую себя невежественным пугалом. Дурнем. Болезненно реагирую на замечания со стороны моей подруги. Хотя сам же и напросился.

— Поправляй меня, я хочу улучшить свой немецкий.

Мой немецкий не улучшился, но моя подруга своими придирками меня замучила. Добросовестная немка. Делает то, что ее попросили.

Облачка эти — слабая защита от палящего Солнца. А мне нужна защита, чувствительный стал как мимоза, могу и в обморок упасть на солнцепеке.

Да, да... нынче многие русские слова изгажены. Например, «Солнцепёк» — это советская машина-установка, запускающая термобарические ракеты, сжигающие все живое и неживое в радиусе четырех километров. Применялись эти установки и в Афганистане, и в Чечне, и в Сирии. Сколько жизней погубили! А теперь путинские орки палят «Солнцепёком» по Украине. Какой стыд! Какая гнусность!

Мысленно прокладываю маршрут прогулки. И шагаю потом в тени одиннадцати— и пятиэтажных домов.

Когда я жил недалеко от Моабитской тюрьмы, часто гулял вдоль главной берлинской реки Шпрее. Проходил мимо здания Технического Университета, шел к улице Курфюрстендамм. Заходил там в многоэтажный книжный магазин, напротив Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, где подолгу сидел и листал книги об искусстве. Эрнст, Ман Рей, Пикабиа... Магазин этот давно закрыт. Интернет потихоньку сжирает книги. И художественную литературу. И искусство. Хныкать бесполезно. Дарвинизм.

Когда я жил у моей подруги в районе Кёпеник, мы ездили на автобусе к озеру Мюгельзее. Переходили по подземному туннелю от пивоварни в Фридрихсхагене на другую сторону

Шпрее (я семенил... с закрытыми глазами, пытался не дать клаустрофобии завладеть мной безраздельно, моя подруга держала меня за руку), шли вдоль берега Мюгельзее до Рюбецала, там пили кофе из бумажных стаканчиков, ели пирожные «Биненштих» (укус пчелы), катались на лодке или на водном велосипеде, затем маршировали до водно-спасательной станции, переплывали озеро в узком месте на пароме. Выходили на Фюрстенвалде Аллее, заходили там в кафе-кондитерскую «Герх», ели ванильное мороженое с малиной или клубничное пирожное сердечком и возвращались в Кёпеник — на трамвае. Полдня на воздухе. Сладкая курортная жизнь.

Эта же жизнь показала мне неожиданно свои дьявольские когти. Там, в райских кущах Мюгельзее. Один раз мы с моей подругой пришли к причалу парома и обнаружили, что опоздали на целых пять минут и следующий кораблик приплывет туда только через два часа. Позади нас был семикилометровый путь по жаре, дальше идти мы физически не могли. Такси вызывать не хотелось. Нарушение стиля. Решили зайти в ресторан неподалеку и там подкрепиться. В меню я увидел суп — Русскую Солянку. И загорелся. Заказал, идиот, большую тарелку. Умная моя подруга попросила принести что-то легкое, какое-то рыбное блюдо с экзотическим картофелем и съела его с большим аппетитом. Мне принесли огромную фарфоровую миску с огненно-красной жидкостью. И ложку, больше похожую на половник.

На поверхности солянки плавали три дольки лимона с густым шматком немецкой сметаны (шмандом). А в сокровенной ее глубине прятались копченые колбаски, сосиски различных сортов, грибы, соленые (в немецком варианте — маринованные) огурцы и еще много чего, что я идентифицировать не смог. Жидкость эта была острой как турецкий ятаган.

Мокнул в нее белый хлеб и принялся за дело.

Уже на половине дистанции почувствовал, что дело швах. Но не остановился, гордость не позволила.

А когда доел — был уже в нескольких сантиметрах от безвременной кончины.

Живот болел нестерпимо.

Если бы я сразу после солянки выпил литра два-три кипяченой воды и выблевал бы содержание моего желудка, я, может быть, и спасся бы от хронического гастрита, который с тех самых пор мучает меня месяцами. Но я этого не сделал.

Да, теперь мы живем в Хоэншёнхаузене, до Шпрее и Мюгельзее — далековато, поэтому мы гуляем среди бетонных коробок. Забреем и в недалеко от нас расположенную местную достопримечательность, «Сад мира», огороженную высоким забором территорию, на которой есть холм со смотровой площадкой на вершине (оттуда виден весь Берлин) и долина, выставки цветов по сезону, японский павильон, китайский, корейский, еврейский, английский и ренессансный сады, канатная дорога, дендрарий, инсектарий и лабиринт. За вход в «Сад мира» надо платить. Поэтому часто мы туда не заходим, бог с ним, с лабиринтом. Мы пенсионеры, в деньгах не купаемся. А тут еще и инфляция.

Другой достопримечательностью в нашей округе считается бывшая тюрьма Штази, в который теперь музей. До войны там была фабрика по производству мясорубок, после войны — советский лагерь для интернированных и советская следственная тюрьма. Знаменитая своими пытками. Штази комплекс был передан в 1951 году. В нем содержались в основном граждане ГДР, которые не хотели жить в Восточном Берлине, Дрездене или Лейпциге, а хотели переехать в Берлин Западный или в Западную Германию.

Туда мы не заходим. Зачем? Музей этот хуже русской солянки.

Вчера моя подруга уехала в Саксонию — навестить старшего брата, впавшего в депрессию. Бедняге исполнилось недавно 85 лет. Хворает часто, да еще жена его запилила. Не разрешает одному выходить из дома. Всем говорит, что ее муж — в маразме.

В ГДР он был известным детским писателем, играл на тромбоне.

Поэтому сегодня я гуляю один.

Пошел вначале вдоль длинного дома. В глубокой тени.

Дом этот, если посмотреть сверху, похож на русскую букву «п», одна из ножек которой короче другой на половину. Если этот дом вытянуть в одну линию — получится одиннадцатизэтажная стена с полкилометра длиной. Я шел вдоль длинной ножки буквы «П».

Пахло бетоном, выхлопами, окурками. Благо они везде здесь валяются.

Травы и цветов на газонах почти не было. Все выгорело. Засуха. С апреля — ни капельки не упало с неба.

Каждый раз, идя тут, я побаиваюсь, как бы кто-нибудь сверху не бросил мне на голову что-нибудь тяжелое. Рядом со мной уже падали окурки, помидоры, однажды упала вырезанная ножом сердцевина ананаса, в другой раз — нечистые женские трусики. Падали использованные презервативы и неизвестные мне предметы, а лет семь назад — с бешеным свистом пронеслась пустая бутылка из-под пива и взорвалась метрах в десяти от меня. Пустая.

Кроме того, тутошные дети не раз поливали меня водой с восьмого и девятого этажа. Я орал на них снизу. Грозил обратиться в полицию. Руками размахивал. Безрезультатно. Этим людям, и детям, и взрослым, начхать и на меня, и на полицию. Ничего они не боятся. За воду — не посадят. А штраф платить им нечем.

В этой части дома живет пестрая публика. Иностранцы, «простые немцы» и асоциальные аборигены. Иностранцы — в основном бывшие советские, русские, украинцы, молдаване, чеченцы. Ну и арабы, афганцы, румыны, вьетнамцы, чернокожие...

Вьетнамцев — особенно много. Они мне нравятся, эти муравьи... Их женщины всегда одеты чисто и не без шика. Детки — как куколочки. И те, и другие — радуют глаз.

В нашем подъезде долго жили две шведки. Кажется, студентки. Ходили под руку. С каменными лицами. И молча. Может быть, на них так Берлин действовал? Я спросил у них, почему они такие хмурые. Они не ответили, даже не улыбнулись. Хмыкнули и дальше пошли. Загадочные люди эти скандинавы. Помню, давным-давно, еще в СССР, меня познакомили с одной финкой... улыбчивой хохотушкой. С веснушками на курносом носике. Так вот эта девушка, каждый раз после того, как мы... но об этом поговорим в другой раз.

Не думаю, что иностранцы бросают что-либо с балконов. Побаиваются. Разве что случайно.

Аборигены у нас — обычно многодетные и с собаками. Собачьи экскременты они за своими собаками не собирают. Женщины, почти все, — толстые, некрасивые, смурные... курят плохие сигареты, орут на детей и на мужей... мужчины, наоборот, часто болезненно худые. Многие пьют, нюхают кокаин или колются. Так, по крайней мере, они выглядят.

Встречаются и откровенные бандиты или грабители...

Рэкетеры с золотыми цепочками на бычьих шеях.

Шоферы мафии (несколько шикарных лимузинов паркуются у нас во дворе).

Живут тут и члены преступных арабских «кланов». Мелкие сошки.

— Слава богу, — сказал мне один сосед по подъезду, — они тут только живут, а преступления свои совершают в других районах.

Вы вероятно решили, что я смотрю на мир через черные очки. Что я законченный мизантроп и брюзжала. Вы не правы. Конечно есть тут и порядочные, и нормальные, и красивые люди... возможно их даже большинство... но в памяти остаются чаще всего неприятные лица и фигуры. Фигуры, говорящие своими формами, татуировками, жестикуляцией и походкой: «Не подходи, не смотри на меня, держись от меня подальше».

До сих пор у меня не было проблем с жителями нашего района. Но кто знает, что будет завтра. Из-за пандемии, инфляции и последствий украинской войны, — в людях копится раздражение, ненависть, злоба. Бешеная злоба. Я замечаю ее в игре желваков на скулах мужчин в очереди в кассу в супермаркете, в их сжатых сухих кулаках с бледными костяшками, в косых ненавидящих взглядах бесцветных глаз, слышу в резких гортанных криках женщин... в зловещем, истерическом смехе сидящих на лавочке в соседнем парке алкоголиков... Они пьют полдня, а затем, уже отравленные дешёвым алкоголем, носятся по округе как взбесившиеся звери. Их немного, но они мне особенно отвратительны. Потому что это мои бывшие соотечественники. Говорят они между собой на матерном русском. К сожалению, я их понимаю.

Скоро эта ненависть может прорвать последние заслоны (людям еще есть, что терять) и вырваться на свободу. Случиться может все, что угодно. Восстания, погромы, массовые убийства, поджоги...

Трусливые и беспомощные немецкие политики давно говорят об этом по радио и телевидению. Видимо для того, чтобы позже сказать «а я предупреждал».

Толку от их «предупреждений» — никакого. Все медленно, но верно, катится вниз. Вот и война в Европе началась. Настоящая.

Прохожу мимо знакомого балкона на первом этаже. Ни цветов, ни солнцезащитного тента, как на многих других балконах там нет.

Зато там всегда сидит старик, недобро смотрит на прохожих и курит сигарету. Затягивается жадно. Выпускает дым из ноздрей, как дракон. Потом, не потушив окурочек, бросает его на газон перед собой и закуривает еще одну сигарету. Курительщик этот похож на бывшего моряка. На крепких загорелых руках — татуировки. Что именно изображено — разобрать трудно. Стараюсь с ним не встречаться глазами. Один раз я попенял ему — этими окурками на газоне. Старик изрыгнул из своей заросшей волосами глотки несколько про-

клятий и начал мне грозить. С тех пор я делаю вид, что его не замечаю. Нет, я его не боюсь, но он, как и многие тут — явно не в себе. С такими надо соблюдать осторожность. Мали ли что он может выкинуть. Пырнет в бок...

Один раз я видел, как он покупал что-то в супермаркете. Подошел поближе. В его тележке лежали два ящика пива и три красных блока Мальборо. Ничего лишнего. Настоящий мужчина. Не то, что некоторые.

Иду дальше. Натыкаюсь на теплую компанию. Две непрерывно говорящие на берлинском диалекте (этот диалект напоминает лай) и отчаянно жестикулирующие толстые мамы. В розовых и синих кофтах. И коротких модных брюках в обтяжку на массивных бедрах. Волосы слипшиеся и растрёпанные. Выпученные яростные глаза.

Штук пять неопрятных детей. Тоже не тихих. И четыре собаки. Как и все другие собаки на свете — гадкие и злые.

Хотел мирно пройти мимо, пролепетал: «Гутен таг!»

Кивнул. Мне не ответили. Замолчали. И мамы, и дети. А собаки, я заметил, не смотря на меня, злобно принюхивались. А затем, как по команде — окружили меня и начали хрипло лаять.

Я боюсь собак. Не скрываю этого. Боюсь, когда они лают. Боюсь, что укусят. Заразят бешенством.

Замер. Старался не смотреть этим гнусным тварям в глаза. Думал, пронесло. Но одна из собак вцепилась-таки мне в ахиллово сухожилие.

Тут мой страх превратился в силу. Отскочил, отбросил кусающую меня псину, затем налетел на стаю как Тарас Бульба на поляков и страшными ударами расшвырял их ногами в разные стороны.

Надо сказать, собаки эти были очень маленькие. Собачки. А сандалии мои — на литых резиновых подошвах. Довольно тяжелые. Короче собакам досталось на орехи. Обе мамы заорали и бросились на меня, выпустив вперед как таран необъятные свои груди и толстые пальцы с разноцветными ногтями.

Столкновения удалось избежать.

Достал свой мобильник, пригрозил, что вызову полицию. Это мамашам не понравилось. Собаки были пойманы и посажены на поводки.

Уходя, я заметил с какой злобой смотрят на меня дети. Теперь я всегда буду их врагом. В следующий раз пойду гулять с тяжелой тростью. С медным набалдашником в форме львиной головы. Осталась от последнего мужа моей подруги. Семейная реликвия. По преданию — эта трость спасла прежнего владельца от зубов огромной собаки. Для меня — как раз подойдет. Я знаю по опыту, что собаки не нападают на прохожих с тяжелой палкой в руках. Не хотят получить по хребтине или по зубам.

Дома я исследовал рану. Проклятая собачонка только ущипнула меня, кожу не прокусила. Можно было обойтись и без насилия.

Перешел улицу и направился в Сберкассу.

Точнее — к помещению с банкоматами. Настоящего банка у нас тут уже давно нет. Менеджеры Сберкассы сэкономили на персонале.

Сюрприз! На стеклянной двери красовалась надпись черным фломастером: «Закрыто на неопределенное время в связи с взломом».

Посмотрел в окно. Несколько денежных автоматов были как-то неправильно раскрыты. Как будто кто-то распорол им животы. Неприятное зрелище. Наличные деньги однако на полу не валялись. Кто-то аккуратно все прибрал. Грабители или техники.

Тут ко мне подошла местная тетка. Страшная, седая и с бородавкой над глазом.

И тут же заговорила, не глядя мне в лицо.

— Я живу в этом доме, на пятом этаже. Вон там. Так вот сегодня ночью я проснулась от взрыва. Думала, весь дом на воздух взлетит. Так громко рвануло. Стены затряслись, шкафы закрипели, картинка с гвоздя сорвалась. Кельнский собор. Гравюра. Купили на блошином рынке. Муж хотел на улицу выйти, но я не пустила. Мало ли чего. А утром мне соседка

рассказала, что грабители банкомат взорвали. Сжатым воздухом или еще чем, не знаю. Говорят, румыны поработали. Что это за нация такая! Одно ворье. Сколько их сюда понаехало. Тьма. Что они там думают? Губят страну. Полиция приезжала. Как всегда, слишком поздно. И пожарные. Теперь за деньгами придется далеко ходить. В Коммерческий.

Бородавка ее, когда она говорила, поднималась и опускалась.

Зашел в русский магазин. Недалеко, за поворотом.

Хотел сырок глазурованный купить. Хотя и вкус не тот, но о детстве напоминает.

Поздоровался с знакомой продавщицей. Нашел сырки. Шесть видов. Брусничный, малиновый, клубничный...

— Не знаете, какой сырок похож на прежний, советский?

— Не знаю я. Когда я родилась, никаких сырков в Омске уже не было. За молоком всю ночь стояли. Вот, возьмите этот, он хотя бы без ягод.

— Ванильный? Тут написано — со сгущенкой. Спасибо. Две штуки возьму. А что гречки так и нет?

— Нет и не будет. Из-за проклятой этой войны.

— Скажите, а что говорят у вас про войну?

— Скажу, но вам не понравится.

— Да ладно, мне не в первой.

— Говорят, что в войне НАТО виновато. Что хохлы хотели атомную бомбу бросить на Путина. Вот и пришлось бедной Рассеюшке войска вводить.

— Понятно, это путинская пропаганда внушает. А ваши клиенты российское телевидение смотрят. Бараны. А вы сами, что думаете?

— А я ничего не думаю. Только теперь у нас товаров из России и Украины нету. Все, что вы тут видите, или в Германии сделано или в Латвии. Пропади она пропадом, эта война.

— И сырки?

— Сырки в Гамбурге делают.

— Там же, где Луну? И делает их хромой бочар?

— Что это вы такое говорите?

Вышел на улицу Пикассо.

Если бы Пикассо увидел эту улицу, он бы рисовать перестал...

Ведь он был убежденным левым. И вот, пожалуйста — идеальная улица социализма названа его именем. Одинаковые многоэтажные дома. Одинаковые квартиры. Более или менее одинаковая мебель. Одинаковые люди. Детсад, школа, но ни одного магазина. А он так стремился к многообразию. К свободе.

Во всех этих блочных колоссах кроется что-то зловещее — и в московских, и в берлинских, и в пражских. Бесчеловечное. В них зашифрован приказ Москвы. Живите так как мы, народы. В своих бетонных клетках. И не рыпайтесь. А будете рыпаться — приедем мы с нашими «Градами», «Ураганам» и «Солнцепёками» и укажем вам на ваше место.

Единственное новое здание на этой улице — общежитие для беженцев. Пятиэтажка. Аборигены называют ее — Хижиной дяди Тома. За сорок лет ничего другого тут не построили. Беженцы — единственная новость. Беженцы и пандемия, которую бюргеры изо всех сил пытаются выкинуть из сознания, игнорировать. Но которая и не думает кончатся.

Везде, где можно, в Берлине понатыканы контейнерные дома-общежития. Живут в них в основном сирийцы и чернокожие. Многие берлинцы скрежещут зубами от злости. От бессилия. Полуфашистская партия Альтернатива для Германии вербует новых членов и ждет своего часа.

А я не знаю, что и думать. Новые эти жители Германии из Азии и Африки никогда не будут ценить и беречь в Европе то, что я ценю. То, чем я живу. Кранаха, Дюрера, Грюневальда...

Но я ведь и сам — бывший беженец. Кидать камни в пришельцев совесть не позволяет.

Повернул налево.

Шел вдоль длинного пятиэтажного дома. На некоторых балконах восседали хозяева-пенсионеры. Курили. Ласкали кошек. Поливали цветы. Герани и петунии.

Вспомнил «Степного волка». Несмотря на обилие цветов на балконах, Гарри Галлеру тут бы не понравилось. Не знаю, смог бы он прожить в нашем районе хотя бы неделю, в этом бетонном раю для бедных.

Там, где остановилось время. А пространство разделено архитекторами на одинаковые части. Так, чтобы получилась трехмерная решётка.

А я привык. Живу здесь уже больше десяти лет.

И мне даже перестало казаться, что на перекрестках стоят пулеметные вышки. А вдоль улиц установлены заграждения из колючей проволоки.

На другой стороне улицы панельных домов не было, там были участки для дрессировки собак.

Оттуда непрерывно доносился лай.

Еще раз повернул налево.

Отсюда уже виден мой подъезд.

В ПАНСИОНАТЕ

Пинг-понг

Мне двадцать лет. Я только что закончил гимназию. Учился плохо. Спасибо, не выгнали.

Планов никаких. Охоты грызть гранит науки в университете — нет.

Даже хобби у меня не было. Компьютерные игры я терпеть не мог. В кино и театр не ходил, скучно и дорого. Дискотеки меня пугали. После того, как меня избил в дискотеке один тип в ковбойской шляпе и кожаной куртке. И с золотой цепочкой на шее.

Книги — фантастику, детективы и приключения — я перестал читать лет в 18. Выдумки и романтическая трепотня.

Родные меня раздражали. Друзей не было. Чужие люди — приводили в ярость.

Город, в котором мы жили — осточертел. Переезжать в другой город, бороться за жизнь и комфорт, работать, зарабатывать деньги — мне не хотелось.

Катись всё к дьяволу!

Машина была мне не нужна. Ведь экзамен на права я так и не смог сдать. Три раза пытался припарковаться на подземной стоянке. И каждый раз проваливался. А в пятикилометровом альпийском туннеле запаниковал и выехал на встречную полосу.

По улицам нашего города я ездил на велосипеде.

Деньги на шмотки мне давали родители.

Ел то, что готовила мама.

Меня, как и многих других, сводил с ума сексуальный голод.

Но искать девушку — в кино, в кафе или в интернете — я боялся. А вдруг откажет? Они всегда мне отказывали. Хотя

внешне я был ничего, носил шевелюру с пробором. Узкие брюки. И серебряное кольцо на мизинце. Нашел его на тротуаре. Подобрал и почистил. На внутренней стороне кольца были выгравированы цифры 233. И крестик. Что это означает, я понятия не имел.

Посещать бордель я брезговал. Три раза в день занимался онанизмом. И никакой нечистой совести у меня не было. Никаких угрызений...

Онанизм был для меня не только удовольствием и единственным возможным способом самоуспокоения, но и инструментом познания жизни. Какими только видами любви, какими изощренными извращениями я ни наслаждался! Но счастлив я не был. Я был бы рад познакомиться с милой сверстницей или женщиной старше меня. И разделить с ней радость обычного совокупления.

Год назад я начал нюхать кокаин.

Вы спросите, откуда я брал на него деньги? Продавал потихоньку книги из дедовской библиотеки.

В один прекрасный день отец захотел полистать первое издание «Цветов зла» Бодлера. Искал-искал, не нашел. Потому что я его две недели назад продал.

Отец почуял недоброе, осмотрел все наши книжные шкафы и обнаружил пропажу сотни полторы книг. Устроил страшный скандал, не удержался и дал мне пощечину, когда узнал, на что я потратил деньги.

Ходил в антикварный магазин, говорил с владельцем, унижался, выкупил половину книг у антиквара и новых владельцев. Но вторая половина исчезла навсегда.

Отец твердо решил наказать меня за мои проделки. Над тем, как это лучше сделать, он долго ломал голову. Даже с психологами консультировался. Кто-то посоветовал ему отправить меня в пансионат «для трудных молодых людей из зажиточного среднего класса», на перевоспитание «здоровой жизнью».

Если я не соглашусь — отец обещал упрятать меня в частную психиатрическую клинику на год.

Я согласился.

На входе в пансионат я подписал обязательство добросовестно выполнять правила проживания и соблюдать распорядок дня. Получил ключ от моей комнаты. Удивился, когда узнал, что номер этой комнаты — 233.

Я не верю в загадочные предзнаменования, дежавю, предчувствия, пророчества и прочие мнимые свидетельства нелинейности времени, но тут... Вот оно, колечко, на мизинце... а вот ключ. Номера-то одинаковые! Решил не придавать значения.

Бегло осмотрел помещения первого этажа.

В зале для игры в волейбол проходил какой-то важный матч. Трибуны были полны народу. И меня конечно тут же угораздило получить мячом по голове. Какой-то атлетический тип подал подачу в прыжке. Мяч попал мне в нос. Тут же из него закапала кровь. Я запрокинул голову.

Публика смеялась, а мне было не до смеха. Во-первых, было больно, мяч этот проклятый довольно тяжёлый. И летел так быстро, как пушечное ядро. Во-вторых, — я опасался, что теперь меня будут тут звать — тот балбес, кому заехали мячом по носу через четверть часа после приезда.

Мое опасение подтвердилось. Ничего, судьба и раньше выставляла меня шутом гороховым. Привык.

Гулял по пансионату. Сколько тут оказывается милых девушек!

Но что-то было не так.

Ко мне постепенно пришла уверенность, что пансионат этот — не место для здоровой жизни молодежи, а что-то другое. Совсем, совсем другое.

Что?

Я явственно ощущал грозящую мне хорошо замаскированную опасность.

Почему на стенах то и дело появлялись тени каких-то чудовищ?

А под потолком летали зловещие темные птицы?

Откуда то и дело доносились стоны и крики о помощи?

Я видел и слышал все это, но не верил самому себе. Решил, что делаю из мухи слона.

А зря.

Вошел в свою комнату.

Крохотное помещение. Койка, тумбочка, стенной шкафа.

За окном — бескрайний еловый лес. И заснеженные горы на горизонте. Канада?

На душе стало нехорошо. Захотелось тут же сбежать отсюда.

Но в родном городе меня ждал озлобленный моими книжными подвигами отец и психиатрическая клиника, в которой я уже имел в прошлом удовольствие пролежать целый месяц. Туда отправил меня наш домашний врач, когда я заявил ему — мне было шестнадцать лет — что хочу перерезать себе горло, потому что жизнь невыносима и тошнотворна.

Меня привязали к больничной койке, давали мне лекарства, от которых, казалось, изнутри горело тело, а в суставы и кости кто-то постоянно втыкал раскаленные иглы. Несколько раз меня бил резиновым шлангом садист-санитар. В общем душе меня деловито трогал за задницу другой санитар. Всовывал мне в анус свой заскорузлый указательный палец и дико хохотал при этом. Угрожал изнасиловать «по-настоящему». А главная врачиха грозила мне — если я и дальше буду утверждать, что жизнь невыносима и тошнотворна — перевести меня в подвальное отделение для буйных и безнадежных. Подвергнуть лечению электрошоком. И оставить в клинике навсегда.

Я смог убедить врачей, что раскаялся в сказанном и больше и думать не хочу о самоубийстве. А хочу только поскорее вернуться в нашу славную гимназию. Мне поверили.

Представляю, какую радостную рожу скорчила бы главврачиха, если бы узнала, что я нюхаю кокаин и не хочу учиться и работать. Залечила бы меня до смерти.

Принял душ. Разобрал вещи. В стенном шкафу нашел большой подковообразный магнит, сломанную секс-куклу

с натуралистически воссозданными половыми органами женщины, несколько разноцветных стеклянных треугольников

и детскую погремушку в виде пениса. Постарался об этой находке не думать.

Рассыпал на тумбочке, а затем втянул в себя носом белый порошок из последнего пакетика, который искусно зашил три дня назад в подкладку пиджака.

Полегчало.

Перед глазами побежали лимонные деревья на берегу Тирренского моря, белые, красные и желтые розы из розария Святого Франциска в Ассизи, пальмы на набережной Пасео-Маритимо и целый табун андалузских лошадей с роскошными гривами. Бросился их догонять и бежал, бежал...

Расстегнул штаны... хотел получить свое удовольствие, вроде как пометить территорию. Но тут зазвонил мой комнатный телефон.

Говорил со мной не живой человек, а робот.

— Дорогой Антонио, от имени дирекции приветствую вас! Только что вы грубо нарушили правила проживания в нашем пансионате. Теперь вы обязаны совершить ритуальную прогулку по нашему подземному лабиринту. Ваша задача — проследовать от Золотых Ворот до выхода из лабиринта. По дороге — найти и символически убить Минотавра. Предупреждаю вас, отказ от прогулки повлечет за собой немедленную отправку вас по месту жительства. Счастливого отдыха в нашем оздоровительном пансионате!

Хотел сказать что-то в свое оправдание, но трубка после прочитанной мне нотации мгновенно опустела.

Домой возвращаться я не хотел. Отправился на поиски Золотых Ворот.

Спустился на первый этаж. Спросил о том, где они, у проходившей мимо девушки, черноволосой милашки. Она показала мне направление очаровательным смуглым пальчиком,

на котором было тоненькое колечко с синим камнем. Затем она тем же пальчиком показала на свой носик, озорно улыбнулась, открыв маленький ротик, в котором сияли перламутровые зубки. Ну вот, и она туда же.

Хотел было ей представиться, но она упорхнула. Вечно я опаздываю.

Ворота оказались обыкновенной дверью. А лабиринт — всего лишь длинным изломанным коридором.

Рядом с входом заметил валяющийся на глиняном полу деревянный меч. Поднял его и взял в правую руку.

И решительно зашагал. Как римский легионер.

Где-то тут, за поворотом, меня ждало античное чудовище, которое мне предстоит символически прикончить деревянным мечом. И я шагал и шагал по полутемному коридору, пахнущему не драконами, а мышами.

Что это означает — символически прикончить? Коснуться его волосатой груди мечом? Или проткнуть его мускулистую шею?

Я не знал. Но опасался, что сам стану жертвой. И не символической.

Минотавра я представлял себе по рисункам Пикассо, любимого художника моей матушки. Его офортами из «Сюиты Воллара» была завешена наша гостиная.

Мать говорила, что Минотавр у Пикассо исполняет роль альтер эго мастера. Он и насильник, и любовник, патриций и плебей, человек и чудовище, убийца и жертва, Зевс и Рембрандт, атлант и беспомощный слепец, возбужденный сатир и разъяренный бык...

Один раз Пикассо изобразил Минотавра в виде крылатого страшилища с обнаженной женской грудью.

Коридор привел меня в зал.

В одном из его углов стояла мраморная статуя. Из-за скудного освещения я не сразу узнал в ней Минотавра. Похо-

жего на монстра с одного офорта из «Сюиты Воллара». Бородатого и гривастого, стоящего с поднятыми в экстазе победы руками на арене для боя быков. Рядом с синей, истекающей кровью лошадью, которую он только что продырявил.

Пошел к статуе. Хотел ткнуть ее своим деревянным мечом.

Но тут Минотавр ожил и двинулся мне навстречу. Раздувая широкие ноздри и сопя.

Я неловко выставил вперед мое оружие и зажмурил от страха глаза. Ожидал, что этот силач убьет меня одним ударом своей мраморной лапы.

Но этого не произошло.

Вместо боли от удара я почувствовал, что кто-то бесцеремонно трогает меня за член. Открыв глаза, я увидел перед собой того самого санитара из клиники. На Минотавра он похож не был. Лысый, тупой, с ужасной обвисшей и сальной кожей. И омерзительным лицом негодяя. Он нагло лапал меня и хохотал. Также как тогда, в общем душе клиники.

Странно, перед каменной статуей Минотавра я испытал страх, а перед этим выродком — нет.

Напрягся и ткнул его мечом в грудь. Так сильно, как мог.

В тот момент, когда кончик меча коснулся его кожи, я заметил, что передо мной не санитар, а мой отец. Он молча стоял и укоризненно смотрел на меня.

Потом произнес: «Ты мой единственный сын. Мое дитя. Ты хочешь убить меня. Как ты мог так поступить со мной? Ты же знаешь, что библиотека моего отца — это единственное мое и мамино сокровище. Я мечтал передать его по наследству тебе. Как ты мог обменять Рабле и Сервантеса, Малларме и Верлена, Цвейга и Верхарна — на презренный дурманящий порошок для высокомерных слюнтяев и людей-пустышек».

Упрек его задел меня, и я закричал ему в ответ: «Ты не понимаешь, я и есть человек-пустышка. Слюнтяй и пустышка. Ни на что не годная пустышка. Высокомерный слюнтяй.

Я твое и мамино порождение. Ваше среднее арифметическое. Но вы люди, а я пустышка и слюняй. И свою пустоту я не хочу заполнять той дрянью, которой наполнено все вокруг нас! Я задыхаюсь от смрада!»

Вдруг я почувствовал, что теряю сознание.

Пришел в себя я в морге, на металлическом столе. На широком подносе лежали инструменты для вскрытия трупов. Некоторые из них были в крови.

Рядом со мной стоял отец.

Врач в наводящем на меня ужас резиновом фартуке опрашивал мою маму.

— Вы уверены, что это ваш сын? Труп пролежал в зимнем лесу целую неделю. Возможно, его грызли животные. Отдельные части тела полиция так и не нашла.

— Да, это он, наш мальчик. Мы думали, что его никогда не найдут.

Отец подтвердил: «Да, это наш Антонио. Подумать только, он перерезал себе горло в лесу моей опасной бритвой. Понятия не имею, что заставило его совершить это. Мы были с ним добры и заботливы. Собирались послать его в дорогой пансионат».

Я хочу подать голос, хотя бы пошевелиться. Но у меня ничего не выходит.

Вижу странную темную фигуру... мои родители и врач явно не видят ее. Фигура приближается ко мне. Это католический священник в сутане с белым воротничком. В золотых круглых очках. На его ногах вместо обуви — почему-то роликовые коньки. Его руки — в белых перчатках. Пытаюсь ему сказать, что я не умер... и что я хочу, чтобы он ушел.

Священник покрывает мне лицо своим темным одеянием, и я проваливаюсь в огненное жерло ада.

В шахте с раскаленными стенами. В пасти Сатаны...

Приготовился к худшему. Сжал кулаки и пальцы на ногах, сгруппировался, превратил тело в пружину.

Боялся, что сгорю заживо или разобьюсь при падении на дно ада.

Ад я всегда представлял себе как освещенное лишь сполохами костров и пожарищ жуткое пространство на правой створке триптиха Босха «Сад наслаждений». Отец часто водил меня в Прадо и каждый раз подводил к этой картине.

— Вот, сынок, — говорил он, — полюбуйся на то, что ждет грешников после смерти. Мучения без конца. Картежникам и игрокам в кости адские демоны продырявливают их нечистые руки острыми кинжалами. Видишь этого огромного кролика с багром? Он колет грешников его острием, цепляет их его крючьями и тащит в пекло. Или в ледяную реку. Видишь эту страшную реку, покрытую темным льдом? Посмотри на этого безрукого демона в правом нижнем углу картины. Вместе с свиной-монашенкой он мучает душу недобросовестного адвоката, обманывавшего и обворовывавшего клиентов. Зеленый демон обнимает своими гадкими лапами душу распутницы, а души распутников демоны вешают на этой огромной виселице, души наследников, промотавших состояние родителей, пожирает эта адская синяя птичка, после чего они падают в колодец с нечистотами. Видишь рыцаря, которого терзают псы? Пожирают его внутренности? Он не верил в евхаристию и издевался над церковью. А души умерших, потративших свое бесценное время на Земле на бесплодное и бездарное музицирование, бесы мучают гигантскими музыкальными инструментами и нестерпимо громкой какофонией. Посмотри сюда, видишь, струны этой арфы проходят сквозь тело грешника, а тут бывший музыкант посажен в барабан, по которому барабанит бес. Демон в розовой одежде поет. Из его пасти вытягиваются ноты... и сами собой гравятся на ягодицах грешника.

— Ты говоришь души-души, а это люди.

— Ангелы дают умершим новые тела перед Страшным судом.

— Значит когда-нибудь у каждого из нас начнется вторая жизнь?

— Да. И эта вторая жизнь, жизнь в вечности, зависит от того, как человек себя вел в первой, обычной жизни.

— Но ведь это несправедливо. Вечное наказание за короткую жизнь.

— Вечное наказание или вечное блаженство! Ах, сынок. Босх нарисовал ад таким, каким его представили в своих проповедях попы в его родном городе Хертогенбосе. Детали и конструкции добавил от себя. Мастер. А как все на самом деле устроено, не знает никто.

— А что думаешь ты?

— Я думаю, что человек умирает, и все кончается. А то, что люди придумали про загробное наказание или вознаграждение — это только мечта, фантазия, фикция, попытка превратить наш мир — в что-то логичное, правильное, восстановить справедливость, которой на самом деле нет. Может быть, когда-нибудь в будущем люди смогут все это технически осуществить, тогда они сами построят и ад, и рай, и чистилище.

А картины Босха — используют как описание проекта. Или как чертежи. Посмотри, рай тут тоже есть. На средней части триптиха. Но это не поповский рай, где все весь день поют и славят Господа, а народный, животный, ягодный, волшебный. Возможно, когда Босх писал эту картину, он втайне надеялся, что кто-то когда-то воплотит его мечту в жизнь...

Падая в адскую пропасть, я вспоминал об этом разговоре с отцом. И страстно желал, чтобы судьи, прежде чем окончательно загнать меня в царство ужаса, хотя бы выслушали мои показания...

Мелькнула мысль: «А что, если этот пансионат — и есть одна из попыток самим построить что-то вроде Чистилища. Убежище для людей середины. Не слишком виновных. Но и не безгрешных. Обычных. Для таких, как я».

А затем...

Падение мое как-то само собой остановилось.

Какое-то время еще я парил, пытаюсь нащупать опору для ног.

Испытание воздухом продолжалось не долго, а испытание огнем так и не началось.

Я нашел ногами опору, но не мог понять, где я, перед глазами клубился подозрительный туман... Присел.

Не сразу сообразил, что сижу по-турецки в зале с мраморной статуей и зачем-то кусаю себе пальцы. И лижу кровь.

Встал. Поискал выход из зала. Нашел.

И вот... я снова шагаю по полутемному коридору... и скоро, совсем скоро поднимаюсь по лестнице на первый этаж. Ищу туалетную комнату. Привожу себя в порядок. Сажусь в кресло. И блаженно закрываю глаза.

Силы постепенно возвратились ко мне, а несносный санитар, врач в резиновом фартуке и ужасный священник на роликовых коньках постепенно выветрились из памяти. Как дым из помещения, в котором наконец потушили огонь и открыли окна.

И я решил поиграть в настольный теннис.

В зале, где располагались шесть столов для пинг-понга народу было не много. Подошел к одному из них. На нем играли две девушки-блондинки, похожие на идеальных красоток, предназначенных для создания новой человеческой расы, из кинофильма «Лунный странник». Вели себя красотки, впрочем, не высокомерно, «Оставь надежду навсегда» на их милых лобиках написано не было.

Одеты они были в коротенькие шорты с манящими треугольными складочками посередине и легкие маечки, не скрывающие абрис их маленьких грудей и сморщенные розовые сосочки.

— Можно мне тут тоже поиграть? С одной из вас.

— Конечно. Подождите пока игра закончится. Играть будете с победительницей.

— Прекрасно. Хотите, буду у вас судьей?

— Не обязательно.

Мы познакомились. Оказалось, девушки — подружки. Бывшие одноклассницы. Ту, которая была чуть-чуть полнее и улыбчивее, звали Лаура, а другую, слегка застенчивую и томную — Эстела.

Девушки были старожилками пансионата, жили тут уже больше трех месяцев.

— Ну и как, нравится вам тут?

Ответила мне Лаура, а Эстела только слегка покраснела. Видимо я, не желая того, своим банальным вопросом задел ее за живое. Она обвила прекрасными руками свои породистые узкие голени, как бы пряча как можно дальше и глубже от меня свое причинное место... молчала и то и дело грациозно поправляла короткие золотые кудри.

— Тут прекрасно. Но, чтобы понять это, надо тут пожить. Просто пожить. Без планов, без претензий, без эйфорических ожиданий. Поиграть в пинг-понг, поплавать в бассейне, потанцевать, посмотреть на Сатурн в телескоп на крыше...

— Сатурн — это здорово. Меня сегодня, прямо после приезда туда отправили. В лабиринт. На свидание с Минотавром.

— Обычное дело. Многие тащат сюда с собой снежок или гашиш. Так их отучают.

— Меня тоже как бы отучили. Заставили пережить... даже в морге продержали недолго. У меня был с собой только один пакетик. Больше все равно нет. Придется отвыкать...

— Ну и хорошо. А радостей тут предостаточно и без кокаина. Посмотрите на нас. Неужели не хотите приударить за мной или Эстелой? Мы слаще этого глупого порошка, уверяю вас.

После этих слов Лауры Эстела покраснела еще сильнее. И осуждающе посмотрела на подругу. А Лаура, решив видимо пошалить, на секунду задрала свою маечку. Тряхнула грудками и кокетливо посмотрела мне в глаза.

В синеве ее глаз было что-то от кристаллического льда. Видел с корабля глетчер на Аляске.

Я смутился, но виду не подал. Никто мне никогда так откровенно себя не предлагал. Позже я догадался, что слова милой Лауры вовсе не были предложением. И предназначались не мне.

— А вы... обе... тоже побывали в лабиринте?

— Ну да. Только это личное. Расскажу про себя, если станем друзьями. А Эстела, сами видите, у нас молчунья. Вышла оттуда вся мокрая от слез, но мне так до сих пор ничего не рассказала.

Лаура метнула в сторону подруги ревнивый взгляд. Но тут же отвела глаза. Эстела пожала плечами.

— Кстати, а как ваш нос, прошел? Это все наш Матео. Подает сильно, но часто — в публику. Некоторые думают, он это специально делает. На него уже жаловались.

— Придется мне его застрелить. Нос теперь чешется.

— Ладно уж, пощадите нашего капитана. Он еще пригодится.

— Если вы настаиваете... От кого вы слышали? Про нос...

— Не важно. Тут у нас новостей немного. Поделиться нечем. Нет ни радио, ни телевидения. Интернет запрещен. Потому что дирекция считает, что всемирная сеть стала сетью, в которую негативные силы поймали человечество. И сделали его от нее зависимым. Что-то в этом конечно есть. Нам с Эстелой поначалу было трудно без смартфонов. Отвыкли жить самостоятельно. Думать. Фантазировать. Мечтать. Но сейчас все это потихоньку возвращается.

— Может быть расскажете мне поподробнее?

— Боже мой, про что?

— Про пансионат.

— А что бы вы хотели узнать?

— Вообще-то все. Я ведь чайник, да еще и с разбитым носом.

— Вы кокетничаете. Это тут приветствуется. Расскажу, только хаотично, я иначе не умею.

— Восхитительно! Начинайте.

Вот, что Лаура мне рассказала.

Девиз пансионата — Терпимость и Доброжелательство.

Отдыхают тут молодые люди от 18 до 22 лет. Около трехсот человек.

Отдыхающие — после заполнения анкет и подписи обязательств, регистрации и обыска на входе — практически не видят взрослых. Так все устроено. Молодые среди молодых.

Обратиться в дирекцию с просьбой или жалобой можно только письменно. Для этого рядом с входом в концертный зал висит особый ящик. Бумагу и карандаш можно взять в библиотеке.

Едят обитатели пансионата — в столовой самообслуживания. Тушёные овощи, рыбные блюда, крабы, креветки, хлеб, рис, супы, сыры, масло, творог, йогурт и фрукты. Мяса и сладостей нет. Каждый берет, что хочет и сколько хочет. Напитки — соки, минеральные воды, чай и какао.

Живут все — в отдельных комнатах с туалетом и душем, спят на узких деревянных кроватях. Раз в неделю находят в стальных шкафах выстиранное и отглаженное постельное белье.

Ходить в гости друг к другу не запрещается.

Алкоголь, сигареты, наркотики, а также все, без исключения индивидуальные электронные приборы строго запрещены.

Служба безопасности внимательно наблюдает за происходящим в пансионате. Пресекает любые формы травли или насилия.

Согревших — предупреждают по внутренней связи и предлагают пройти по подземному лабиринту. После третьего нарушения — нарушителя из пансионата выдворяют. Без грубости или злорадства. Скорее, с сожалением.

Пансионат располагается в длинном и широком двухэтажном здании.

Второй этаж занимают спальни и столовая.

На первом этаже — спортзалы. Бассейн. Сауна. Библиотека. Концертный зал. Два кинотеатра. Медкабинет. Дискотека.

Кроме того, на первом этаже имеются специальные комнаты, в которых можно уютно устроиться и побеседовать с друзьями или заняться любовью.

Самое важное — из пансионата нельзя уйти. Покинуть пансионат могут только те, у кого кончился срок, указанный в путевке, или те, кого дирекция решила выгнать.

Окна в пансионате не открываются. Стекла — пуленепробиваемые.

Вид из окон каждый день меняется. Например, позавчера можно было наблюдать толпы пестрого народа на нью-йоркской Пятой авеню, вчера — дюны в Сахаре, бедуинов и верблюдов, а завтра возможно за окнами будет — безжизненный марсианский пейзаж с медленно ползущим по нему марсоходом.

Никто из отдыхающих не знает, где пансионат находится.

Покидающего пансионат усыпляют безвредным сонным газом, а будят уже дома.

Для любителей утренних пробежек на первом этаже пансионата есть беговая дорожка длиной в километр.

Надежная вентиляционная система снабжает обитателей пансионата свежим воздухом. Она же позволяет, по желанию дирекции, всех усыпить. По слухам — для проведения каких-то зловещих экспериментов, в которых будто бы принимают участие инопланетяне. Проговорив это, Лаура не выдержала и прыснула. Подчеркнула, что все подобные слухи относятся к категории «городских легенд».

— На первый раз достаточно.

— А что, есть еще что-нибудь? Жуткое или пикантное?

— Жуткое и пикантное? Эээ... вы что, Антонио, поклонник порно-хоррора?

— А что это такое? Нет, что вы. Я обыкновенный человек. Скучный до отчаяния. Хотя рядом с вами...

— Рядом с нами у вас вырастают крылья, и вы чувствуете себя Джеймсом Бондом. Не раз уже слышала.

— Я же говорю, обыкновенный...

— А кто вас научил так хорошо в пинг-понг играть?

— Спасибо, что тему сменили. Как это ни невероятно, мой учитель математики в гимназии, Мануэль К, единственный нормальный среди наших учителей. Мы играли с ним на переменах. Он говорил, что у меня есть талант. Научил делать подрезку. И закручивать топ-спин. Но талант мой как-то сам собой рассосался. Последний раз брал ракетку в руки года три назад.

— Что так?

— Мануэля убили в уличной драке в Мадриде. Прямо на площади Солнца. У конной статуи. Что они не поделили... Отличный был учитель. И игрок превосходный.

— Сочувствую. В наши времена подобная смерть — не редкость. У меня был кузен Бенито... астенический тип, не хороший, не плохой. Писал стихи, малевал, играл в студенческом театре в университете Саламанки. Так вот... представьте себе, он утонул на побережье во время Большой Фиесты. А когда тело вытащили, судебный врач обнаружил, что его убили, а потом бросили в воду. Его зарезали навахой. Средневековые какое-то. Вроде бы соперник...

Мы болтали еще час. Эстела почти не участвовала в разговоре. Иногда вставляла два-три слова. Потом мы разошлись. Договорились встретиться в десять вечера в комнате «для дружеского общения».

* * *

Девушки пришли почти одновременно со мной. Вместо шорт и маек на них были воздушные короткие платяца едва прикрывающие трусики. На Эстеле — голубое, на Лауре — розовое.

Эстела сразу заявила, что устала, просит ее извинить и оставить в покое. Забралась с ногами на роскошный кожаный диван, завернулась в плед и заснула.

Лаура и я сидели на двух рядом стоящих креслах.

Грандиозный электрокамин и классические натюрморты на стенах создавали иллюзию уюта и защищенности.

Иногда Лаура гладила меня по голове и по плечам. Она явно наслаждалась возможностью легкого, не отягченного ревностью, необходимостью решать совместные проблемы и прочими обычными препятствиями, разговора. Видимо она любила поболтать... и пофлиртовать. Но глаза ее оставались холодными как лед.

Разумеется, она мне нравилась. Меня тянуло к ней. Но у меня не было и в мыслях куртуазно признаваться ей в своей склонности или кидаться на нее со страстью тигра. Я тоже наслаждался редкой — для такого нелюдима и бобыля как я — возможностью поговорить наедине с милой доброжелательной сверстницей. Не имеющей, как мне тогда казалось — никакого особого интереса к моей особе.

Лаура рассказала мне о счастливом детстве в симпатичном курортном городке недалеко от Барселоны. Не скрыла, что лесбиянка, «но не совсем и не навсегда». Рассказала о том, как долго терпеть не могла Эстелу, эту «занудную, фригидную зубрилу и молчунью», а потом вдруг втюрилась, «растаяла и прозрела». И обрела в ней верного интимного друга. Повела мне о том, как потеряла из-за Эстелы любовь и уважение родителей, о том, как ее «чуть не убил» в приступе ярости влюбленный в нее одноклассник. Одноклассник этот позже хотел покончить жизнь самоубийством, но не покончил... и провел полгода в нашем пансионате.

— Он, слава Богу, уехал домой до нашего приезда, и вероятно уже учится в Технической школе на юге Германии. Он всегда мечтал об этом. Учиться и играть в футбол в университетской сборной.

— О чем он еще мечтал?

— Стать известным архитектором. Работать по четырнадцать часов в сутки. Разбогатеть. А дома, чтобы его ждала жена с двумя очаровательными детьми. В идеально убранной вилле на берегу Боденского или Женевского озер. А в саду

обязательно должны расти роскошные чайные розы. Между мраморных статуй и коринфских колонн. И дорожки должны быть посыпаны розовым песком. И чтобы дети и жена давали в субботние вечера домашние концерты. Играли бы струнные трио Боккерини...

— Не так уж плохо. Будем надеяться на то, что он найдет в Мюнхене или Штутгарте привлекательную музыкальную немочку, подходящую для этой роли.

— Я для всего этого явно не подхожу. Слишком строптивая. И медведь на ухо наступил.

— Из-за чего вас сюда послали?

— Никто меня сюда не посылал. Я сама себя сюда послала. Мои родители уверены, что я работаю на экологической станции в Патагонии.

— А ваши родители знают, что Эстела с вами?

— Какой вы недогадливый. Конечно нет. Они надеются на то, что я встречу на жизненном пути и влюблюсь в симпатичного спортивного самца из обеспеченной семьи, будущего менеджера интернационального концерна или министра. Кстати, Эстела из очень состоятельной семьи, издавна владеющей медными рудниками в Аргентине. Живет в поместье километрах в тридцати от моего городка. Кажется, ее покойный дедушка — родственник Каудильо. Чуть ли не кузен. Ее карманных денег хватило на то, чтобы оплатить путевки для нас обеих в пансионат на год. Каждые две недели я посылаю родителям открытки с непонятным почтовым штемпелем и без обратного адреса. Дирекция пансионата понимает проблему и всячески содействует. И будет это и дальше делать, если я буду вести себя хорошо.

— Чудеса!

— Иногда случаются.

— Вы упомянули о «городских легендах». А что тут говорят о лабиринте? Таинственной места я в своей жизни не видел. Волшебство какое-то. Черная магия.

— Скорее белая. О лабиринте тут говорить не принято. Вроде как о веревке в доме повешенного.

— Может все-таки что-то расскажете? Клянусь, я ничего никогда никому не скажу.

— Ну вот, он уже клянется. Меня мама учила, клятвам мужчин не верить.

— А меня мама учила не верить женским отказам.

— Эээ... А ты не такой болван, каким мне сначала казался.

— А ты еще обаятельнее и красивее, чем показалась мне за пинг-понговым столом.

— Лестью можно многого добиться, Антонио.

— Особенно, если это и не лесть вовсе.

Лаура поблагодарила меня неожиданно теплым взглядом. Обвила рукой мою голову и одарила сухим, но нежным поцелуем в губы. Я обнял ее, но она мягко отстранилась.

— Ладно, ладно, уговорил. Так что ты на самом деле хочешь узнать про лабиринт? Про свой опыт я рассказывать не буду.

— Ты общительная и сексапильная. Эти самые спортивные самцы наверняка рассказывали тебе о лабиринте. До того, как поняли своими бычьими головами, что вы с Эстелой — парочка. Готов спорить на пятьсот головок швейцарского сыра.

— Тут ты попал в десятку. Месяца два назад здесь еще отдыхал некий Диего. Красивый парень из Каракаса. Огненный брюнет с страстными черными глазами. И походкой барса. Похож немного на Бандерас. Я немного с ним пококетничала, за что Эстела укусила меня в левую грудь и чуть не выцарапала мне глаза. Шрам виден до сих пор. Показать?

— Покажи.

Лаура, не жеманничая, показала. Да, следы зубов Эстелы невозможно было не заметить. Я тихонько тронул их губами и кончиком носа, и Лаура тут же запахла свое воздушное платье. Так, как будто боялась, что ее подруга проснется и укусит ей и другую грудь.

Спящая Эстела неожиданно открыла глаза и пробормотала: «Я все видела. Прощаю и тебя и Антонио. Антонио, не поддавайся на ее чары, она превратит тебя в раба и будет ездить на тебе верхом по лабиринту».

Это была, кажется, самая длинная фраза, которую я слышал из уст прекрасной Эстелы.

— Может быть я только об этом и мечтаю.

Никто на мои слова не отреагировал.

Лаура продолжила.

— Да, его отец... забыла... он был в окружении покойного Уго Чавеса. Наверное, левый коррупционер. Или мафиози. Парень связался с очень плохой компанией, семья решила удалить его на время из Каракаса. И послала в пансионат. Так вот этот самый Диего Бандерас рассказал мне заплетающимся от волнения языком о том, что он испытал в лабиринте. Могу тебе пересказать. Хотя и не исключаю, что половина — вранье. Диего собирался стать писателем. То есть — патологическим вруном. И да, я конечно кое-что уже забыла.

— Ты тоже хочешь стать писателем?

— Это не важно, важно, захочет ли какой-нибудь писатель стать мной. Пусть и захудалый.

— Разве мы не договаривались, не слишком умничать?

— Ты меня с кем-то перепутал, тронко.

— Я весь внимание, дорогая сеньорита Лаура.

— Ты притащил в оздоровительный пансионат белый порошок. А Диего умудрился так спрятать свой мобильный телефон, что его не нашли при обыске. Куда он его засунул? Партизан! Че Гевара. А в своей комнате он тут же разлегся на кровати и начал названивать своей оставшейся в Каракасе подруге. Сигнал не прошел. Но его попытку засекала наша служба безопасности. Ему позвонили — но не на мобильник, и попросили спуститься в подвал и пройти в лабиринт через Золотые ворота. И он спустился. И прошел. Нашел меч и, как мы все, зашагал по полутемному коридору. Не боясь встретить ни Минотавра, ни самого дьявола. Типичный мачо! Шел,

шел и вдруг почувствовал, что в коридоре стало холодно. Он не успел удивиться... услышал, что кто-то тихим голосом зовет его по имени. Диего! Диего! Оглянулся и увидел позади себя... свою покойную, горячо любимую мать. Она скользила по воздуху и протягивала в нему свои тонкие полупрозрачные руки. Диего раскрыл объятия... но призрак... исчез.

Вместо него в коридоре изумленный Диего заметил детскую кроватку. В ней лежал... весь в крови... четырехмесячный эмбрион, выкидыш, сын... он трясся от холода и протягивал к Диего крохотные алебастровые ручки. Пораженный Диего хотел взять его на руки, согреть своим телом, но выкидыш на его глазах превратился в маленький скрюченный скелетик... А затем исчез вместе с кроваткой. Диего кое-как доплелся до зала. А там... там не было статуи Минотавра. Зато там стоял огромный открытый железный ящик. Ящик плохо пах. Из него доносились стоны и проклятья. Диего подошел к стенке ящика, встал на цыпочки и осторожно заглянул внутрь. То, что он там увидел, будет преследовать его до конца жизни. В ящике валялись, ползали и лазили друг через друга голые люди с отрубленными руками и ногами. Текла кровь. Раненые кричали, некоторые умоляли о помощи, другие проклинали или кусали соседей. Откусывали куски живой плоти. Это были солдаты с последней войны...

— Уу, как жутко.

— Продолжать, или достаточно?

— Продолжай. Я люблю слушать страшные сказки на ночь.

— Даже такие?

— У сказок обычно хороший конец.

— Ну что же, мучачо, ты сам захотел. Продолжу дозволенные речи.

Неожиданно спящая Эстела опять подала голос.

— Не верь ей, она все сама придумывает. Ловко комбинирует увиденные в хоррор-фильмах сцены.

— Хочешь сама продолжить?

— Нет, я буду дальше спать и видеть сон с участием Грейс Келли.

— Кэри Грант... Лазурный берег... Хичкок?

— Тьфу на тебя, не мешай спать.

— Главное, не садись за руль! Осторожнее на поворотах!

— Полегче! Закрой глаза, тебя Келли ждет!

— Ты будешь продолжать?

— Я должна собраться с мыслями. Поцелуй меня.

— А как же Эстела и ее острые зубки?

— Перетерпит.

— И это услышала. Поцеловать Лауру разрешаю. Но затем поцелуй и меня.

Расцеловал обеих. Сухо, по-братски. Но Эстела неожиданно проявила инициативу и всунула мне в рот свой влажный подвижный язычок. Откинула в сторону плед, притянула меня к себе и обхватила ногами. Штаны с меня стянула Лаура. Когда я в исступлении молотил Эстелу, она умело ласкала меня сзади и помогла не кончить сразу. А затем отдалась мне сама.

Я ничего не понимал, и понимать не хотел. Никогда в жизни не был так счастлив. Несмотря на то, что Лаура и Эстела принялись после прелюдии со мной страстно ласкать друг друга.

Темные птицы под потолком продолжали летать.

Но криков о помощи я больше не слышал.

На следующий день, после завтрака мы играли в пинг-понг. Девушки играли вдвоем против меня. Я старался им подыгрывать.

Затем мы плавали в бассейне.

Обедали.

После обеда разошлись, чтобы спокойно поспать.

А после ужина опять встретились в комнате для общения.

На сей раз время даром терять не стали.

История Исабель

— Трудно себе это представить, господин следователь, но в лабиринте я провела несколько лет. Ну... или мне показалось, что я провела там несколько лет. Ведь когда я вышла из лабиринта и посмотрела на часы, а потом сверилась с календарем, оказалось, что пробыла там только один час.

Что это — наваждение, галлюцинация, гипноз... или вся наша жизнь не больше чем чья-то галлюцинация, намотанная как длинная нитка на стрелу времени? На все эти вопросы у меня ответов нет.

— Продолжайте, прошу вас.

— Я, как и все другие провинившиеся отдыхающие, вышла через Золотые ворота. Для многих других это была простая дверь, а для меня — откуда что берется — это были настоящие ворота из золота. Или из позолоченной меди. Размером с ворота Кармен. Но выглядели они фантастически. Сияли и манили удивительными формами и рельефами. И очутилась я не в душном подземном коридоре, а на свежем воздухе,

в небогатом, крайне запущенном поместье, располагавшемся в долине между горными хребтами. На берегу озера. С заросшим колючками полем для выгона лошадей, фруктовыми садами с одичавшими деревьями, заброшенным огородом, маленьким цветником без цветов, с теплицами, в которых ничего не росло. И замком, построенном еще в тринадцатом веке тамплиерами. В период их наивысшего успеха. Задолго до ужасного конца. Замок этот с укрывшимися в нем рыцарями взяли тогда штурмом войска арагонского короля. Его разрушали и снова строили много веков. В результате от него остались только руины крепостных стен, несколько круглых башен, конюшня, лачуги для челяди, бесформенное двухэтаж-

ное здание с двенадцатью комнатами для хозяев и пристроенная к нему капелла. Все это отчаянно нуждалось в ремонте.

От ворот к замку вела роскошная платановая аллея.

На ветках платанов сидели большие черные птицы и молча смотрели на меня.

Все в этом мире представлялось мне поначалу нереальным, призрачным. Я шла по алле, щипала себя за руку, дергала за ухо, протирала глаза... ничего не помогало. Наваждение не проходило. Наоборот, эта новая, невозможная реальность становилась все гуще, все тяжелее, пахучее и красочнее. Принимала меня в себя, как принимает в себя купальщика океан. Равнодушный к тому, жив человек или уже умер. Меряющий время не минутами и часами, а геологическими эпохами.

У входа в замок меня встретили три незнакомые мне женщины в старомодных цветастых одеждах. Они сердечно поприветствовали меня, называя новой госпожой, и тут же отвели в мою будущую спальню. С огромными, изъязвленными ржавчиной зеркалами в барочных рамах, ветхими комодами и ужасной скрипучей кроватью с балдахинном, пахнущей клопами. Дали мне время спокойно осмотреться. Затем они провели меня в просторную ванную. Раздели и посадили в горячую ванну с фиалковой водой, вымыли, растерли душистым маслом, сделали мне маникюр и педикюр, причесали и облачили в подвенечное платье. Ноги обули в шелковые туфельки. Украсили голову короной с отшлифованными синими и зелеными стеклышками вместо сапфиров и изумрудов. И привели меня в капеллу, в которой нас уже ждали. Гости, священник и жених. Жених, понимаете!

Некоторые витражи в окнах капеллы отсутствовали, под готическими сводами свободно летали голуби, главное распятие покосилось...

Гости были похожи на уродливых персонажей с гравюр Хогарта.

А священник — походил на состарившегося Франкенштейна.

Нас обвенчали.

Во время этой процедуры ожесточенно щипала себя, даже молилась, в надежде на то, что морок развеется. Нет, не развеялся.

В суете и суматохе даже не разглядела моего новоиспеченного мужа.

И вот... мы сидим за свадебным столом в большом зале замка. На стенах — дымят факелы. В помутневших от времени хрустальных бокалах шипит игристо-красное вино. Гости, сосредоточенно чавкая, едят салаты, телячьи отбивные и запеканку из гусиной печени с луком и чесноком.

Представьте себе, господин следователь, я тоже все это ела! Хотя и твердо знала, что и гости, и запеканка, и сам замок — на самом деле не существуют.

И жила потом в этом замке, вокруг которого бродили гуси и куры, два или три года! Жила полноценной жизнью. Доила коз. Слушала крик петуха на рассвете и уханье филина по ночам. Простужалась, выздоравливала. Заводила напольные часы с деревянной мадонной за стеклом. Спала с мужем. Бранилась с нерадивыми служанками.

Забыла и о пансионате, и о лабиринте. Забыла свое прошлое. Забыла его.

— Его? Многозначительно. Прежде чем вы расскажете о вашем муже и о жизни в замке, сделайте одолжение, расскажите о вашем прошлом, о том, почему вы приехали в пансионат. Ведь сюда просто так вроде бы не приезжали. Сюда или ссылали родители, или барышни и юноши сами в пансионате от кого-то скрывались.

— Только, ради бога, не ждите каких-нибудь сенсаций. Я не внебрачная дочь Роберта Редфорда, не принадлежу к королевской семье, никого не убила и не соблазнила, я не проститутка и не наркоманка, отец и братья меня не насиловали в детстве, я не принадлежу к секте сатанистов, не целую черного козла в задницу и не пью кровь невинных младенцев.

— А жаль, это упростило бы задачу. Так как же вы оказались в пансионате? Провалили выпускные экзамены?

— Нет, нет, экзамены я сдала неплохо. И год отучилась на факультете философии и литературы в Сарагосе.

— Вы меня заинтриговали. Вы идеальная будущая жена для обеспеченного мужа. Если конечно не начнете с голой грудью митинговать за равноправие женщин на улицах Мадрида.

— Не хочу темнить. Я по уши влюбилась в профессора нашего факультета. Он преподает историю литературы. Специалист по Джойсу. А он на тридцать восемь лет меня старше. Женат. Имеет взрослых детей от двух браков и пятерых внуков. Сдуру все рассказала матери. Мать не стала меня ни ругать, ни успокаивать... Взяла у состоятельных родных в долг деньги и отправила меня сюда на девять месяцев. В надежде на то, что мое чувство пройдет и все само собой успокоится. Ослушаться матери я не смогла. Потому что люблю ее. Она воспитала меня с двумя братьями одна...

— Таак. Это уже кое-что. Несчастливая любовь. И все такое...

— В том-то и дело, наша любовь не была такой уж несчастной. Как только он увидел, как я на него смотрю, тотчас все понял. Снял крохотную квартирку недалеко от кампуса. С двуспальной кроватью, большой ванной и кухонькой. Мы встречались там почти каждый день. Он здоровый, худой, спортивный человек. Несмотря на возраст. Любил меня до потери сознания. Мы оба были счастливы. То есть он был счастлив,

а я бешено ревновала его к жене, детям, другим студенткам, даже к Джойсу. Ему это вначале льстило, потом надоело. Я вела себя как дура. Он охладел ко мне. Но не совсем. Использовал меня как живую куклу для регулярных половых сношений. Жена его часто болела. Я боролась за него, плакала, но изменить ничего не смогла. Отчаялась. И все рассказала матери. Так я оказалась в пансионате.

— За что же вас в лабиринт-то послали?

— Могли бы сами догадаться. Один особо одаренный студент-информатик, отправленный сюда родителями-консерваторами за гомосексуальные связи, так переделал мобильный телефон, нелегально провезенный в пансионат другим одаренным студентом, что его звонки не замечала все- сильная служба безопасности. Оба гения решили сделать на этом небольшой гешефт. Я случайно узнала — и за пятьдесят евро позвонила своему любимому человеку. У меня были только две минуты. А он и говорить со мной не стал, сказал, что занят и позже перезвонит. Через несколько дней выяснилось, что служба безопасности все-таки засекала мой звонок. И меня вежливо послали в лабиринт.

— Понятно. Ну что же, давайте продолжим. Вы кончили на гусиной печенке и отбивных.

— Да-да. От этой чертовой запеканки у меня самой печень разболелась. В первую брачную ночь.

— А когда вы по-настоящему рассмотрели своего мужа?

— За пиршественным столом мы сидели рядом, и я могла рассмотреть только его руки. Мускулистые волосатые руки сильного мужчины. Могла слышать его голос — низкий, тяжелый, скрипучий. Иногда он целовал меня в голое плечо и кололся бородой. Значит — бородатый.

— А лицо?

— Лицо его я разглядела позже. Страшное лицо. Римский нос. Яростные глаза. Взлохмаченные черные волосы. И борода от ушей до пупка. Черная с проседью, отливающей в синеву. И невероятных размеров усы. Тоже синеватые.

— Приехали. Синяя борода!

— Именно. Я тоже так подумала. И опять себя ущипнула.

— Как-то неловко расспрашивать вас о первой брачной ночи.

— Если неловко, то не расспрашивайте.

— Ладно. Расскажите то, что считаете нужным. То, что может пролить хоть какой-то свет на ваше приключение в лабиринте и на то, что происходило эти годы в этом, так назы-

ваемом, пансионате. Я уверен, что перед тем, как отправится в лабиринт, вы были — разумеется без вашего ведома — наркотизированы каким-то психотропным веществом. Галлюциногеном. Возможно вам незаметно подмешали что-то в минеральную воду, или в еду. Для профессионалов это не трудно. Зачем они это с вами сделали, мы выясним. Прошу вас, продолжайте и не стесняйтесь. То, что вам будет неприятно,

мы с вами вместе из ваших показаний удалим. Или заменим общими фразами. Но я должен узнать правду. Какой бы она ни была ужасной или стыдной. В интересах следствия. Тысячи людей были обмануты и убиты! Никто не вернулся из пансионата живым. Тела кремировались, а родственникам говорили, что их отпрыск поехал в археологическую экспедицию в Бенин. Так что каждое ваше слово может оказаться решающим в разгадке тайны.

— Прежде чем я расскажу о первой брачной ночи, я должна упомянуть одно важное обстоятельство.

— Я весь внимание.

— Еще до венчания и праздничной трапезы — я догадалась поговору служанок, по их одежде... что я попала в другую эпоху. В начало девятнадцатого века. Они говорили на старом языке. Многие мои слова они не понимали. Не имели понятия о автомобилях, электричестве, радио, телевидении. Как я позже выяснила, и представить себе не могли телефон, компьютер, поезд, спутник, обычную лампочку... Были убеждены, что Солнце, звезды и планеты вращаются вокруг Земли.

— Может быть, это было хорошо подготовленной инсценировкой, обдуманном обманом? Для того, чтобы поразить ваше воображение, сбить с толку... чтобы было легче вами управлять?

— Возможно. Но звучало все и выглядело — естественно. К тому же дальнейшая моя жизнь в замке — подтвердила мою догадку. В библиотеке на полках стояли только книги восемнадцатого века. И несколько книг самого начала века девят-

надцатого. На стенах висели старинные почерневшие портреты. Мужчины в жабо. Никакого импрессионизма. Кухня без газа и электричества, разумеется без холодильника, микроволновки, миксера. Дровяные печи. Гигиена, мораль, разговоры — все допотопное. Белье служанки стирали вручную в крохотной речушке, впадающей в озеро. Мыло варили сами.

По озеру плавали несколько маленьких парусных лодок. Это были рыбаки. Они приносили в замок свежую рыбу и подолгу торговались и переругивались с служанками. Я не понимала их речь.

— Киношники, если у них достаточно средств, тоже способны создать подобную мнимую реальность.

— Верно, верно, но эта реальность была не мнимой, а подлинной. Обитатели замка имели только смутное понятие о Французской Революции. Считали, что Наполеон — Антихрист. Об этом им рассказал старый священник, раз в два месяца заезжающий в поместье, чтобы поскорее отслужить укороченную мессу в капелле, получить свою серебряную монетку и десяток яиц и ускакать на своей тощей лошаденке. Боялись ведьм и колдунов. Боялись инквизицию. О грядущей войне с Францией и не догадывались.

— Я все это не оспариваю, но моя работа вынуждает меня скептически относиться к чудесам, и во всем стараться разглядеть человеческую волю, поступки реальных людей и их последствия. Простите, не обращайтесь на меня внимание.

— Идиоткой мне тоже не хочется выглядеть.

— Продолжайте, сеньорита Исабель. Идиоткой я вас не считаю. И все, что вы мне говорите — для меня крайне важно.

— Итак... первая брачная ночь. Вынуждена вас разочаровать. Это конечно было нечто, но не то, что вы вероятно себе представили. Те же служанки надели на меня длинную полотняную белую рубашку. С прорезью... сами понимаете, где... И оставили меня в моей спальне. Ждала я, наверное, час или дольше. Вдруг в комнату, освещенную только лунным светом, вошел мой муж. Он был похож на ошалевшее привидение. На

нем тоже была длинная, до пят, рубашка из белого полотна. И тоже с прорезью. А голова его, вся, как мне показалось, состояла из одной бороды, разросшейся во все стороны. И вверх тоже. Я видела только его сияющие глаза.

Он взял меня за руку... Мы легли. Муж энергично раздвинул мне бедра и лег на меня. И, не сказав ни слова, проник туда, куда хотел. Начал делать фрикции. Мне стало больно. Я пыталась оттолкнуть его. Безуспешно. Муж качал своей страшной головой и бормотал что-то, мне непонятное. Как будто творил заклинания. Через десять минут муж зарычал как дикий зверь и кончил. После этого, так и не сказав мне ни одного ласкового слова, даже не поцеловав, слез с меня, как наездник с лошади, и ушел к себе в спальню, все еще что-то бормоча. Неожиданно громко и саркастически рассмеялся. И хлопнул дверью так, что с зеркал посыпалась пыль.

А я подмылась теплой водой из фаянсового кувшина. Служанка принесла цинковый тазик.

Во время совокупления мне — и тогда и после — казалось, что за нами наблюдают. И не один и не два человека, а сотни, тысячи людей. Наблюдают, громко дышат и хихикают. Я даже слышала их громкое дыхание, их гнусное хихикание. Подумала, служанки за нами подглядывают. Но это были не они. Слышала и еще кое-что, о чем стесняюсь и упоминать. Догадайтесь сами.

Потекли дни, похожие один на другой, как это пишут школьники в сочинениях, как две капли воды. В какой-то момент я потеряла счет неделям и месяцам.

Иногда воспоминания, как летающие острова, проплывали мимо меня. И я видела лица матери и братьев. Они звали меня. И мне остро хотелось домой.

— А вы не пробовали сбежать?

— Эта мысль приходила мне в голову. Но в конце платановой аллеи — я много раз проверяла — не было никаких Золотых ворот, а были полуразвалившиеся чугунные ворота.

Они были не заперты. Но уйти мне было некуда. Вокруг — только горы. И озеро. И денег у меня не было. Муж хранил деньги и ценные вещи в огромном сундуке, а ключ от него всегда носил на груди.

Целый день я возилась в цветнике, каталась на лошади, гладела на горы и читала старые книги. Классику. Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега...

А мой муж... обычно охотился в окрестных горах. В любую погоду. Один, с единственной собакой. В остальное время — сидел в библиотеке и читал одну и ту же книгу — Библию на латыни. Водил пальцем по строчкам. И бормотал. Щипал свою бороду. Со мной он не разговаривал. А если я пыталась завести с ним беседу — рычал и замахивался на меня тем, что под руку попадалось...

Разумеется, я смутно помнила сказку Шарля Пьеро. И подсознательно ждала отъезда мужа. Чувствовала... что-то произойдет.

И это действительно произошло. Он уехал. А перед тем, как уехать, отдал мне ключи. Их было четырнадцать. Один от входной двери в замок, двенадцать — от двенадцати известных мне комнат.

Я спросила его, от какого помещения четырнадцатый ключ. Тут он повел себя странно. Наклонился ко мне и тихо прошептал на ухо: «Слушай внимательно. Играй комедию дальше, иначе и тебе и мне несдобровать. У них нет эмпатии».

А потом добавил своим обычным низким скрипучим голосом: «А четырнадцатый ключ — от особой комнаты. Туда нельзя заходить ни тебе, ни служанкам. Если ослушаешься, я сам — ууу-ууу — казню тебя лютой казней».

И ускакал на своем Буцефале.

А я вдруг очнулась от летаргии. Все-все вспомнила и осознала. И чуть в обморок не брякнулась от ужаса.

Потому что галлюцинация продолжалась. Наяву. Я все еще была пленницей непонятно кого или чего, находилась неиз-

вестно где, непонятно в какой эпохе. Я была марионеткой в кукольном театре. Не знала, кто дергает меня за ниточки. И зачем.

— Какой интересный поворот!

— Ну да, поворот интересный. Но что, скажите, я должна была делать? Послать, как в сказке, одну из служанок за помощью к братьям? Куда? В Сарагосу двадцать первого столетия?

— Ну и что же вы сделали?

— Думала, думала, а потом пошла искать тринадцатую комнату в замке.

Не нашла. Стала отодвигать шкафы, заглядывать за ковры и гобелены. Подняла облака пыли, распугала несчастных мышей. Служанки мои, кстати, когда поняли, что я ищу, убежали из замка и заперлись в своих каморках. Так испугались.

Дверь в тринадцатую комнату я нашла в библиотеке. Как раз за теми напольными часами. С мадонной. Только теперь там, за стеклом, вместо мадонны стоял безносый демон с хвостиком и показывал лапой средний палец. С трудом отодвинула часы.

Вставила ключ в замочную скважину. И тут — рука моя с ключом как будто одеревенела. Хочу повернуть ключ, но не могу, хоть убей. Взяла ключ левой рукой — та же история. Не могу повернуть. Что делать?

Вы не поверите, повернула ключ ртом. Зубами. Получилось.

Потянула дверь на себя. Открыла.

За дверью сгустилась какая-то неестественно черная темнота. Как будто там не воздух, а жидкая тушь.

Колени мои тряслись, все тело болело и меня не слушалось. Откуда-то сверху доносилось пение адского хора. Он явно приветствовал меня. На свой лад.

В глубине комнаты неожиданно появились силуэты шести повешенных женщин. Седьмая веревка с петлей предназначалась мне. Видение появлялось и пропадало.

Вытянула вперед руку с горящей свечой. Никакого эффекта. Свет от свечи не разлетался в разные стороны, как ему было положено, а округлился сферой.

— Как такое возможно?

— Спросите у Эйнштейна или у Нильса Бора. Откуда мне знать?

Мной двигало (опять фраза из сочинения) мужество отчаяния. Я решила во что бы то ни стало доиграть свою роль в этой пьесе до конца. Попыталась шагнуть в эту страшную комнату. Не вышло. Не поднялась нога. Ни правая, ни левая.

Я пришла в ярость. Пошла в кухню, выгребла из печи на медный поднос кучу тлеющих углей... И, не входя в чертову комнату, швырнула в нее угли.

Что тут началось, вы и представить не можете, господин следователь! Трудно это описать. Угли залетали по этой черной комнате, как бабочки и стрекозы в жарком летнем саду. А падать и не собирались.

А хор между тем запел что-то еще более тоскливое. Опять появились повешенные женщины. Я разглядела их вывалившиеся языки. Пустая петля манила.

Пришлось прибегнуть к последнему средству. Не торопясь, я расставила в стороны стулья в библиотеке. С огромным трудом сдвинула в сторону стол — так, чтобы освободилось пространство для разбега. Затем, ни секунды не колеблясь, разбежалась и прыгнула в черную комнату.

На сей раз получилось!

И вот теперь... я находилась внутри незнакомого мне помещения. Почему-то не темного, а... тускло освещенного скрытыми от меня источниками света.

Никаких повешенных тут не было.

Все помещение — назвать его комнатой я не могу, потому что его пространство не было прямоугольным, даже не круглым... а пузырчатым — было заполнено неизвестными мне предметами, напоминающими декорации к научно-фантастическим фильмам. Выпуклые и вогнутые стены этого помещения и его круглящийся потолок были явно сделаны из стеклопластика. Они мерцали как глаза кошки в темноте.

До меня потихоньку дошло, что я очевидно покинула замок. Но куда я попала? Назад в лабиринт? Или — в неизвестную мне часть пансионата? На эти вопросы я не могу ответить даже сейчас.

— И не надо, просто доведите свой рассказ до конца, а я приобщу его к материалам дела.

— Хорошо. Я не стала мучить себя размышлениями над предназначением разбросанных вокруг меня загадочных предметов. Заметила только, что они были скорее машинами, чем стульями, шкафами и столами. Некоторые из них неприятно вибрировали. Другие — тошнотворно медленно — меняли свою форму. Иногда предметы сами собой разделялись на части, иногда, наоборот, сливались в новый предмет. Или они были неизвестными науке формами жизни? С другой скоростью времени? На мое присутствие они никак не реагировали. Может, это были игрушки богов?

Сама не знаю, как нашла выход из этого помещения.

Окончательно пришла в себя на свежем воздухе. Вау...

Вокруг меня возвышались те же горы, которые были видны из замка. На месте озера — густой дубовый лес. А на месте поместья и замка — стоял пансионат. Длинное, широкое, двухэтажное здание без окон. На крыше — металлические кубы и много изогнутых толстых труб. Я сразу его узнала, хотя никогда не видела его снаружи. Невдалеке от пансионата располагались несколько ангаров, похожих на разрезанные пополам шары. Из высоких цилиндрических построек доносился гул.

Ко мне подошел сотрудник службы безопасности и вежливо попросил меня закрыть глаза. После чего он положил мне на плечи свои холодные руки.

Через мгновение я оказалась в своей комнате в пансионате. Там все было по-прежнему.

А через два месяца случилась катастрофа, подробности которой вам известны лучше, чем мне. Я чудом осталась в живых. Вот и вся история.

— Видели ли вы когда-либо еще вашего мужа, Синюю Бороду?

— Нет. К тому же уверена, что он всегда носил в замке маску с накладной бородой. Как он на самом деле выглядел, я не знаю. Возможно, он был отдыхающим в пансионате. Как и я. Попал в лабиринт, а затем, через Золотые ворота, в замок. И играл, как умел, свою роль. Кто-то принудил его к этому. И погиб во время катастрофы.

— Все может быть. А что вы думаете о пансионате? Что он такое на самом деле?

— Тут без инопланетян не обойтись. Или без будущего человечества... которое для нас, возможно, еще более чужое и непонятное, чем греи. Не знаю, кто, но кто-то очень технологически развитый, давно освоивший путешествия по времени и прочие штучки, решил развлечься. И построил пансионат для молодых людей начала двадцать первого века. Создал лабиринт для изощренного издевательства над «отдыхающими». Соорудил и то, что вышло из-под контроля и спровоцировало катастрофу. То, страшное место... лабиринт в лабиринте... в котором высшие существа проводили физическую и духовную вивисекцию и садистски убивали людей нашей эпохи. Они долго забавлялись в своем «пансионате». Но, в конце концов, что-то пошло не так.

Мигуэль

Удивительное дело — о пансионате никогда ничего не писали в прессе. Не упоминали пансионат ни на радио, ни на телевидении. Видимо, существовало какое-то неписанное табу на подобную информацию. Или откуда-то была спущена соответствующая директива. На все медиа? Скопом?

Даже уважающие себя блогеры-инфлюенсеры, день и ночь пишущие в мировой паутине о немислимой чепухе, не упоминали пансионат ни словом, ни полусловом. А от обсуждения этой темы вежливо уходили.

Кто-то высказал предположение, что все они просто боялись. Кого?

И, как водится, чем дольше молчала пресса, тем жарче эту тему обсуждала почтенная публика.

О пансионате постоянно ходили нелепые слухи.

Потому, что никто толком не знал, что это за пансионат такой, и что в нем происходит. Отдохнувших в пансионате и вернувшихся — никто никогда не видел. Не видели, но рассказывали, что... знакомый знакомых, сценарист или продюсер — он, да, точно встречал... на вилле Ди Каприо... своего отдохавшего в пансионате двоюродного племянника, и тот ему такое порассказал...

Что именно... порассказал?

Знатоки утверждали, что пансионат построили совместно западные и китайские фирмы специально по заказу пятисот богатейших семей планеты для отдыха и оздоровления их отпрысков.

Что он находится где-то в джунглях Индостана, или в труднодоступном районе Новой Гвинеи, или на обратной стороне Луны.

Что отдыхающих туда доставляет специально для этого сконструированный самолет или шатл.

Говорили также, что там регулярно происходят чудеса. Преимущественно негативного характера. У мужчин вырастают бивни и рога. Или миролюбивый, добросердечный человек всего за несколько часов осваивает профессию палача.

Что там за огромные деньги омолаживают стариков и старух. Омоложение происходит якобы после купания в крови невинных младенцев и в женском молоке верных католичек.

Лечат безнадежных больных, выращивая в их организмах пилюлю бессмертия с помощью современных лазеров и шаманских ритуалов. Жертвуют богам подземного мира сердце черной собаки.

Вызывают духов умерших и вступают с ними в неподозрительные связи. Производят на свет гомункулов. И разглазывают с ними о смысле жизни.

Превращают идиотов в гениев, пересаживая им мозги нобелевских лауреатов. Трупы лауреатов сжигают в передвижных крематориях.

Что отдыхающие — в туристических и образовательных целях — путешествуют по времени. Активно участвуют в вакханалиях архаической Греции, посещают гладиаторские бои на аренах Древнего Рима и массовые казни еретиков в Испании шестнадцатого века.

Особо заинтересованные индивидуумы утверждали... что обитатели пансионата наслаждаются всеми возможными сексуальными практиками, в том числе и строго запрещенными, и даже невообразимыми. И что руководят ими в этом постыдном деле какие-то гуру, с незапамятных времен живущие в священном городе, расположенном внутри знаменитой горы Кайлас в Тибете. Гуру эти якобы приносят в жертву Шиве молодых мальчиков, за что он посвящает их в неведомые обычным людям тайны сладострастья.

Словом, бог знает, что только ни рассказывали.

Мой дядя, получивший в наследство, как и мой отец, от моего американского деда немалое состояние, называвший себя шутливо «романтиком и эклектиком» уговаривал меня поехать туда на год, «пообщаться с подрастающей элитой мира и, не спеша, поразмышлять о своем месте во вселенной». Обещал оплатить путевку и убедить «эту старую плаксу, твою мамашу» отпустить меня и благословить на поездку.

— Твой покойный отец, если бы не умер, обязательно послал бы тебя в это элитарное учреждение. После окончания школы тебе необходима пауза. Говорят, там есть загадочный лабиринт, в котором идущему по нему человеку открываются тайны мира... Кроме того, там можно завести нужные знакомства.

На самом деле, как я узнал позже, дяде нужно было тогда во что бы то ни стало выпроводить меня куда-нибудь подальше, чтобы я не мешал ему совершать сделки с акциями отца, которыми он распоряжался до достижения мной двадцати одного года. Надо отдать дяде должное — хотя он и рисковал моим наследством, но после нескольких «досадных промахов», сорвал-таки куш и не только не пустил меня с матерью по миру, но и удвоил наше состояние, купил нам недвижимость с виноградниками в Тоскане и целую флотилию ржавых мексиканских рыболовных траулеров. Траулеры дядя получил вместо денег от какого-то дутого греческого миллиардера. Их правда пришлось вскоре продать по дешёвке — они стали нерентабельными после введенных Комиссией по рыболовству ограничений на ловлю трески и тунца в нашей акватории Тихого океана.

Два хорошо одетых сотрудника службы безопасности пансионата усыпили меня специальным газом прямо в доме матери. После завтрака. В ее присутствии. Я сидел в кресле и допивал свой кофе.

Багровая волна подхватила меня и потащила к голубому пляжу. Мягко опустила на сверкающую гальку и отпрянула. На ее место пришла другая и ласково умыла меня зеленоватой теплой водой. После этого я долго сидел на берегу и считал набегающие волны. Наблюдал за загорающими на пляже девушками в бикини.

Проснулся я уже в пансионате, в комнате номер 399. Те же сотрудники службы безопасности поприветствовали меня, похлопали по плечу, посветили маленьким фонариком в зрачки, предложили выпить холодного чая, обыскали, нашли у меня в заднем кармане и изъяли мой смартфон, дали подписать какие-то бумаги и исчезли.

Я остался в комнате один. Тело ломило, в ушах звенело, ничего не хотелось делать.

Распахнул шторы. На тебе!

Альпийские луга. Озеро синее. Горы в снегу. А в середине хребта — торчит сломанный зуб Маттерхорна. Узнал, потому что с детства бредил горами и альпинизмом, но так и не решился подняться даже на Сан Горгонио.

Решил, что пансионат — в Альпах. Обрадовался. По крутому склону побрели альпинисты с рюкзаками и ледорубами, крюки надежно впились в треснувшую плоть скалы, зашуршали веревки, засверкали темные очки.

Да, я тогда еще не знал, что виды из окна — являются продуктом неумейной фантазии ответственного за специальные эффекты члена совета директоров. А за оконными стеклами установлены большие плазменные экраны. Как на океанских лайнерах, во внутренних каютах.

* * *

Марта бросила на пол свое круглое зеркальце, с которым никогда не расставалась, и убежала, как только услышала крики, донесшиеся до нас из соседнего спортзала, куда через вентиляционную систему засасывало дым. Пако и Рафаэль продолжали корчить из себя конкистадоров. Демонстративно молчали, презрительно поглядывая по сторонам. Во что бы то ни стало хотели выиграть пари. Они не двигались с места, пока восковые куклы индейцев не запылали, и огонь не обжог им пятки. А затем удивительно быстро сбросили с себя рыцарские доспехи и ускакали как кенгуру. А я, как всегда, влип. Попался. Запутался в ремнях, поддерживающих наколенники, упал и чуть не сгорел заживо. В последний момент меня спасли пансионатские пожарники, brave ребята в синих касках. Пожар потушили, испорченные куклы и мебель вынесли из зала. Рабочие тут же начали косметический ремонт.

А меня отвели в мою комнату, посоветовали принять холодный душ и ждать звонка из дирекции. По дороге я слышал, как один из сотрудников службы безопасности, молодой, тщедушный и белобрысый, прошептал другому, толстому, с лысиной и в летах: Таких идиотов, как эти трое, у нас, кажется, еще не было.

Лысина ответила: «С тех самых пор, как проклятый Кони́мар попытался в нашей столовой отпилить при всех этой красотке Трифине голову самодельной пилой».

Белобрысый откликнулся: «Да, помню, кровящи натекло... А нашу прекрасную троицу надо не в лабиринт посылать, а прямо в давилку. Иначе мы тут все сгорим».

Через четверть часа я спустился в подвал. Золотые ворота представились мне порталом готического собора, с Мудрыми и Неразумными девами, Страстями Христовыми, историей Адама и Евы и пожирающей грешников пастью дьявола.

И вот, иду я по лабиринту. Стены его — из подстриженного тиса. Метров пять высотой. Над моей головой — синее сверкающее небо.

Иду без цели, плыву, как «пьяный корабль».

Дохожу до тупика и обнаруживаю в нем... узенький проход. Для кролика?

Не понимая, для чего и почему, встаю на четвереньки и пытаюсь пролезть через проход... куда? Не знаю.

И натыкаюсь носом на квадратную дверь. На двери надпись мелом: «Не открывай меня! Пожалеешь».

Пьяный корабль не может думать и понимать, поэтому... бодаю дверь тупой башкой... она открывается, я протаскиваюсь вперед, встаю и... оказываюсь в ванной комнате нашей старой квартиры. Квартиры в Гаване, в которой моя семья жила до эмиграции.

Я хорошо знаю, что сейчас произойдет. Но у меня нет сил на сопротивление...

Смотрю на себя в большое запотевшее зеркало. Я стою голый, кудрявый, с мочалкой в руке. Мне никак не больше восьми лет.

В нашей объемной ванне нежится в душистой пене мой давно умерший дедушка, отец моей матери, и громко поет. По профессии он композитор. Длинная его клиновидная борода дергается в ритме песни.

Дед умудряется петь и одновременно курить сигару.

— Ты хорошо намылил мочалку, Мигеле?

— Да, дедушка.

— Тогда приступай!

Дед встает. Неровные куски пены виснут на его теле и противно колеблются.

А я забираюсь на табуретку, иначе не достану, и начинаю тереть мочалкой его волосатую спину. Начинаю с шеи и постепенно спускаюсь.

Дед просит тереть сильнее и стонет от удовольствия.

У деда, несмотря на его семьдесят лет, талия, стройные юношеские бедра и крепкая розовая задница. Большие яйца болтаются в обвисшей мошонке. Раздвоенная головка члена красная как помидор.

— Намыль мочалку еще раз и мой ниже.

Повинуюсь и тру деду зад и бедра.

— Теперь положи мочалку вот сюда, намыль руки и мой руками тут.

Дед показывает рукой на свою заросшую седыми волосами промежность.

Мне не приходит в голову ничего постыдного, я намыливаю руки и мбю ему пах, анус, мошонку, член... деду это явно приятно, и он повторяет: «Еще, еще, еще...»

Я замечаю, что его член стал толще и длиннее. Не понимаю, почему. Но чувствую, что через мои ладони из него в меня как будто вливается странное возбуждение. Это приносит мне удовольствие. Мой маленький детский пенис

крепнет и встает. Дед замечает это, смеется и опять ложится в пену...

— Хочешь погреться?

— Да.

— Садись на меня.

И я сажусь на него. Прямо на его вставший член. Его член чиркает по моему заднепроходному отверстию и яичкам и остается у меня между бедрами. Дед забрасывает меня пеной. С головой. И начинает потихоньку совершать возвратно-поступательные движения. Его член трется о мои бедра. Я вижу в его глазах страсть, его руки крепко держат меня за плечи, его сигара отчаянно дымит.

Мое возбуждение усиливается.

Дед глухо стонет и оргазмирует. Сперму не видно из-за обильной пены.

Я перестаю чувствовать бедрами крепость его члена.

Дед намыливает мочалку, быстро моет меня, мы выходим из ванны.

И вот... я опять иду по тисовому лабиринту.

Да, все произошло так, как происходило почти два года каждое воскресное утро. Смею вас заверить, мой дедушка не был ни педофилом, ни гомосексуалистом. Любил бабушку. Имел несколько очаровательных любовниц. Ко мне относился заботливо. Никогда не повышал голос. Терпеливо учил меня импровизировать на пианино.

В наших банных забавах дед никогда не переходил красную черту. Не брал мой член в руки, не целовал меня, не ласкал. И не просил ласкать его.

Когда мне исполнилось десять, мы уехали в Штаты, а дед остался на Кубе. Он умер, когда мне было пятнадцать лет.

Я шел и думал о том, что же лабиринт еще для меня приготовил. Как вдруг увидел стоящего у меня на пути быка. Бык ронял из пасти пену и рыл землю копытом.

Подумал: «Ага, это тот самый Минотавр. Что же мне делать?»

На боку у меня висела шпага в ножнах. Залихватски выхватил шпагу. Посмотрел на быка, готовящегося к атаке. И отбросил шпагу в сторону. Бык увидел это, с сожалением посмотрел на меня, и исчез.

А на его месте появился механический мамонт. С крысиной головой. И пастью саблезубого тигра. Оранжевые его глаза горели ненавистью. Такого шпагой не прикончишь. Тут нужно что-то вроде базуки.

И вот, в руках у меня заряженный противотанковый гранатомет. Осталось только навести и нажать на курок.

Но я не сделал этого. Положил базуку на землю. Поднял руки.

Мамонт посмотрел на меня печально и начал уменьшаться в размерах.

Через несколько секунд превратился в мальчишку в шортах и ковбойке. Блондина с голубыми глазами, скошенной челкой и оттопыренными ушами. Мальчик этот дерзко смотрел мне в глаза.

Признаться, я растерялся. Демонический подросток испугал меня больше быка и механического мамонта. Что-то в нем было не от мира сего...

Я не мог оторвать взгляд от его голубых глаз. Пялился, пялился...

Лицо мальчика начало изменяться. Нос вытянулся. Глаза потемнели. Волосы стали черными. Тело выросло.

Передо мной стоял... Адольф Гитлер.

Вообще-то я ожидал от лабиринта чего-то подобного. Но подготовлен к таким чудесам не был.

Гитлер подошел ко мне, поздоровался, взял под руку и повел куда-то.

Лабиринт превратился в немецкий город военного времени.

Вечерело. По улице брели редкие прохожие. Усталые. Изможденные. С серыми лицами. Видимо, они возвращались домой с работы.

Неожиданно заревела сирена. Воздушная тревога!

Из многих домов выскакивали взрослые и дети с небольшими чемоданчиками или сумками. И быстро-быстро шагали в убежища.

Через несколько минут мы слышали первые взрывы. Одно старинное здание рухнуло, подняв густое облако пыли. У двух других — загорелись покатые крыши.

Мы прошли мимо трех лежащих неподвижно тел. Бабушка, дедушка и внучка в смешной красной шапочке. Их только что убило осколками.

Фюрер подвел меня к отелю.

Из-за выбоин на стенах, затемнения на окнах и валяющихся повсюду мешков с песком это шикарное здание выглядело заброшенным и жалким. Мы вошли в полутемное лобби. Администратором в нем работал очень старый человек, похожий на египетскую мумию. Он молча подал фюреру ключ от номера на третьем этаже.

Мы поднялись по роскошной лестнице, покрытой персидским ковром. Стены украшали конные портреты прусских военных времен Фридриха Великого.

В номере Гитлер быстро разделся, лег животом вниз на что-то вроде деревянного топчана и попросил меня привязать его к нему за руки и за ноги. Веревки валялись рядом с топчаном. Их явно часто использовали. Я подчинился, плохо понимая, что делаю.

Гитлер предложил мне присесть в кресло. Я сел.

Бомбардировка не прекращалась.

С улицы доносились мощные удары. Здание пошатывалось. Иногда с потолка, покрытого античной лепниной, падала штукатурка.

Тут в номер вошла женщина в дорогом платье и шляпке с страусиным пером. Золоченые пряжки на ее туфлях уютно посверкивали. Руки ее прятались в элегантной меховой муфте. Норка?

Не сразу, но узнал в вошедшей Еву Браун. Видел фотографию в нашем школьном учебнике по истории Западной Европы. Гитлер и Браун с собаками в резиденции Бергхоф. Немецкая овчарка и английский терьер.

Браун положила муфту на софу и, не торопясь, разделась. Посмотрела на меня кокетливо.

Затем подняла одну из многочисленных розог, валявшихся рядом с топчаном, немного потренировалась и начала сечь фюрера. По спине, заду и пяткам.

Гитлеру это очевидно нравилось. Он ёрничал, скулил, просил ее «не жалеть мальчика и бить крепче». А мне предложил расстегнуть ширинку, «внимательно наблюдать и наслаждаться».

Сцена эта никакого наслаждения мне, однако не приносила. Скорее наоборот, мучила.

Я бы с удовольствием послал ко всем чертям гнусного фюрера и его кралю и покинул бы отель, если бы... если бы я мог это сделать.

И вот... госпожа Браун перестала пороть фюрера и развязала его.

Он лег на спину, а она, расставив бедра, села над ним на корточки.

Гитлер запричитал:

— Мамочка, милая, накорми меня! Накорми! Накорми!

А Браун сказала строго:

— Мама кормит мальчика, только если мальчик — паинька. А когда мальчик паинька? Когда он лижет розочку!

Фюрер высунул свой сивый язык мертвеца и начал иступленно лизать ее анус.

— Еще! Еще! — умоляла она его.

А затем пропела елейным тоном:

— А теперь мальчик откроет ротик... и получит порцию шоколадного муса.

Фюрер открыл свою пасть, а его любовница начала медленно в нее испражняться.

Запахло экскрементами. Я отвел глаза. Встал. Вышел из номера. Спустился в лобби. Не удержался, взглянул на старика-администратора. Как я мог принять его за человека? Это была кукла на шарнирах. С свастикой на рукаве.

Покинул отель.

Но оказался не на улице, а в лабиринте.

Дирижабль

Шагал и шагал между двумя зелеными стенами тиса. То и дело натыкался на тупики. Старался не психовать, принимать как должное. Какой лабиринт — без тупиков?

Возвращался, лил олово, гадал на кофейной гуще... и шел другим путем. И через шесть минут стоял перед новым тупиком.

Лабиринт не пугал меня. Зеленка!

Я боялся не его, а того, что в нем со мной происходило.

А происходило вот что: что-то упрямо разлагало меня на множители... или на слагаемые... Расщепляло как полено.

Безумный дровосек щепил и щепил своим острым топором мою душу, мою судьбу, мою жизнь.

Стробоскопически высвечивались только отдельные сцены. Сцены из жизни, которую я еще не прожил. Было это то будущее, о котором говорил мой лукавый дядя, посылая меня в пансионат? Будущее, которое еще не поздно было изменить? Или... эти сцены были моими воспоминаниями? Настоящими или ложными?

Вот поезд проехал. Откуда тут поезд? И вот... я еду в этом поезде. И не один, а в теплой компании сверстников. Мы едем отдыхать и заниматься серфингом на побережье Португалии и весело болтаем. Какие-то злые мальчишки, де-

ти крестьян, бросают в поезд камни. Один камень с страшным треском вышибает наше стекло. Ранит моего друга. Я вижу пузырящуюся кровь на его пробитом колене. С тех пор он хромает.

А теперь — я как будто в зоопарке. Веду за руку маленькую девочку. Дочку? Она вырывается и прыгает в бассейн с крокодилами. Я ловлю ее в воздухе. А потом выпрашивает у меня мороженое. Без шоколада. Я так люблю ее.

Новая вспышка — ей уже пятнадцать. Она хочет черное пальто. Скрипя сердце даю жене деньги. Жена покупает дочери пальто, но та его не носит. Назло?

В двадцать шесть лет дочка рождает сына, в сорок лечится от депрессии и винит во всем меня.

Что это? Видения?

Почему же все в них так реалистично, правдоподобно?

Вот, я играю в карты с бандитами и шулерами. Проигрываю все, что у меня есть. Сбережения, дом, машину, страховку жены. Жена бросает меня. Я пытаюсь вымолить прощение. Напрасно. Ее новый муж — журналист. Они вместе уезжают жить в Лиму.

Вот меня шантажирует и преследует мафия. И я — с огромным трудом — выслеживаю и убиваю ее главаря, хитрого и безжалостного Пабло. Меня ловят. Судят. На суде замечаю, что воротник судьи давно не стиран, а его ногти — не чисты. Так же как и совесть. Я в тюрьме. Меня бьют сокамерники и пытаются насиловать охранник. Я долго выжидал, а затем перерезал ему горло самодельным ножом в прачечной. И меня не поймали, не осудили. Помню, как он хрипел и визжал.

Вот я работаю в бюро на двадцать пятом этаже небоскреба в Сан-Франциско. Долго-долго. В отделе проходит реорганизация. Новый начальник увольняет меня, и мне приходится

отдать банку купленный в кредит дом. Я уже стар и не способен на месть. Живу в крохотной квартире на окраине Мехико. Солнце палит нещадно. А у меня нет денег на кондиционер. В моей ванной ползают тараканы. Однажды я привел ко мне в квартиру малолетнюю проститутку-мулатку. Ее янтарные глаза были наполнены слезами. Она звала на помощь мать. Кричала, что ненавидит меня. Я жалел ее, презирал себя, но довел дело до конца.

Вот мой близкий друг. Он у меня в гостях. Мы пьем и едим жареную утку. Он улыбается, он хвалит, он любит меня. Облизывает жирные пальцы. Через неделю я застаю его в постели с моей женой. Жена плачет, а он только ухмыляется. Я хочу убить их обоих. У меня есть револьвер и патроны. Но я не могу выстрелить в друга или в жену, бросаю револьвер на пол и сажу, опустив голову. Они решили, что я слабак.

Да, в этой комнате в Боготе я хотел повеситься. Прикрепил веревку к крюку на потолке. Встал на стул. Надел петлю на голову. Но тут увидел попугая на соседской крыше. И неожиданно развеселился. Так смешно он прыгал, пытаясь разгрызть грецкий орех. Самоубийство пришлось отменить.

Вот, я на концерте. Огромный хор исполняет «Военный Реквием» Бриттена. У меня текут слезы. С каких это пор я стал сентиментален? Зачем пошел на этот концерт? Я не понимаю и не люблю классическую музыку.

Я заплакал, потому что увидел колонну мертвых военных, проходившую по воздуху прямо через зал. Они все шли и шли, роняя пальцы и глазные яблоки. Пока пел хор.

* * *

Здесь, в лабиринте, моя жизнь похожа на додекафоническую пьесу для рояля.

А я сам — представляюсь себе разбитым зеркалом.

Я иду, иду — от тупика до тупика. Собираю осколки самого себя. Я пазл.

Видения преследуют меня.

Я измотан, устал. Потерял чувство времени. Забыл свое настоящее имя... адрес... забыл, почему я тут...

Мне страшно. Мне чудятся хтонические чудовища. Они хватают меня за ноги и тащат в свои подземные логова. Раздирают на части и жрут.

Но я оживаю и иду дальше по лабиринту.

Где ты, Ребека, солнце и радость моей жизни?

Где твои нежные смуглые руки?

Почему я не слышу твой звонкий смех?

Кто притаился там, за этой кирпичной стеной?

Чьи фиолетовые глаза следят за мной день и ночь?

Почему никто не приготовит мне суп из фасоли?

В одну из нечастых минут просветления я вспомнил мою ничем не примечательную одноклассницу, Бланку. Неуклюжую зануду и зубрилу. Неожиданно для всех она сошла с ума. Говорили — из-за страха перед выпускными экзаменами. Разбила дома зеркало. Разжевала и съела его осколки.

Тут, в лабиринте, я ее понял. Нет, не экзамены стали причиной ее безумного поступка. Она испытала то же, что и я. Расщепление. И попыталась его остановить.

Нет, нет — у меня никогда не было одноклассницы Бланки.

А осколки зеркала съела прекрасная Елена, тонкая, как травинка, беззащитная и ранимая. Когда я ее бросил.

Она так любила меня, а у меня в сердце не было ничего, кроме эгоизма и похоти. Я заставил ее проституировать

в Марселе, и она кончила свою жизнь в больнице для душевнобольных в пригороде Буэнос-Айреса.

* * *

Внезапно я услышал шум. Нежное и монотонное шуршание пропеллеров. Утробное урчание хорошо смазанных дизельных двигателей.

Задрал голову. Бог мой, дирижабль!

И не какой-нибудь, а знаменитый «Гинденбург»! С свастиками на хвосте. Правда, почему-то желтыми.

Откуда он сюда прилетел? Из ада?

Мне все равно. Лишь бы вырваться из лабиринта, из этой неестественной осколочной жизни. Из додекафонии.

С дирижабля спустили канат. Поймал петлю. Влез в нее, как в ночную рубашку.

Канат мягко оторвал меня от земли и понес вверх, как орел — Ганимеда. Прямо к открытому люку. Прежде чем влезть в люк, успел оглядеться. Зеленый лабиринт простирался до горизонта. Выбраться из него было невозможно.

Внутри дирижабля меня встретили — капитан в смешной желтой униформе с погонами и в фуражке с огромной золотой кокардой и три полуобнаженные красавицы. Капитан, слегка запинаясь и жестикулируя, произнес краткую приветственную речь. Я был так ошарашен, что ничего не понял. Но кивал и вздрагивал. Вздрагивал и кивал.

Девушки повесили мне на шею венок из цветов. Посадили в удобное кресло недалеко от окна. Предложили свежие фрукты и бокал шампанского.

Никаких немцев на этом воздушном корабле не было. Команда состояла из приветливых азиатов, гортанный язык которых был мне непонятен.

Сексапильные девушки не принадлежали к какой-то определенной расе... в них было что-то от калейдоскопа. Ка-

лейдоскопа нежности и красоты, который непрерывно вращался.

Съел маленький калифорнийский банан. Полакомился инжиром, финиками и виноградом. Пригубил бокал, глотнул...

А потом... полчаса любил одну за другой всех трех красавиц в их влажные рты, пахнущие плодами манго и свежестью.

Решил, что очутился в летающем раю.

Из окон дирижабля был видел только океан. Спокойный. Бескрайний. Синий как стиральный порошок.

Не мог поверить, что все так чудесно. Спросил у девушек, какой нынче год.

Оказалось — 1936-й.

— Месяц?

— Май.

— Шестое?

— Да, господин.

— Как долго еще лететь до Нью-Йорка?

— Час. Посмотрим на Манхеттен, а затем полетим в Лейк-херст.

Знаю, знаю... читал и фильм смотрел. Там нас ждет гроза. Значит мне суждено наслаждаться этим раем всего три-четыре часа. А потом придется принять огненную ванну и упасть на землю обгорелым трупом или золой.

Что-то подсказывало мне, что мои прекрасные спутницы хорошо осведомлены о нашем будущем. Не удержался и спросил.

— Водород взорвется?

— Да, мой господин. Возникнет пожар. Вы погибнете.

— Если ли возможность избежать катастрофы?

— Нет, мой господин.

— Почему бы нам не приземлиться где-нибудь еще? Завтра или через месяц?

— Все предрешено. Ничего изменить нельзя. Вы сами заказали эту судьбу, милый господин.

— Я ничего не заказывал. Тут какая-то путаница.

На столике передо мной появилась бумага с красной печатью, договор, явно подписанный мной. Где и когда я его подписал?

Бегло просмотрел текст. Действительно, на вопрос — какую смерть предпочитаете, я ответил так:

— Быструю, неожиданную, по возможности безболезненную. Например, при аварии дирижабля.

Нашел дату подписания договора. 2050 год.

— Но это же будущее!

— Дорогой господин, договор был проверен нашими юристами. Все составлено по правилам. Мы всегда ведем честную игру с нашими клиентами с Земли. Поэтому... используйте оставшиеся вам часы на что-либо приятное. Это умнее, чем затевать бессмысленные словесные препирательства

с нами. Мы делаем все, что можем, для того, чтобы облегчить вам прощание с жизнью. Вы не сгорите живьем. Одна из алюминиевых балок ударит вас по голове и убьет на месте в тот момент, когда вы будете совершать коитус с одной из нас. Наши инженеры все предусмотрели. Вы не почувствуете на себе последствия взрыва, не увидите пожара. Вы ничего не поймете.

— Успею, по крайней мере, кончить?

— Нет господин, но вы будете в приятном ожиданье. Многие клиенты считают, что эти моменты слаще самого оргазма. Фирма обо всем подумала. Наш полет совершается только для вас одного. Посмотрите, уже видно Эмпайр-стейт-билдинг. И Рокфеллер-плаза.

Тут мне в голову пришла идея.

— Как вы думаете, нельзя ли упросить капитана сделать получасовую паузу — прямо над Ар-Си-Эй-Билдингом. Всю жизнь мечтал посмотреть на фреску Диего Риверы. Но не довелось.

— Поговорить с капитаном можно. Только он вряд ли согласится.

— Проводите меня к нему.

Капитан принял меня и выслушал, не перебивая. А затем согласился. Сказал, что спустит меня на крышу здания в той же петле... Покружится над Манхеттеном, а через полчаса заберет меня оттуда же.

— Не забывайте, дорогой Мигуэль, мы тут находимся инкогнито, так сказать. Для жителей Нью-Йорка и мы, и вы невидимы. Но это, вопреки законам физики, не мешает вам насладиться фреской. Если ее, конечно, еще не сбили со стен ревнивые капиталисты. Постарайтесь не вмешиваться в жизнь людей 1936 года. Если вы все-таки это сделаете, то возможно все мы исчезнем, как говорил взбалмошный профессор с растрепанными волосами в известном фильме. Предупреждаю вас, потому что знаю ваши мысли... Жить вам осталось (капитан вынул из внутреннего кармана кителя золотые часы) ровно три часа, тридцать пять минут и сорок три секунды. Ангелы смерти уже тут, как вы вероятно заметили (он показал рукой на трех стоящих невдалеке девушек) и они заберут вас, что бы ни произошло. Но если вы сознательно нарушите договор, они возможно покажут вам свое истинное обличье...

Девушки смущенно кивнули. Несколько криво. У одной из них вместо лица на мгновение показалась козлиная морда дьявола. Увенчанная толстыми рогами.

— Понял. Хотел бы только узнать, прежде чем окончательно смириться с судьбой, откуда вам известно точное время моей кончины?

— Простите, дорогой мучачо, но время указано в договоре. Вот, смотрите.

— Да, но тут указан не 1936 год, а 2063-й.

— Но мы и находимся в 2063 году. Сюда мы прибыли исключительно из декоративных соображений. Особая услуга. Временной скачок. Для придачи достоверности...

— Не буду спорить. Но меня-то вы выловили своей петлей из лабиринта года 2010-го. Мне только двадцать лет.

— Как это двадцать? Вам должно было несколько дней назад исполниться 73. Посмотрите на себя в зеркало. Вы старик. Хм... Давайте сделаем так: я сейчас на всякий случай свяжусь с главной конторой фирмы. А вы пойдете с тремя нашими красавицами в специальный кабинет. Там есть все необходимое для отдыха души и тела, поверьте.

Не удержался, посмотрел в зеркало в кабине капитана.

И не узнал себя.

Расплывшийся, лысый старик.

Потухшие глаза.

Обрюзгшее тело.

Морщины.

Страшилище!

Позволил увести себя, раздеть и уложить на огромную кровать.

Попросил девушек выйти из кабинета.

Капитан говорил правду... за часы или дни, проведенные в лабиринте, я постарел на 53 года и не заметил этого. Превратился в уроду, в пугало.

И эти самые додекафонические ноты, эти осколки зеркала — были ничем иным, как реальными событиями моей жизни.

Людьми, с которыми я встречался, которых любил, с которыми жил.

Зданиями... в которых развлекался или работал. Которые видел из окна трамвая или автобуса.

Ландшафтами...

Неужели это действительно так? И от моей жизни, жизни... остались одни осколки? Ноты? Звуки? Слова?

Или — не осталось ничего?

Капитан, постучав, вошел в кабинет. Встал в позу. И что-то долго вещал... вращая масляными глазами и прижимая руки к груди. Заверял, убеждал, лопотал и хряпал.

Я его не слушал. Ведь он был только говорящей куклой на шарнирах.

Вежливо попросил его уйти и позвать девушек.

Милашки разделись и легли рядом со мной. Грудки их пахли шампунем и ягодами.

МУХА

У Доры Карловны

Это случилось в самом начале века.

Я приехал в Москву по личным делам, о которых муторно рассказывать. Всего на пять дней. Остановился в академическом отеле недалеко от бывшей Октябрьской (ныне Калужской) площади. Все тогда казалось мне в этой послеельцинской Москве незнакомым. Хуже того — диким, абсурдным. Это был уже не мой город. Это был город оставшихся. Город не уехавших.

На третий день, утром, позвонил жене своего бывшего кумира, художника Марка Иосифовича М, Доре Карловне, и попросил ее о встрече. Хотел еще раз окунуться в мир его картин и поговорить о покойном мастере, которого не видел с начала перестройки.

Дора Карловна согласилась встретиться сегодня же. По ее тону, я почувствовал, что она удивлена и рада предстоящей встрече. Рада поговорить с кем-нибудь о том, кого боготворила и о его картинах, которые считала лучшими, лучшими, лучшими на всем белом свете.

Вышел из отеля в шесть вечера, а в полседьмого уже топтался у подъезда 28-этажного дома в Тропарево, в котором, на девятнадцатом этаже, находилась квартира Доры Карловны.

В этой квартире М никогда не жил. Был вынужден ютиться с женой и дочкой в коммуналке. Дора Карловна купила ее на деньги, вырученные на аукционе СОТБИС за три работы мастера. В этой большой трехкомнатной квартире хранилось все творческое наследие М. Около трехсот картин и несколько сотен графических работ. И его эпистолярный архив. Квартира охранялась милицией. Обо всем этом мне рассказала его вдова по телефону.

Позвонил снизу в квартиру.

— Это я, Антон.

— Добро пожаловать, Антоша, заходите...

Лифт не был скоростным. Но доставил, куда надо. На стене лифта разглядел неловкий рисунок ногой женщины, процарапанный острым металлическим предметом, с надписью: «Ведьмаха. Недалеко от него кто-то написал: Маруська, ступай в манду по утренней росе».

На лестничной площадке валялись и стояли — старые велосипеды, детская коляска на боку, с одним оторванным колесом, несколько пыльных огнетушителей, дырявые хоккейные ворота, два сломанных протеза ноги от колена и ниже, мужской и женский, сувенирный пентакль на картоне с полинявшим изображением козла, ящички из-под яблок и три грубо сделанных буддистских статуи, похожие на те, что немцы ставят на своих земельных участках рядом с цветами и плодовыми деревьями...

Дора Карловна, седая, но еще бодрая, моложавая, не расплывшаяся как другие, горбоногая, в длинном бежевом платье, встретила меня радушно, потрепала за щеку, провела рукой по носу и лбу, погладила по голове. И за ухо дернула.

Взяла меня за руку и показала всю квартиру. Даже в спальню и в ванную комнату заводила.

После этого привела меня в столовую, из окна которой открывался шикарный вид на все еще Ленинский проспект. Предложила мне сесть на стул, стоящий рядом с старинным обеденным столом, а сама села напротив меня — в роскошное кресло с резьбой и инкрустациями (целое собрание грифонов и Тесей, убивающий Минотавра).

Позади нее — в несколько рядов от пола до потолка на специальной, сваренной из стальных уголков подставке — стояли работы мастера. Его «иконостас». На иконы его работы, впрочем, совсем не походили. Это были разнообразные живописные конструкции как бы с дверью посередине. Или

с воротами. Мастер называл их когда-то «жерлами» или «входами в иные миры». А я все время гадал, что же за ними находится. Воображал неизвестно что.

На столе — тарелки, чашки на блюдцах, явно вручную расписанный заварочный чайник с красными петухами, небольшой фарфоровый самовар с розовыми и малиновыми цветами на боках и блюдо с плюшками, изюмом, грецкими орехами и печеньем. И еще почему-то маленькая медная статуэтка менады.

Но меня тут не чайник влечет и не грецкие орехи. И не менада.

Меня как магнит железо притягивают к себе работы мастера. Ведь я столько лет был его неудачливым подражателем. Столько лет мечтал о том, что сам смогу нарисовать нечто подобное. И вот... я в его святилище, в его храме... приношу ему жертву на его алтаре.

Спросил хозяйку дома:

— Разрешите подойти и рассмотреть работы вблизи?

— Позже, Антоша, позже. Вначале попейте со мной чайку, съешьте плюшечку, соседка по погосту испекла, поболтаем, а потом и встанете, и рассмотрите, и потрогаете. Обещаю, что покажу что-нибудь, что вы еще не видели.

— Слушаюсь и повинуюсь. Вначале надо, как у Бабы Яги — в баньке попариться, потом попить-поесть, а только потом сказку слушать...

— Именно, именно. Бани у меня правда нет... Все по порядку. Мы ведь не виделись... Сколько? Четырнадцать лет. Много воды утекло. Марк Иосифович умер, бедняжка. Рано умер. Семьдесят с небольшим. Слава Богу, застал несколько своих выставок. Да каких... огромных, настоящих. В залах Новой Третьяковки. В Русском Музее. В Музее Людвига в Кёльне. Умер и СССР, развалился, чтобы ему пусто было. Так тяжело мы жили при Советах. В нищете.

Дора Карловна замолчала и задумалась. Видно было, что ей мучительно вспоминать прошлую, голодную и унижительную жизнь.

Чай был горьковат и отдавал неизвестными мне пряно-стями. Плюшки были превосходные. С маком и корицей. Соседка по госту?

— Чтобы сразу закрыть тяжелую тему... расскажите, пожалуйста, как Марк Иосифович умер.

— Плохо умер, Антоша. От воспаления легких. В больницу наотрез отказался ехать. Я и так и сяк, пыталась уговорить. Его бы там спасли. Капельницы, кислород. А дома... кислород у нас был, но он не хотел... Дышал громко, плохо, хрипел... Всю ночь с ним просидела, руку его в руке держала, к утру забылась, а очнулась... слышу, замолчал. Я ухо ко рту поднесла, а он уже не дышит. И пульса нет. Пыталась его реанимировать, как могла, вы же знаете, я много лет работала медицинской сестрой. Да все напрасно. Умер мой милый человек. Сегодня ночью он ко мне приходил. До самого утра со мной был. Любил меня.

В усталых глазах Доры Карловны, когда она это говорила, неожиданно загорелись серые звездочки.

Я сделал вид, что не расслышал ее последние слова.

— Понимаю, скорблю. Вас и Машеньку очень жалею.

Машенькой звали дочь Марка Иосифовича и Доры Карловны, я видел ее только в стародавние времена — еще девочкой.

— Да, Машеньке, бедной, досталось. Самоотверженно ухаживала за мной. А я плакала и билась чуть не год. Успокоилась только когда ко мне муж в первый раз после смерти пришел. И усладил мою душу и тело.

Усладил? Подумал, уж не чокнулась ли старуха. Решил так: даже если чокнулась, не мое это дело, пусть думает и воображает себе, что хочет. Лишь бы не плакала и не страдала.

Дора Карловна в прежние годы всегда была добра ко мне, даже защищала от язвительных нападок Марка Иосифовича, на которые он был щедр, особенно если подозревал, что молодой художник ему подражает.

— Давайте... помянем мастера хоть чаем.

Взял свою чашку и тихонько чокнулся с чашкой Доры Карловны.

— У меня и водка в холодильнике есть, если вы хотите. Есть и вино. Принести?

— Нет, спасибо, я в Германии пить отучился. И желания нет. По-моему, это ужасно глупо, становиться эмигрантом и пить за границей, как в Совке. На кой черт тогда уезжать? Пить лучше дома.

— Слышал, что в годы 87–88-е Марк Иосифович в Израиль уезжать собирался, а вы кажется не хотели. Расскажите, почему вы в Израиль все-таки не уехали.

— Да, собирался. Это длинная история. Я расскажу кратко. И не все. Вы ведь слышали, наверное, что мы оба еще в семидесятые годы крестились. В русской православной церкви. Отец Александр нас крестил. Марк Иосифович регулярно посещал храм, исповедался и причащался. А в Израиль уехать его уговаривали наши родные и знакомые евреи. Он разрывался. Потому что ощущал себя православным и жить хотел в православном мире, но любил и уважал евреев. И вот он мне сказал: «Все, Маруся, — так он меня звал, когда мы были одни, — завтра пойду документы в ОВИР подавать». А я боялась в Израиль ехать. Сон видела. Вещий. Стоит Машенька наша будто на горе. А гора эта — до неба... и вся покрыта могильными плитами. Стоит и плачет. И могильную плиту гладит. И понимаю я во сне, что под этой плитой мы похоронены — и Марк, и я. И жалко мне стало Машеньку, стоит бедная на кладбище... одна... Проснулась и кричу мужу: «Никуда не поеду. Хочешь, поезжай один». И он передумал. А теперь и не знаю, может и надо было уехать. Там говорят врачи лучшие в мире. Может, подлечили бы его...

— А как Марк Иосифович в конце жизни к православной церкви относился?

— Перестал посещать. В нашей церкви батюшка сменился. А нового такого занозистого прислали. Не знаю почему, он Марку Иосифовичу сказал на исповеди: «Ты перед Богом — земляной червяк». Тот не выдержал, нагрубил попу и в церковь больше ни ногой. Я пыталась его уговорить в другую церковь ходить. Но он на меня цыкнул и больше церковь не посещал, хотя дома и молился. А я подумала, ну и ладно, как может, так и живет. Я всегда его поддерживала. Даже когда он мне изменял чуть ни два года — с одной люберецкой сукой — делала вид, что не замечаю. А когда он мне все честно рассказал — простила. Потому что его дар — дороже моих чувств, дороже моей жизни. Ну вот, теперь можете встать, Антоша, и работами Марка Иосифовича насладиться, а я помолчу с полчаса. Чтобы не отвлекать вас болтовней от созерцания.

Я встал, подошел поближе к «иконостасу». И рассмотрел его хорошенько. Картины за картиной.

Странно. Прежнего восторга я не испытал. Наоборот, мне стало жутко.

Тут же начал пытаться себя — почему?

Что изменилось? Картины или ты сам?

Пришел к выводу, что и то и другое.

Картины мастера явно потемнели. Некоторые стали просто черными.

А ведь тогда, в середине семидесятых, когда я впервые увидел работы Марка Иосифовича, они поразили меня своими небесно-голубыми оттенками, как у Джотто на фресках. Полным, здоровым розовым цветом, как у Фра Анжелико. Чудесным, светлым sfumato как у Леонардо. Его белила, казалось сделаны из творога, а желто-оранжевый — из мякоти персиков.

А я? Тоже потемнел?

Да, потемнел. Разуверился во всем, в чем можно разувериться. Развратил собственную душу всем возможным человеческим развратом. Но при этом не стал ни злобным хмырем, как многие другие, ни циничным мерзавцем, ни садистом...

Наоборот, начал терпимее относиться к людям и их проделкам, потерял амбиции, гонор, живу как в чистилище. Но не в аду, не в аду...

Не выдержал, спросил у Доры Карловны:

— Вам тоже кажется, что работы Марка Иосифовича потемнели, или это у меня перед глазами темно?

— Мне трудно судить, дорогой Антоша. Вы кажется не заметили этого, но я почти потеряла зрение. Вас вижу как пятно, большое синее пятно.

— Это потому что я в голубых джинсах и джинсовой же рубашке.

— Видимо. А работы Марка я больше и не рассматриваю. Делала это каждый день... пятьдесят лет. Только, как он велел, чуть-чуть влажной тряпочкой их раз в месяц протираю. От пыли.

— Это же темпера. Ее нельзя влажной тряпкой.

— Он мне так велел, и я буду, пока жива, это делать.

— Ладно, ладно. Не хочу соваться не в свое дело. Извините, а вы что, и лица моего не видите?

— Вижу, вроде как очищенную картофелину с носом.

— Спасибо за сравнение.

Понял только теперь, почему она меня ошупывала. Хотела, как слепая, удостовериться, что я это я.

Мы беседовали еще часа два. Я спрашивал о прошлом, Дора Карловна рассказывала. Я поражался краткости, точности и простоте ее ответов...

Например, когда я ее спросил о современной политической ситуации в России, она ответила: «Что тут скажешь... Мы не можем без войны, Антоша. Без врагов и без их трупов. Сейчас убиваем чеченцев, потом еще за кого-нибудь примемся».

Как и обещала, показала мне дюжину работ мастера, которых я не видел.

Я их похвалил. Но до небес не расхваливал. Она это заметила и дала мне это понять.

Пора было мне уходить.

И я уже десять минут думал, как об этом объявить моей хозяйке. Надо было это сделать мягко. Но настойчиво. Дело в том, что Дора Карловна явно не хотела меня отпускать.

Может быть, к ней долго никто не заглядывал? Из тех, с кем можно было поговорить о гении ее покойного мужа?

Мне очень не хотелось как-то поранить заслуженную пожилую женщину.

И вот, наконец, я решился.

— Ну что же, пора мне и домой идти. Баиньки. Завтра по Москве придется помотаться. Завершить, что начал. Надо отдохнуть. А послезавтра я улетаю во Франкфурт.

Ее реакция на эти мои слова поразила меня. Как будто меня молния в голову ударила.

— Полно врать, мальчик, я ведь не кисейная барышня, ничего ты на завтра не запланировал, все дела еще вчера закончил, будешь весь день в носу ковырять, да дурака валять. Да и сегодня — не хочешь ты рано спать ложиться, а хочешь проститутку найти в казино рядом с отелем и трахать ее, пока трахалка позволяет.

Она говорила правду.

Но какой стиль! Какая лексика!

Я растерялся. Не знал, что сказать. Пошел было к выходу, но Дора Карловна неожиданно подошла ко мне, взяла за плечи, приблизила свое лицо к моему лицу и прошептала хриплым, неузнаваемым голосом: «Не хочешь ли, мальчик, со мной потренироваться?»

После этого, она резким движением расстегнула платье и вынула из него свои груди. И прижалась ими ко мне.

Тут я окончательно смутился. Потупился.

Мне было стыдно и неудобно.

А Дора Карловна взяла меня за запястье и потащила в спальню.

Я позволил ей увести себя. Почему-то не нашел в себе сил ей противостоять. Как будто она меня загипнотизировала.

Описывать то, что мы делали на ее широкой кровати, я не буду. Обычное дело. Необычным было лишь то, что в полутьме спальни мне казалось, что я занимаюсь любовью не с одной женщиной, а минимум с семью. Тело мое так напрягалось в любовном экстазе, что я боялся — что мои яички, член и низ живота разорвутся на части и из меня вывалятся внутренности.

Не помню, когда я заснул.

Да... проснулся я почему-то не в спальне, а все в той же гостиной. Я сидел голый на том самом стуле за обеденным столом. На столе ничего не было. Кроме серебряного столового ножа. Не было нигде видно и Дору Карловну. Который был час, тоже было не ясно. Вроде бы еще не рассветало.

В сиреневом, сумеречном свете работы Марка Иосифовича казались особенно жуткими. Что-то внутри них клокотало, царапалось, рвалось наружу.

А дальше... Дальше начали сами собой открываться двери и ворота на картинах «иконостаса».

И из этих дверей и ворот в комнату начали вылетать чудовищных размеров бабочки, мухи, осы, слепни, стрекозы...

Они облепили меня... я пытался дотянуться рукой до серебряного ножа, чтобы отбиться, да так и не дотянулся.

Одна, особенно мерзкая синяя муха влезла, жужжа и вращая огромными фасеточными глазами, мне через рот в дыхательное горло и прекратила доступ воздуха в легкие.

* * *

Да-да, я не умер. Мой рассказ имеет продолжение.

Я сидел на кровати в моем отеле. И набирал номер Доры Карловны на моем мобильнике.

Подошла незнакомая мне женщина. Догадался, что это Машенька. Говорила она со мной неохотно и грубовато. Это так типично для не уехавших...

Сообщила мне, что теперь живет в этой квартире с мужем и детьми.

— А где же ваша мама?

— Мама умерла семь лет назад, через год после смерти Марка Иосифовича. Так и не перенесла утрату. А вы что собственно хотели?

— Ничего, спасибо. Хотел только передать привет. Но теперь некому.

— Прощайте, и больше по этому телефону не звоните.

Поезд

Ужасно хотелось ей нахамить. Но я сдержал себя, зачем попусту тратить энергию? Грубость Машеньки меня особо не тронула, что с нее взять, ведь она живет в России... а вот то, что я только что пережил то ли во сне, то ли в мечтах, то ли в галлюцинации, то ли под гипнозом — не давало мне покоя.

Мое приключение в Тропарево — разговор с Дорой Карловной, ее квартира, картины Марка Иосифовича, дикая оргия на широкой кровати, и то, что случилось потом — бабочки, слепни, мухи и стрекозы величиной с толстую книгу — все это было так живо, так естественно, объемно, жутко. Запомнилось даже в деталях. И не думало исчезать из памяти, стираться, как это бывает с ложными воспоминаниями. Или заволакиваться белесым туманом, как это полагается делать в фильмах категории «Б» всякой мистической чепухе.

Жгло и царапало душу и тело.

Получается, Дора Карловна не бредила, когда рассказывала мне о том, что ее умерший муж «приходит к ней» по ночам, а это я сошел с ума и грежу... и грёзы эти реальнее самой реальности.

Выпил чашку крепкого черного чая, в которую положил две ложки сахара, съел чёрствый бублик с маком, единственное хлебобулочное изделие из продовольственного ларька на Шаболовке, которое не вызвало у меня никаких подозрений, и попытался сделать мысленный эксперимент. Сравнить все

то, что видел в «видении», с тем, что видел раньше, наяву, в коммунальной квартире на улице Чаплыгина, где Марк Иосифович жил с женой и кошкой Мусей.

Размышлял, не торопясь. Итак... Дора Карловна.

В моем видении... это была она? Внешность — такая же, как у меня в памяти. Манера и стиль речи — тоже. Осанка, жестикация — барская, почти мужская, взгляд — уверенный, властный. Марк Иосифович часто называл ее «моя княгиня». Все правильно, это она.

Единственное, что я никогда от нее не слышал — это грубости. То, что говорила моя хозяйка перед тем, как утащить меня в кровать — было... не то, чтобы не ее. Я всегда был уверен в том, что эта сильная женщина за словом в карман не полезет, даже в опасной для жизни ситуации. Просто я ничего подобного от нее не слышал. Но это ничего не значит. В постели... Дора Карловна преобразилась. Стала — как ей это удалось? — похожа на испанку лет тридцати семи. Ненасытную, ревнивую, черноволосую смуглянку с огненными глазами. Перед тем как совокупиться со мной, она вонзила в иступлении серебряную булавку себе в сосок на левой груди, и заставила меня слизнуть с него капельку крови.

Испанкой она пробыла, впрочем, только несколько минут, а потом стала сама собой, чтобы затем вновь преобразиться, на этот раз в молоденькую неопытную креолку, которую мне пришлось совращать... в зрелую полногрудую красавицу из Пуэрто-Рико, которая научила меня многому, о чем я понятия не имел... в нежную, почти игрушечную японку, мастерицу восточного сладострастия... в белокурую немочку из Рудных гор, похожую почему-то на композитора Вагнера... в породистую узколицую турчанку в синем шелковом платке, прядную мечту жителя средней Европы.

Но... почти все выглядят и ведут себя в постели не так, как ты от них ожидаешь. Это прописная истина. В постели и на войне...

Дора Карловна была бесспорно той самой женщиной, которую я знал в семидесятых-восьмидесятых годах. Но та Дора

Карловна не потащила бы меня к себе в постель. Она любила своего мужа и была ему верна. А ко мне относилась как к однокласснику ее дочери.

Так что же — вся эта чувственная эскапада — была... всего лишь моей инцестуозной грёзой? Похоже, что да.

Мебель... старинный обеденный стол невозможно было не узнать, так же, как и кресло с инкрустациями, резные узоры которого были специально так сделаны, чтобы со спинки смотрел яростный демон.

Картины Марка Иосифовича?

Тут что-то не так. В видении они были гораздо темнее тех, старых. И не просто темнее, они были другими. Смаживали на покрытые красками для создания живописного эффекта фотографии. Что за фотографии? Думал, думал...

Осенило. Мои фотографии. Которые я сделал во время моих путешествий. Истоиво молящиеся евреи у Стена Плача и паломницы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, стайка монахинь в Святой Софии и фрески в монастыре Хора в Стамбуле, мраморные стены Римских церквей и подвалы Колизея, бездомные на горбатых улицах Сан-Франциско, своды Кёльнского собора, башни церкви Саграда Фамилия в Барселоне... И на всех них были двери, ворота или окна... эти самые «входы в иные миры», даже на скалистом склоне горы на Аляске зияло небольшое отверстие, вход в карстовую пещеру. Некоторые картины явно напоминали снимки, сделанные мной в различных музеях мира. От Метрополитена в Нью-Йорке до Дрезденской галереи.

Или мне это только кажется? И я все еще брежу?

Надо это как-то проверить. Только вот как?

Опять пришлось глубоко задуматься. Выпить еще одну чашку чая с сахаром.

Понял, как. Надо пойти в Новую Третьяковку на Крымском Валу, найти там работы Марка Иосифовича и посмотреть на них. Проверить, есть ли в них хоть какое-то сходство с моими фотографиями.

Сделать это было не так уж трудно. От моего отеля рядом с Калужской площадью до набережной Москвы-реки, где расположена Новая Третьяковка, идти было всего четверть часа.

Отправился незамедлительно. По свежему московскому морозцу.

По дорожке невольно косился на громадного бронзового Ленина на скверике. Даже плюнул несколько раз в его сторону. Подумал, пока стоит этот истукан — дела в России будут идти хуже и хуже. Грош цена народу, у которого на центральных площадях стоят памятники массовым убийцам. Народу, по рабской привычке поддакивающему любой власти.

Недалеко от цели случайно встретился глазами с другим бронзовым колоссом — Дзержинским, несущим службу в парке искусств Музеон вместе с сотнями других советских монстров. Терпеливо ждущим своего возвращения на Лубянскую площадь. Где-то недалеко от него должен был стоять безносый Сталин. Хорошая компания.

Подошел к грандиозному сараю — зданию Новой Третьяковки.

Вместо билета кассирша, крашенная блондинка с пятью золотыми кольцами на пухлых пальчиках, вручила мне старинного вида ключ из позеленевшей пятнистой бронзы. И сказала: «Не удивляйтесь, мы теперь всем раздаем вместо билетов такие ключи».

Слово «ключи» она многозначительно протянула. И зачем-то мне подмигнула.

— А где же замок, который я смогу им открыть? — спросил я шутливо.

Кассирша насупилась, посмотрела на меня неодобрительно и отрезала: «А это, молодой человек, зависит только от вас самого. Фома неверующий».

Я не стал уточнять, что она имеет в виду.

«Молодой человек!» Я был старше ее лет на двадцать.

Через минуту я уже гулял по залам с картинами советских и российских академиков. Как правило написанными без вдохновения, без помощи ангелов, по заказу. Мастеровитым художественным мусором.

Странно, некоторые их работы мне нравились. Например — «Новая Москва» Пименова, 1937 года.

Улица. Дождь и солнце. Женщина-шофер ведет открытую машину, прохожие снуют, впереди Дом Союзов и только что построенное здание Дома Совета Министров СССР. Советский импрессионизм.

Почему тебе нравится эта картина?

Потому что она идеально воплощает коммунистическую утопию. Утопию, которую всем нам каждый день вбивали в голову, утопию, в которую верили миллионы советских людей. В которую и я верил в детстве. Мне так хотелось, чтобы мир, в котором мы жили... был таким, каким его изобразил художник на этом полотне. Солнечным, пестрым, живым, дружелюбным... Похожим на бульвар Монмартр Камиля Писсарро.

Не без труда нашел залы, посвященные первому русскому авангарду.

Малевич, Лисицкий, Филонов, Татлин...

Так... а вот и залы советского неофициального искусства.

Рабин, Плавинский, Кабаков, Неизвестный...

Где-то тут должен быть и М.

Есть. Целых три работы.

И... сразу заметил... ничего общего эти голубые и сиреневые, словно видимые сквозь прозрачное покрывало, дымящиеся геометрические абстракции с моими фотографиями не имеют.

Значит мое томительное, сладкое и страшное видение было именно видением. Значит я действительно спятил.

А наш бранный мир был и остается таким, каким он был всегда. Равнодушным к нашему копошению.

И тут я вспомнил о ключе. Вспомнил и слова спесивой кассирши. Вытащил ключ из кармана, поиграл им и вдруг...

Вдруг увидел на одной из работ Марка Иосифовича... замочную скважину. Прямо в середине полотна. И мне страстно захотелось вставить в нее ключ, повернуть и посмотреть, что будет.

Вы когда-нибудь вставляли ключ в замочную скважину на картине? Висящей на стене в хорошо охраняемом столичном музее. Нет?

Я тоже нет. Метрах в десяти от меня стоял музейный служащий, Цербер, зорко наблюдающий за посетителями галереи.

Над входом в зал я заметил камеру, на противоположной входу стене зала — еще одну. Это значит, на нас смотрят еще несколько церберов. И как только я поднесу ключ к картине, — заревет сирена, а на меня спустят цепных псов.

А если я в оправдание своих действий сошлюсь на слова кассирши, то эта женщина отречется от меня как апостол Петр от Спасителя и заблеет: «Какие ключи? Ничего я ему не давала. Разве я похожа на сумасшедшую? Зачем вы слушаете этого жирного немца? Арестуйте его и посадите в тюрьму, он хотел испортить наше национальное достояние. Посмотрите, на картине нет никакой замочной скважины! Фриц врёт и не краснеет. Знаю я их породу...»

И тем не менее я спокойно подошел к картине (как будто сам Люцифер вел меня за руку), ничтоже сумняшеся вложил ключ в замочную скважину и повернул его два раза против часовой стрелки. Невидимый замок тихонько щелкнул и открылся. Я вынул из него ключ и положил в карман.

Сирена не заревела. Цербер не подбежал ко мне и не схватил за руку зубами. Другие посетители музея не орали и не показывали на меня пальцами.

В зале погас свет. Судя по тому, что никто не закричал: «Свет! Свет! Включите свет!» — в темноте оказался я один.

Прямо передо мной медленно открылась дверь. Дверь, которой тут заведомо не было и не могло быть. Дверь в картине. Там, за дверью, было светло.

Ни секунды не колеблясь, пошел на свет. И, еще не оглядевшись, осторожно закрыл дверь за собой.

Куда я попал?

Вы не поверите, конечно. Я бы тоже не поверил.

Я попал в просторное, комфортабельное и уютное (без верхних полок) купе поезда, мчащегося на всех парах. За окном мелькали редкие сухие деревца. Мы ехали по выжженной засухой степи. Ни цветочка, ни травинки. Локомотив то и дело гудел...

В купе находился человек. Женщина?

Нет, мужчина. Он вальяжно раскинулся на мягком бордовом вельветовом сиденье и курил сигару. Его черный смокинг показался мне старомодным. На руках у него были белые перчатки, на ногах — остроносые лаковые туфли. Цветная бабочка сидела на его шее несколько криво.

— Добро пожаловать! Проходите, сударь, располагайтесь.

Этот низкий голос явно был мне знаком.

Это был голос Марка Иосифовича. Господин в смокинге и лаковых туфлях — был именно им. Почему я сразу его не узнал? Готов поклясться, что на его месте вначале... только одно мгновение... сидела женщина. В длинном бежевом платье. Или она была нагой? И чем-то смахивала на...

Сел напротив него. Вытаращил глаза.

— Ах, не надо так пристально на меня смотреть. Просверлите во мне дырку. Я не призрак и не галлюцинация. Не хотите ли сигару? Гаванскую? Или — чего-нибудь выпить? Рюмочку водки? Или Виски Мартини?

Марк Иосифович, явно наслаждаясь моментом, открыл бар в стене купе, и я увидел там, перед зеркальными стенками множество разноцветных бутылок с цветными этикетками. Вспомнил известную песню «Высокая женщина в черной одежде».

— Спасибо, я пока воздержусь. Не могу в себя прийти.

— Вы обескуражены, я понимаю.

— Слегка. Еще минуту назад я имел честь созерцать ваши картины в Новой Третьяковке на набережной в Москве. Кстати, а куда это мы едем? И откуда?

— А не все ли вам равно, откуда и куда мчится этот поезд. Главное — мы оба тут. У нас есть что выпить и что обсудить, ведь вы хотите от меня узнать нечто гораздо более важное, чем станцию назначения этого поезда. Не так ли?

Мой собеседник хитро прищурился. Стал неожиданно похож на Питера Устинова. И посмотрел мне в глаза, не скрывая иронии.

— Так, конечно так. Хотя, куда едет этот поезд, тоже интересно.

— Ну что же, если это вас успокоит, скажу. Я этого не знаю. И мне это все равно. За окном — только степь. Вечная выжженная степь. Никаких домов, деревень, городов. Остановок этот поезд не делает.

— А с другими пассажирами вы общаетесь?

— Нет. В моем купе нет двери. То есть для вас дверь есть, а для меня нет. Поэтому я даже не знаю, есть ли у меня попутчики, или поезд везет на станцию Вечность меня одного.

— А что же вы тут едите?

— Как вы практичны! Примериваетесь? Еды тут нет, зато есть и безалкогольные напитки, и выпивка. Есть и туалет, и душ. Когда я утром достаю из бельевого шкафа мою одежду, она чисто выстирана и аккуратно отглажена. Все бутылки полны. Я привык к такой жизни и не ропщу. Ведь все это я пожелал себе сам...

Подумал... знает ли он о том, что я спал с его вдовой. Он прочитал мои мысли.

— Разумеется, знаю, дорогой мой. Ведь я умер.

— И что же, это вас не тревожит?

— Да ведь и моя жена тоже умерла. Что же с мертвой взять? При жизни она меня любила, а после смерти — каждый за себя.

— Простите, хочу спросить, а я тоже умер?

— Нет-нет. Успокойтесь, вы все еще там. Хорошо это или плохо, вам самому решать.

— И как же... это возможно... я еще не умер, но... еду с вами в поезде мертвых?

— Как же подозрительны эти посетители... Для того, чтобы вам это объяснить, дорогой Антон, потребовалось бы много-много времени. У меня времени достаточно. Но у вас его не так много. Меня предупредили, что наша встреча будет не долгой и прервется неожиданно, а ваш ключ, увы, одноразовый. Так что не будем говорить о мелочах. Спрашивайте о том, что вы всю жизнь хотели спросить. У Него. Не стесняйтесь. А я попробую удовлетворить ваше любопытство. Смелее, берите быка за рога.

— Вы Бог?

— Нет, нет, что вы.

— Есть ли жизнь за гробом?

— Да, как видите... На поезде еду... сигару курю... пью Мартини... с вами разговариваю. Но это не та жизнь, которой человек живет до момента кончины. Это перпендикулярное вектору земной жизни существование. Экзистенция, да, но в другом формате. Объяснять долго и нудно. Как вы наверное уже поняли, каждый сам определяет свое посмертье.

— Все так, как учат попы? Грешники отправляются в ад, праведники — в рай, а остальные — в чистилище? В поезд, мчащийся по выжженной степи?

— Слава богу, нет. Тут работает совсем другой принцип.

— Какой же?

— Не сложный. Каждый получает тут то, что он больше всего в жизни хотел. По крайней мере какое-то время. Но если ему осточертевает мир, который он жаждал, он имеет право отправить письмо в небесную канцелярию. И изложить свою просьбу о переносе его в другой мир, по своему выбору. Письма такие рассматривает специальная комиссия и удовлетворяет или не удовлетворяет просьбу.

— Вы шутите? Какая небесная канцелярия?

— Мертвые не шутят. Канцелярия состоит из астральных сущностей, которые все это организуют и обслуживают. И делают это не только для нас, но для всех закончивших свой путь разумных существ, обитающих в нашей вселенной. К сожалению, больше мне о них ничего не известно.

— А кто командует этими... сущностями?

— Единственное, что могу добавить — так все было устроено с незапамятных времен. Зачем? Не знаю. Возможно, это какой-то долго длящийся эксперимент, который проводится в нашей вселенной существами, так далеко от нас ушедшими, что нам никогда не будет дано увидеть их или понять. Я для себя формулирую это так: «Элохимы пытаются так исправить ошибку Иеговы». Мне не надо вам объяснять, надеюсь, что миры, которые мы жаждем, чаще всего становятся нашим персональным адом. Так что не все так розово, как вы вероятно подумали. Но и не безнадежно. Мы, мертвые люди, можем послать в канцелярию и другое, синее письмо.

— Что это такое?

— Просьба позволить заново родиться на Земле. Такую просьбу обычно удовлетворяют без долгих разбирательств. Но эпоху, социальный статус ребенка, цвет кожи и прочее... в этом случае выбирать не разрешено. Все это решает случай.

— Погодите, погодите... но вы же художник. Я думал, что вы выберете себе... что-то вроде удобной просторной и светлой мастерской. С мольбертами, холстами, красками, натурщицами... А тут у вас в купе даже намек на живопись нет. Что же с вами произошло?

— Зачем, дорогой Антоша? Зачем возвращаться к тому, что давно прошло. У меня была возможность при жизни всласть порисовать. И я малевал и рисовал... почти пятьдесят лет. И думал, что рисую и воссоздаю Дом Высшей Жизни. А оказалось, что все, что я нарисовал — было только моей фантазией, мечтой, большой мечтой заключенного в Совке человека... не более. Мечтой, в которой даже я сам не хочу жить. Слишком там все сухо, геометрично, бесчеловечно. Красками пахнет. И рыбьим клеем. Мне представлялось то, что я воспроизвожу на полотне, вся эта живописная структура — чем-то возвышенным, сакральным, храмовым. Я почитал себя чуть ли не жрецом новой религии... а не был даже

ересиархом. Я был слеп и самовлюблен. Не хотел признавать очевидного... что на любом полотне Боттичелли, Кривелли, Анджелико, не говоря уже о Леонардо — в сотни раз больше возвышенного или сакрального, чем на моих композициях. Я ставил себя наравне с ними, а был всего лишь земляным червем...

— Не стоит так себя принижать. У вас удивительный дар, вы всю жизнь рисовали, и ваши кристальные графические работы, да и многие живописные наверняка войдут в историю мирового искусства.

— Как все это на самом деле мало... ничтожно... я понял только после смерти. Мировое искусство... помойка. Что мне до нее.

— А что вы думаете о гигантских бабочках, мухах, слепнях, стрекозах, вылетевших в моем видении из ваших картин?

— Это только подтверждает мои слова. Да, я часто кокетничал с мистериями, таинствами и прочими загадочными вещами... рисовал что-то вроде входов или ворот в неземные башни или в Небесный Алтарь Вечного Храма... и прочую подобную чепуху... это должно было и у меня, и у возможного наблюдателя моих картин вызвать чувство благоговения перед тайной... Тайной, познание которой сделает нас всех бессмертными причастниками торжества Духа... Но, увы, за моими «входами в иные миры» ничего не было. Это был высокомерный блеф и только.

И мне пришлось осознать этой своей кожей после первого свидания с обитателями загробного мира. Я думал, мои картины будут мне служить щитом против злых духов. Щитом и убежищем. А оказалось... Мне самому пришлось защищать мои беспомощные создания от гномов. И я в этом не преуспел.

Мы беседовали — по нашим земным меркам — еще часа три. А затем... произошло нечто, что удивило меня гораздо больше того, что рассказал мне Марк Иосифович, едущий в поезде мертвых по вымершей степи.

* * *

Время, отпущенное мне, видимо подошло к концу.

Мой собеседник вдруг замолчал.

Встал. Несколько раз подпрыгнул. Задергался.

Как сердечник схватился за грудь. Потом охнул, похлопал себя по бедрам и погладил по щекам.

Лицо его изменилось, стало неузнаваемым. И лицо, и фигура.

Начал раздеваться. Снял и кинул на пол бабочку, которая тут же взлетела и упорхнула... затем снял смокинг, ботинки, рубашку... брезгливо скинул исподнее...

Зарычал, захрипел, заквакал, заржал...

Захлопал в ладоши...

Распростёр руки как гоголевская старуха в нагольном тулупе и попытался поймать и обнять меня.

Только тогда я заметил, что это уже не Марк Иосифович, а женщина, смахивающая на Дору Карловну. Ведьма. Та, что мне показалась вначале.

А купе между тем превратилось в хорошо мне известную спальню в Тропарево, в квартире на девятнадцатом этаже.

Ведьма гонялась за мной, как мертвая панночка за несчастным философом.

Десятки огромных мух, слепней, бабочек и стрекоз летали вокруг нас.

Я слышал гулкие удары колокола и еще что-то, что холодило ужасом мое сердце.

Это были тяжелые как раскаты грома шаги огромного железного командора, поднимающегося по лестнице.

Из последних сил оттолкнул от себя впившуюся мне в горло ведьму и...

Услышал стук в дверь.

В номер вошла горничная-нацменка и спросила, можно ли сменить белье и убраться. Я так посмотрел на нее, что она тут же вышла.

Да, я все еще находился в академическом отеле. Ошеломленный, испуганный и мокрый от пота.

Нашел силы себя успокоить. И ощутил что-то вроде умиротворения.

Я жив и никому ничего не должен. Я никогда не буду больше прикасаться к туши, карандашу и краскам. Постараюсь не ездить на поездах.

Я догадался о том, что мертвый художник забыл или постеснялся рассказать мне о себе. И расхохотался. Но прыгать и квакать не стал.

Звонить Доре Карловне было не нужно, охоты услышать еще раз хамский голосок повзрослевшей Машеньки у меня не было. Ехать в Новую Третьяковку тоже не было нужды — потому что я уже знал, что там увижу.

Я заказал по телефону в номер обильный мясной обед в соседнем ресторане и включил телевизор. И весь день провалял дурака.

На следующий день я случайно наступил в своем номере на мертвую синюю муху величиной с ботинок.

Ключ

Наваждение и не думало кончаться. Я это чувствовал. Не прекращался гул в ушах, само пространство, казалось, расширилось и сжималось по чьей-то прихоти, а время... наступало и отступало, вместо того, чтобы плавно — как вода в широкой реке — течь себе и течь вперед.

Смалодушничал, выкинул мертвую муху в окошко. Бросил так, чтобы она не упала на пешеходов. Муха, пролетев вниз метров пятнадцать, вдруг ожила, зажужжала, поднялась, глумливо на меня поглядывая, влетела в номер, облетела несколько раз вокруг моей головы и только потом скрылась в московском мареве.

Бррр... мурашки по коже.

После завтрака решил прогуляться. Но не тут, в центре, а вокруг моих бывших школ — английской и математической, находящихся за универмагом «Москва».

Хотя и не знал, стоят ли универмаг, обе школы и бассейн между ними, в котором я столько лет против воли тренировался, на своих привычных местах, или их уже снесли новые хозяева России. И построили на их месте грандиозный торговый центр или контору по прокату легковых машин и автоматерскую.

Сел в троллейбус и поехал по Ленинскому в сторону от центра. Троллейбус ужасно походил на большого жука. Ехал удивительно медленно. Как будто полз. Пассажиры почему-то напоминали мне рыб. Из их беззубых ртов доносилось невнятное бормотание.

Ленинский проспект! Половина жизни.

Генератор ностальгических снов. С чудовищными повторяющимися сюжетами.

Закрыв глаза и прогнал в мыслях мультипликационный фильм...

Первая градская... тут я лежал — мне вырезали аппендицит. А тут лежала моя бабушка, ей удалили катаракту. А тут, в Академической, лежала другая бабушка, со сломанной рукой. И дедушка тоже, ему сделали операцию, избавившую его от опухоли. В этом доме я показывал мои рисунки художнику Саше Туманову, владельцу большой и страшной собаки. И они ему понравились. Интересно, жив ли он? Тут, в букинисте, я не раз покупал книги по искусству, а здесь, в «Научной книге» — по астрономии. Здесь, в магазине «Кинолюбитель» я приобрел — мою первую подзорную трубу, в которую так любил зимними вечерами смотреть на Венеру и позже — фотоаппарат «Зенит», которым сделал мои первые фотографии. Тут — в обувном — несколько раз безуспешно пытался купить ботинки. А тут — лечил зубы у известного своими шутками стоматолога. Здесь встречался с любимой и шел с ней целоваться в Парк Культуры. А здесь покупал халву и нугу и встречался с другой любимой, которая безумно любила сладости. Тут купил первый в моей жизни холодильник, а тут — транзисторный приемник «Океан». Тут ко мне, десятилетнему, пристали

хулиганы и я позорно бежал от них, скуля, несколько километров, пока не понял, что они меня не преследуют. Здесь поворот и проход к Донскому монастырю, где я учился рисовать, нашел масонский перстень и разговаривал с мертвыми. Здесь, в «Синтетике», я купил зеленый свитер и пошел в нем на премьеру «Бега» в Театр Киноактера. С одноклассником, будущим театральным критиком. А здесь жил учитель истории, который пытался совратить меня, приглашал пойти вместе с ним в баню, обещал показать обценные картинки. Здесь в советское время было кафе-мороженое, а тут кафе «Шоколадница». А здесь стояла бочка с квасом, в которой жили черви размером с указательный палец взрослого мужчины. Тут я покупал акриловые краски и кисти, а здесь засматривался на старинные картины, бронзовую пластику и напольные часы. Тут, в магазине «Спартак» я купил себе китайскую ракетку для настольного тенниса и кеды. А тут, недалеко от него — охотничий нож. Которым меня через несколько лет пырнули. Выжил я потому, что схватил нож за лезвие. Шрам на левой ладони сохранился до сих пор. В этом доме был музей Ферсмана, а в этом — институт, в котором работала еще одна моя любимая женщина. Теперь она живет в Канаде и борется за права коренных народов. Тут, в длинном доме, размещался магазин «Лейпциг», мама купила мне там губную гармошку, а я так хотел игрушечную железную дорогу. Здесь «Чайка» из правительственного кортежа сбила насмерть моего приятеля. А тут, на лавочке перед рестораном «Кристалл», мы с другим моим приятелем ели эклеры и мечтали о Нью-Йорке и Чикаго. Тут, рядом с универмагом «Москва»... я впервые поцеловался с моей первой любовью и выкурил свою первую сигарету. Здесь же меня чуть не убили бандиты. Ударили кастетом по голове. Тут же мы с мой другом часто ели пирожки с мясом, про которые болтали, что они сделаны из человечины.

Первая часть фильма кончилась. Катушка бешено вращалась. Хлестала пленкой по рукам. Вторую катушку я в кинопроектор вставлять не стал.

Открыл глаза и жадно посмотрел в окно. Увы, сколько я ни смотрел, но так и не увидел даже следов того, о чем только что грезил.

Город моего детства и юности исчез. Исчез навсегда. Утонул в грязных водах нового времени.

Друзья и знакомые почерствели и озлобились.

Почти все мои родные умерли.

Любимые забыли нашу любовь.

Машин на проспекте было раз в пять больше, чем раньше. Вонь от выхлопных газов ощущалась даже в герметически закупоренном троллейбусе. Деревья были срублены, чтобы расширить дороги. Прогуливающих по проспекту пешеходов не было видно — кому придет в голову прогуливаться рядом с ревушими автомобилями и дышать их ядовитыми выхлопами?

Все знакомые магазины были закрыты. Переделаны. Переименованы. Повсюду бросалась в глаза назойливая реклама. Раньше на московских улицах встречались только плакаты с бессмысленными лозунгами и портреты вождей, нынче — везде, где можно — висели изображения улыбающихся женщин с белоснежными зубами и идеальными волосами, таких же парфюмерных мужчин, лакированных овощей, фруктов, счастливых детей и домашних животных... автомобилей, которые, казалось, тоже улыбались... Скалились на плакатах и безопасные бритвы, шампуни и стиральные порошки, мобильные телефоны, фюзеляжи самолетов, лошади и собаки, наручные часы, брюки, кофточки и элегантные туфли... Свои услуги предлагали самые успешные банки и страховые общества, строительные компании, охранные агентства, туристические бюро и астрологические центры...

Появилось много новых высоких домов, архитектурных уродов, кичащихся своей высотой и мощностью. Многие старые здания были снесены, другие — перестроены. Улицу было не узнать.

У площади Гагарина с построенным еще в мое время, отлитым из титана, похожим на конструкцию из утюгов, памят-

ником первому космонавту, я признал поражение, прекратил бессмысленное самоистязание, спрятал катушки с киноплёнкой и проектор в шкаф, запечатал его двери сургучом и вышел из троллейбуса.

Решил оставить свое прошлое в покое, а настоящее в меру сил игнорировать. Чтобы не дать ему меня уничтожить.

Поймал такси и поехал в Пушкинский музей.

Не без оснований полагал, что в музее все осталось на своих местах.

Думал, похожу перед отъездом из Москвы по знакомым залам, погляжу на любимые картины. Они не подведут.

Как часто в юные мои годы я гулял по Пушкинскому, прогуливая лекции или семинары... а позже зачастую и в рабочее время... этот дом с колоннадой был моим убежищем, местом, где мне нравилось быть. Думать. Мечтать. Тут я мог совершать безумные скачки в другие эпохи, вспоминать о том, что случилось с другими людьми, в другое время. Бояться их страхами, восхищаться тем, чем они восхищались, любить их любовью, грезить их грезами, жить самому, давая им — и художникам и их произведениям — жить во мне. И видеть будущее, представлявшееся мне тогда картиной в стиле Яна Мандейна.

И еще одна соблазнительная мыслишка металась в голове — в правом кармане моих брюк все еще лежал ключ. Тот ключ. От того замка. С бородкой, похожей на перевернутую букву «S». Может быть... он подойдет и к другому замку? На другой картине.

Ведь волшебство еще не кончилось. Как ни пыталась свинцовая Москва наложить на него свою тяжелую лапу.

Неприятно поразила кассирша. Изо рта ее вылезали клыки вепря. А ее голос напоминал хрюканье.

Потребовала от меня паспорт. Я отказался показывать — какое ее дело? Вызвала милицию. Пришлось показать. Оказа-

лось, она учуяла во мне иностранца. Несмотря на мой родной русский. А иностранцы платят теперь в Пушкинском за входной билет — раз в пять больше, чем москвичи. Заплатил, пусть подавятся.

Сдал куртку и шапку в гардероб. У гардеробщика была конская голова.

Он подал мне номерок и проржал: «Вам тут не место, господин хороший. Ваше время истекло».

Показал ему средний палец.

И начал свободный дрейф по музею.

По традиции — с Древнего Египта.

Помахал рукой плакальщицам, подмигнул длиннохвостому, остроухому Анубису, поздоровался с фараоном Аменемхетом. Погладил по гриве таинственного Сфинкса.

Затем направился к старым друзьям, Фаюмским портретам. Они поделились со мной накопившимися за время моего отсутствия сплетнями. Откуда они все знают?

Постоял несколько минут у очаровательного «Святого Себастьяна» Джованни Больтраффио. Его пленительная улыбка чуть было не сбила меня когда-то с верного пути.

Вежливо поздоровался с серьезным господином, известным тосканским интриганом, Козимо Медичи, кисти Бронзино.

Похотливо облизнулся на «Аллегория Веры» Корнелиса. Зрелую голландскую даму с обнаженной грудью, о которой мечтал еще в студенческие годы.

Заглянул к Рембрандту. Показал язык Артаксерксу. Восхитился еще раз «Портретом пожилой женщины» в шубе с капюшоном и «Портретом старушки» в красном, перед которыми подолгу простаивал в юности и размышлял о старении и смерти.

Уделил минутку «Лоту с дочерьми» Гелдера. Пакостная тема, но прекрасная, мягкая живопись.

Поклонился Лоррену. Бросился в море. Купался и из воды наблюдал за тем, как Европа катается на белом быке.

Кивнул работам Дега и единственному в собрании картону Лотрека, а работы Ренуара проигнорировал. Слишком сладкие.

Поприветствовал «Девушек на мосту» Мунка (в белом, красном и зеленоватом), пышную бронзовую красавицу «Помону» Майоля и грубоватых таитянок Гогена.

Пожалел «Девочку на шаре» Пикассо и его же босого и слепого «Старого еврея» с мальчиком.

Подивился мастерству Сезанна, умудрившегося нарисовать равнодушных ко всему — бело-голубого Пьеро и красно-темного Арлекина.

И направился в зал старого немецкого и нидерландского искусства. В гости к Кранаху, Кербеке и Зиттову.

Как обычно простоял чуть ли не полчаса перед «Зимним пейзажем» Брейгеля младшего. Меньше всего меня интересовала птичья западня, предмет глубокомысленных комментариев специалистов. Картина эта была для меня окном в мир, в который мне хотелось бы попасть после смерти. Хотя бы птицей. Деревом. Или кусочком льда.

Бродил и мечтал часа три. Устал.

Никаких замочных скважин в картинах не заметил.

Присел на лавочку недалеко от гипсовой копии статуи Аполлона с отбитыми руками и пенисом. Чувствовал себя примерно как он.

Закрыл глаза, попробовал заснуть. Знал по опыту, что иногда легкий двух-трехминутный сон освежает и позволяет обрести второе дыхание.

И тут, неожиданно для себя вспомнил... вспомнил, где я видел замочную скважину. Видел там, где ее не должно было быть. А именно — на плоской груди святой Кристины, замученной при Диоклетиане. Скульптуре-реликварии испанской работы.

Нашел в себе силы встать, попрощался с Аполлоном. И направился к святой Кристине.

Какое разочарование! Реликварий хранился под надежным стеклянным колпаком. А рядом с ним, на стене, висела, как бы в назидание, большая картина, изображающая архангела Михаила, взвешивающего добрые и злые дела умершего. Мол, попробуй, разбей колпак, потом тебя взвесят, и рогатый демон-меланхолик с мохнатыми ушами и раздвоенным мечом утащит тебя в адское пекло.

Странно. Всю жизнь я был не просто законопослушным членом общества — вначале советского, потом немецкого — но даже... робким, нерешительным, боязливым. А сейчас — ощутил в себе другую особь. Наглую, решительную и ничего не боящуюся.

Изо всех сил треснул по стеклянному колпаку мечом. Колпак разбился вдребезги. Откуда у меня взялся меч?

Так и быть, скажу — я вынул его из ножен, висящих на поясе этого самого архангела с весами.

Когда я вставлял ключ в замочную скважину на груди святой Кристины, этой несчастной лолиты ранних веков, она мне улыбнулась и пролепетала что-то милое.

Как позже выяснилось, совершенно напрасно. Лучше бы огрызнулась.

После того, как я повернул ключ два раза против часовой стрелки... мир вокруг меня изменился.

Я стоял на арене большого открытого цирка.

На мне была сказочно богатая одежда из шитой голубой ниткой и золотом парчи. Золотая же высокая конусообразная шапка и — подстать ей — остроносые золоченые туфли.

Кто я? Жрец? Царь?

Трибуны были полны народа. Публика рычала, визжала и свистела от нетерпения, жаждала начала представления.

Прямо на арене была установлена четырехметровая золотая статуя с знакомым лицом. Перед ней был алтарь для

жертвоприношений. На нем лежал нож и что-то вроде большой вилки. Правее и левее алтаря помещались клетки с голубями различных пород. Их видимо использовали как жертвенных животных.

Напротив золотой статуи находился бронзовый бык. А под ним — кострище.

Неожиданно для самого себя я театрально поднял руки и торжественно провозгласил: «Приведите ее».

Публика заревела еще громче.

Двенадцать легионеров вывели на арену миловидную молоденькую девушку и заставили ее стать на колени передо мной...

— В последний раз спрашиваю тебя, Кристина, готова ли ты принести жертву нашему богу и повелителю, великому и милосердному кесарю, владыке мира мира и вечности? Отвечай, непокорное дитя.

— Я не могу принести жертву идолу. Даже золотому. Если бы кесарь был тут, я бы подарила ему голубку. И спросила бы его, зачем он превратил нашу страну в узилище и начал войну на юге.

— Дерзкая! И это твое последнее слово?

— Да, дорогой отец.

— Нет, ты больше не дочь мне... Ты государственная преступница. И я поступлю с тобой по закону.

— Как тебе будет угодно. Иисус сладчайший, мой вечный жених, и ангелы Его защитят меня.

Я приказал легионерам содрать с нее одежду железными крюками и стегать ее розгами и плетями. А затем запечь заживо в бронзовом быке.

Но ангелы небесные не позволили крюкам вонзиться в тело девушки и не давали легионерам размахнуться, а раскаленного до красна быка они охладили своими прикосновениями.

Тело Кристины почти не пострадало.

Тогда я повелел двум легионерам привязать узницу к позорному столбу и стрелять в нее из лука.

Все стрелы попали в цель. Бедняжка умерла. Не помог Иисус сладчайший.

Публика на трибунах вопила от возбуждения и радости.

Неожиданно на арене из ничего появилась высокая черная фигура.

Вопящие на трибунах зрители онемели и застыли от ужаса.

Они знали, кто появился на арене. Никто не хотел привлекать к себе его внимание.

В жуткой тишине я услышал голос Монсеньора: «Ах, Гарри, Гарри, куда тебя опять занесло? К чему такой пафос? Одевание игемона. Золотая шапка колдуна. Неужели ты до сих пор не изжил в себе романтика? Как ты мог позволить... этим... испортить нам представление? Помнишь ли ты еще наш договор? Ни на что не годный, смешной провинциальный человек, возомнивший о себе, прячущийся в музее, разговаривающий с нарисованными людьми, галлюцинирующий и ловящий мух... кидающийся на любую женщину, расставившую перед ним бедра, тоскующий по прошлому, не выносящий настоящее и боящийся будущего. Эгоист и мизантроп, бросивший всех, кто ему был дорог, слезливый карлик, а не мужчина. Лицемер. Пришла пора избавить мир от твоего присутствия. Маркиз советовал привязать тебе к шее жернов и бросить в море».

Проговорив это, монсеньор дунул на меня и раскрыл серебряную коробочку цилиндрической формы...

Гул в ушах затих. Моя душа вылетела из тела. Через кадык.

А тело упало на арену и распласталось на ней, как дохлая жаба на асфальте.

С трибун до меня донесся гром рукоплесканий.

Но я его уже не услышал.

Моя душа, как птица, только что выпущенная из клетки, носилась между ветками и стволами зимних деревьев...

Затем взлетела над замерзшей речкой, на которой играли и катались на коньках дети, посидела минутку на колокольне деревенской церкви, а потом унеслась в бескрайние голубые пространства.

Ларец

Подал ей номерок. Гардеробщица принесла мне куртку и шапку.

Потом сказала:

— Не обижайтесь на нашего Санчо Панса... с тех пор, как у него выросла лошадиная голова вместо человеческой, он всех подкальывает. Что бы с ним было, если бы выросла медвежья? Он бы наверное всех нас загрыз. На него посетители уже сто раз начальству жаловались. Но с него все — как с гуся вода. Непотопляемый. Ветеран. И с медалью. Ржет себе и ржет как сивый мерин. Людей пугает.

— Спасибо за утешение. Да я уже забыл о нем. Тут со мной такое приключилось...

— У нас всякое случается.

— Как это так, всякое...

— Люди пропадают в музее. Не раз бывало... Пришел муж с женой, а возвратился из музея — один. Или, еще хуже, вошел в музей — один человек, а вышел — другой. Одежда, обувь, тело — все прежнее, а личность уже не та. Вошел добряк, а вышел — злодей. Или наоборот.

— Это как, добряк, злодей? Заинтриговали.

— Бабы говорят, тут, на Чертовом Поле, сам Малюта ведьмаков и крамольников пытал и жёг. А они в отместку это место прокляли. Малюта, чтобы проклятие снять, церковь построил. Святого Антипия. Там его и схоронили. Да-да.

— Что вы говорите, не знал...

— Ночные охранники всякие страсти рассказывают. Особенно знаменит у нас зал двадцать третий. Будто бы сам импе-

ратор Наполеон там, как есть, в мантии и с жезлом... с картины сходит. И княгиня Кочубей, даром что при жизни ангелом была, по ночам пошаливает. Вы когда-нибудь ей в глаза смотрели? Огонь, просто огонь.

— Что же еще рассказывают ночные охранники?

— Да вы все равно не поверите, посмеетесь только надо мной.

— Обещаю, не буду смеяться. Я ведь автор. Тоже своего рода ночной охранник. Пишу рассказы.

— Это вы так только говорите, что смеяться не будете... ладно, расскажу, только не тут и не сейчас.

— А где и когда? Я скоро улетаю.

Гардеробщица написала что-то на бумажке и протянула ее мне.

— Это адрес нашего клуба. Недалеко отсюда. На Фрунзенской набережной дом. Там мы помещение снимаем. Столы, стулья. Красное вино. Можно спокойно посидеть и поговорить. Приходите туда... через час. У меня смена через двадцать минут заканчивается. Сразу туда поеду. А вы — зайдите в кафе, помечтайте немного. Да, если спросят, к кому, отвечайте — к Инге. Я вам все расскажу, что за двадцать лет работы тут услышала. Записную книжку захватите.

— Договорились. А что у вас за клуб?

— Эскориал.

— Как... как дворец?

— Ну да. И дворец, и музей, и монастырь, и усыпальница испанских монархов. Для властей мы — «Общество любителей испанской культуры». Специально так назвали. Чтобы регистрацию пройти. А на самом деле... Уже пять раз в Испанию ездили. Барселона, Севилья, Мадрид... даже на корриде побывали.

— Фламенко танцуете и тапасы едите?

— Ну да, типа того...

Фрунзенская набережная... Две остановки на метро. Потом пешком... Я тут десятилетку кончал. Знаю каждый камень.

Быстро нашел дом и подъезд. Да, прямо в списке жильцов — Клуб Эскориал. Не напечатано, написано от руки, как будто только что написали и приклеили. И не под стеклом, а снаружи. Подозрительно. Позвонил.

— Вы к кому?

— К Инге.

— Проходите. На шестой этаж поднимайтесь на лифте.

Приехал. Три запертых двери. Никакого Эскориала. На одной двери прибита медная табличка. Тадж-Махал. Старомодный советский звонок.

Позвонил.

— Вы к кому?

— Я к Тадж-Махалу. Извините, к Инге.

Открыли.

В коридоре повесил куртку на вешалку.

И еще одна дверь. Тоже запертая. Постучал.

— Входите.

Вошел в какое-то странное круглое помещение.

Конический потолок... вершина терялась в темноте. В доме сталинской постройки? И пахло там то ли ладаном, то ли дурманом. У стен, между окнами, были установлены статуи неизвестных мне божков. В середине помещения стоял овальный столик и несколько стульев.

Подошел к одному из окон и раздвинул тяжелые занавески. Открывшийся вид поразил меня. Заснеженный высокогорный ландшафт. В небе — орлы или грифы парят. Тибет или Гималаи. В крайнем случае — Памир. Крыша мира. Но никак не Москва начала двадцать первого века. И не Испания. Решил не терзать себя этой загадкой. Что только люди ни изобрели. Фотография. Голограмма. Трехмерное кино. Спецэффекты...

И тем не менее, я, признаться, немного оробел. Чтобы не показать это невидимым наблюдателям (а они были рядом, я это чувствовал), сел на стул, положил на стол записную книжку, шариковую ручку и немецкий кассетный диктофон. Сделал вид, что настраиваю что-то в диктофоне. Хотел выиграть время.

В этот момент в помещение вошла моя гардеробщица.

Узнал ее не сразу. Она была в длинном желтом платье. Декоративные. Янтарное ожерелье. На пальцах — кольца с желтыми камнями. Лицо — размалевано так, как будто она собиралась сыграть Клеопатру в любительском спектакле.

В руках она несла деревянный, инкрустированный перламутром ларец. Подобные изделия я видел на Большом Базаре в Стамбуле. Изготовлены они не лишенными таланта ремесленниками в Египте без претензии на старину или дороговизну.

Многозначительно поставила ларец передо мной, улыбнулась загадочно и села напротив меня.

В голове у меня прошелестело: «Кажется, ты влип в историю. Три запертых двери у тебя за спиной. Янтарь. Горы. Орлы. И ларец в придачу».

— Вы похоже испугались, дорогой Антон. Уверяю вас, бояться нечего.

— Я вам кажется не представлялся.

— Я читала вашу, выпущенную в Петербурге, книжечку. Занимательно и интересно пишете... Там и фото ваше есть. Поэтому и заговорила с вами в гардеробной.

— А почему горы видно из окна? Снег блестит на ледниках. Грифы летают. Или орлы.

— Грифы? Орлы? В Москве? Что с вами, Антон. Вы сегодня ничего такого не курили? Не нюхали? Или — писательская фантазия разгулялась?

Сказав это, Инга решительно подошла к ближайшему окну, резко отдернула занавеску и показала рукой... покажи мол, где тут ледники и грифы.

И действительно, за окном открывался хорошо знакомый ландшафт — набережная, Москварека, слева — перенесенный сюда недавно Андреевский мост виднеется, на другой стороне — Нескучный сад... Когда-то я там на коньках катался. На Голицинских прудах. Тогда еще — Пионерских. А летом — на лодке.

Ничего не понимаю. Кто у них тут спецэффекты готовит? Малюта?

— Извините, померещилось наверное... Тут у вас запах какой-то приторный. Мухоморы?

— Что вы, дорогой автор! Это всего лишь ароматические палочки из сандалового дерева. Они очищают воздух и оздоравливают легкие. И еще у нас тут стоят несколько маленьких баночек с фиалковым маслом. Можете взять капельку на палец и растереть на груди. Чудесный аромат.

— А откуда взялась круглая комната в доме на Фрунзенской набережной? Она ведь должна быть в башне. Никаких башен тут нет. Я тут в школе учился, за углом, все дома знаю.

— Значит плохо знаете. И мы не в башне, а в полукруглом эркере. Он тут всегда был. Для одного видного военного специально построили. Фамилию забыла. Его кажется потом сняли и посадили. И квартиру с эркером отобрали.

— А что это за статуи?

— А вы не узнали? Это индийские божества. Вишну, Брахма, Шива, Индра... Специально изготовленные копии из различных храмов. До нас тут «Общество любителей индийской культуры» было.

— Тадж-Махал? Понимаю. Приступим к делу. Расскажите о вашей княгине.

— Погодите. Мне вам надо кое-что показать. Видите ларчик?

— Конечно вижу, он что, прозрачный?

— Не раздражайтесь попусту. Я его сейчас открою... а вы спокойно и внимательно посмотрите на его содержимое. Потом я вам объясню, зачем. Договорились?

— Что еще за чертовщина? Там что, кто-нибудь прячется? Черт в табакерке? Морская свинка? Или Гудини?

— Нет, нет. Но вам будет интересно, обещаю.

— Ладно, ладно, открывайте ваш ящик Пандоры. Я весь внимание и спокойствие.

Инга открыла крышку ларца так медленно и важно, как будто там хранилось собрание крупных кагемских изумрудов или кашмирских сапфиров.

Заглянул в ларец. Он был пуст. Аккуратно обит изнутри синим шелком волнами. Как гроб.

И тут...

Я почувствовал, что уменьшаюсь, как Алиса, и что непонятная сила затягивает меня в ларец. Это было уже слишком...

Я сопротивлялся как мог, растопырил руки, несколько раз пытался закричать, но из моего горла вылетал только жалкий писк. Через несколько секунд я уже сидел в ларце как подопытный кролик в клетке, и хохочущая Инга захлопнула крышку у меня над головой. Стерва!

Как я мог позволить заманить себя в ловушку? Идиот! Все же с самого начала было шито белыми нитками. Эскориал... Тадж-Махал... Брахма. И орлы.

Меня корежило от злости. Но что я мог поделаться?

Я справедливо полагал, что мои абсурдные макабрические приключения не кончатся тут, в ларце. Скорее только начнутся.

Когда я пришел в себя, понял, что сижу голый на земле рядом с крохотным прудиком. В прудике плавают кувшины. А из кувшина выглядывает гадкая одноглазая рожа. Гримасничает. И напевает что-то до боли знакомое.

Вот, пролетела стрела. И рожа превратилась в яблоко.

Тело мое — зеленого цвета. На голове почему-то металлический шлем, а вместо пальцев на руках и ногах — ветки. Кто я теперь? Кикимора болотная? Где-то я видел подобное существо.

Рядом со мной — любовная пара.

Одеты и он и она явно не как современные москвичи. Она, милостивая молодая женщина-демоница — в опушенном дорогим мехом красном платье до пят. Из-под платья выглядывал зеленоватый хвост в пупырышках.

На голове у нее — полукруглые рога, частично прикрытые белым платком. Рога эти светились, как будто внутри них были источники света. Светились и изумрудные глаза демоницы. Вот, она взглянула ими на меня... словно любовным зельем опоила... и я сразу понял, что влюблен в нее, готов ради нее на все, готов убить ее возлюбленного или продать дьяволу свою бессмертную душу. Впрочем, возможно этот товар уже продан. И по дешёвке.

Он, немолодой бульбоносый крестьянин, был одет в серую плотную рубашку и в такие же серые брюки, привязанные

к рубашке шнурками. На ногах — грубые башмаки. На голове — зеленая шапка. Он явно стеснялся. Стеснялся своей страсти. Боролся с собой. И проиграл. А она — навязывала ему себя. Лярва.

Чернолицая ведьма в монашеском головном уборе преподносила им на металлической тарелке свадебные дары — головы и гениталии невинных младенцев. Головы икали, а гениталии затеяли веселую игру...

Мышиный оркестр играл прелюдию к опере «Лоэнгрин». Скрипичные струны были натянуты прямо на лапах музыкантов. Трубачи трубили своими длинными носами и ужасными задницами. Певица Жозефина усердно готовилась исполнить партию Эльзы Брабантской. Терла лапками свои маленькие грудки и вздыхала.

Вокруг меня сидели, стояли, валялись разнообразные уродливые демоны, иные с крыльями, другие с колесами вместо ног, почти все — как и я с ветками-пальцами на руках и ногах, с холодным оружием и без, тихие, крикливые и орущие.

Внимание мое привлекло серебряное яйцо с руками и ногами, но без головы, танцующее джигу. Хвостатый и рогатый черт играл на скрипке. Отчаянно борясь с веющим со стороны мышиного оркестра «Лоэнгрином», он приглашал меня жестами сплясать, но я делал вид, что не замечаю его приглашения. От обиды он надулся как воздушный шар и лопнул.

Метрах в пятнадцати от меня гаденький демон, похожий на собаку, жарил на большом огне огромное человеческое ухо. Ухо охало и бранилось.

Слева от него лежала гигантская голова, у которой это ухо было отрезано. Голова была одновременно мертвой и живой. Открывала ужасный рот и высовывала толстый язык. Под языком копошились черные змеи и скорпионы.

Два звероподобных демона, крокодил и бегемот, безуспешно пытались отрезать второе ухо головы треснувшим поперек лезвия циклопическим ножом.

Внутри головы сидела металлическая сова и громко читала Псалтырь. То и дело она прекращала чтение и шептала птичьим дискантом: «Никто меня слушает. Невежи! Вы еще поплачете! За все заплатите, за все».

Слева от головы открывался морской пейзаж. Недалеко от берега плыла небольшая парусная лодка с экипажем из диких свиней. Свиньи лезли на мачту, чтобы сорвать с нее развивающийся на свежем ветру узкий алый стяг с вышитым на нем золотым полумесяцем.

Чуть подальше из воды поднималась круглая башня-крепость. Из всех ее бойниц торчали жерла пушек. На вершине башни стоял демон-петух и отчаянно кукарекал.

Башне явно не сиделось на месте. Она долго ёрзала и тряслась. А потом уплыла в неизвестном направлении, захватив с собой сокровище герцога. А петух все кукарекал. Энтузиаст!

На берегу, недалеко от меня, демоница-монахиня и демон-монах стегали человекообразного инкуба по голому заду розгами. Инкуб пытался вырваться из их рук, грозил вернуться с подмогой и жестоко отомстить.

Рядом с заброшенной романской церковью несколько смазливых суккубов активно занимались мастурбацией и опорожнением своих кишок в священные сосуды.

Старый седой черт показывал им свое внушительное оружие и уговаривал заняться разведением пчел.

Назревала война между руконогими и ногоруками.

Посредниками в мирных переговорах выступили безголовые.

Война, по обыкновению, началась с подписания договора о прекращении огня. А кончилась объявлением всеобщей мобилизации.

Командующие враждующих армий вступили в долговременные нетрадиционные отношения.

В АВТОБУСЕ

Сегодня приснился мне сон.

Будто бы еду я в автобусе.

Не в советском «Икарусе» и не в немецком «Мерседесе».
Непонятно в каком.

За окнами город. Не похож ни на Москву, ни на Нью-Йорк, ни на Берлин. Станный и жуткий. Огромные черные башни. Круглые и высокие. А между ними — бараки. И какие-то будки. В воздухе висит гарь.

Еду и боюсь. Боюсь, что меня обнаружат и арестуют. Посадят в лагерь. Будут пытаться. И убьют.

За что? Не знаю.

Кто? Не знаю. Они.

Еду, еду. За окном мелькают огоньки.

И вдруг шофер останавливает автобус и раскрывает автоматические двери. Не на остановке. Ни там, ни здесь, в нигде. На улице — нет ни домов, ни людей. Бездорожье. Полынь. Холод. Единственный желтый фонарь светит тускло.

Шофер объявляет: «Граждане! В автобусе находится нежелательный пассажир-иностранец. Он наш враг. Даю ему шанс добровольно покинуть автобус. Пусть убирается. У нас ему нет места!»

Понимаю, что он говорит обо мне. Но встать и уйти — на это у меня не хватает мужества. А вдруг они бросятся на меня. Сердце сжимается. Руки трясутся.

Вдавливаюсь в сидение. Съеживаюсь. Опускаю голову. Вязаную шапку натягиваю на глаза. Руки засовываю в карманы пальто. Как черепаха.

Авось пронесет.

Слышу возмущенные крики других пассажиров: «Враг! Враг! Иностранец! Ищите врага! Мы сами найдем и убьем его! Задушим, задушим врага!»

Хор пионерок тихо пропел: «Задушим, задушим врага в раздевалке!»

Пассажиры автобуса бегают по проходу и ищут меня. Ощупывают друг друга как слепые. Чмокают губами и чешутся. На их воротниках и спинах — перхоть и струпыя.

Слышу лай собак. Наверное это овчарки.

В автобус врываются солдаты с автоматами. Их лица похожи на страшные маски с красными глазами.

Жду, что они меня схватят. Готовлюсь к смерти.

Но они хватают другого человека. Я узнаю его. Это мой друг Боря М. Как он оказался тут? В моем сне? Я задаю себе этот вопрос, потому что с самого начала знаю, что это сон. Кошмар.

Солдаты бьют Борю по голове прикладами. Вижу кровь. Они ломают ему нос, выбивают зубы.

Закрываю глаза. Жду. Потом не выдерживаю, срываюсь. Бросаюсь на негодяев и пытаюсь оттолкнуть их от Бори.

Солдаты кричат: «Ага! Еще один иностранец попался. Смотрите, смотрите, он напал на нас. Просверлим в нем парочку дырок, друзья!»

Хор пионеров подхватывает бойко: «Просверлим, просверлим, в нем дырку, друзья!»

Один из солдат, самый неказистый и плюгавый из них, бьет меня прикладом в лоб. У меня в голове взрывается звезда. Заливает мои воспоминания холодным синеватым светом.

Мрак.

Тут я проснулся. Подумал: «Чей же это сон?»

Моя немка теребила меня и спрашивала: Ты что сегодня не хочешь завтракать? Вставай, какао остынет. И яичница с беконом.

ЕХАЛИ ДОЛГО

Ехали долго. Качались, тряслись, кашляли...

По крыше автобуса барабанил осенний дождь. Капли воды, скользящие по нечистым стеклам, оставляли следы, похожие на длинные тонкие сабли.

Было холодно и муторно. Пахло бензином, потом и перегаром.

За окнами показывались и уносились вдаль подмосковные дороги, посеревшие леса, болотца и деревянные избы за заборами. Тощие коровы жевали порыжевшую траву и тупо смотрели в свинцовые небеса. Надрывно лаяли собаки.

Тоска!

В Москве — высокие дома, проспекты, фонари... книжные магазины... университет на Ленинских горах... Пушкинский музей... Большой зал консерватории... в молочном на Ломоносовском — ряженка и коктейль...

А тут — глушь, люди, как будто сошедшие с картин Сурикова. У мужчин — рожи кирпичом. Курносые рябые бабы в платках.

От столицы — всего сто пять километров отъехали, а кажется, что попали на зону или в эпоху опричнины или, по крайней мере, в среднюю полосу России времен Гражданской войны.

Боже мой, надо делать ноги. Но как? Куда?

Да куда угодно. Главное, подальше отсюда.

Подальше? Не терзай себя. Сам знаешь, выпускать почти перестали. Мертвый сезон. Чихали они на все. А если ты начнешь петушиться, бороться за выезд, отправят в лагерь или

в Афганистан. Или просто замочат. Это их страна. Не твоя. Что хотят, то и делают.

Едем в калужскую область. Помогать подшефному колхозу. Картошку собирать.

На сей раз не смог отбрехаться. Завлаб настоял.

— Ты единственный молодой сотрудник в лаборатории. Кроме тебя посылать некого.

Угрожал. Играл желваками на постной роже. Кулаками размахивал.

— Будешь ерепениться, выгоню с волчьим билетом. Надоели твои выкрутасы. Хватит, проминдальничали с тобой два года, теперь все будет по-другому. Наденем ежовые рукавицы.

А ты, как всегда, трусил. Надо было его послать на три буквы. Громко и при всех. И уволиться. Пусть засунет свои рукавицы себе в...

Уволиться? А кто тебе позволит? Ты для них — «молодой специалист». Да даже если уволят... Куда ты пойдешь? Как будешь деньги зарабатывать? Родственники помогут. Вначале. А потом? Одним репетиторством не проживешь.

А как ты сам себя чувствовать будешь? Линия твоя: лучшая школа, лучший университет, лучший институт — с позором прервется. Вылезет на свет неприглядная правда. Ничего не умеющий молодой ученый с амбициями... всегда не на своем месте... никому не нужный...

Папа, папочка, зачем ты взял в жены русскую женщину, зачем смешал крови, разорвал серебряную цепочку? Как мне теперь жить? Моя еврейская половина ненавидит эту страну, эту огромную тюрьму, презирает ее обитателей... а другая, русская... терпит и любит. Ищет счастье.

Всю мою энергию приходится тратить на то, чтобы эти две мои половины не уничтожили друг друга.

Египетское рабство (быть половинкой).

И вот тебя везут... как скот на бойню.
Две недели... В грязище. Под дождем.
Ладно. Не впервой. Как тебя учила еврейская бабушка?
Слабость — наша главная сила.

А что тебе внушала бабушка русская? «Их» обманывать не грех.

Дня три поработаешь, а потом «заболеешь» и смоешься. Сходишь к врачихе в поликлинику в Тропарево, покашляешь, авось оформит больничный. Завлаб начнет гоношиться, а ты ему бумажку в рыло.

Приехали, наконец. База лыжников важного московского министерства. Нашему институту выделили отдельный барак. Какая честь!

Шестиметровые комнатки. Стены из фанеры. В каждой — две железные двухэтажные кровати с панцирной сеткой. Матрасы выглядят так, как будто на них годами спали бездомные. Грязные, в ржавых пятнах. Отопления нет. Холодный душ
в конце коридора. Две кабинки на сорок человек. Сортир — без унитазов, с дырами. Без перегородок.

Зашел в одну комнату на втором этаже. Там сидели и играли в карты три человека.

Лица вроде знакомые. Показал рукой на верхнюю пустую кровать справа.

— Можно мне тут устроиться?

Один игрок, с пышными курчавыми волосами, отложил карты, оглядел меня критически с головы до ног и пробурчал: «Валяй».

Познакомились.

Он назвался Гариком. Старший инженер. Далекое за сорок. Ушлый. Обходительный. Обаятельный.

— Просто Гарик?

— Да, мы тут не в Пале-Рояле.

— И не в Королевской опере, — добавил Лёначка, конструктор точных приборов. Тоже уже не молодой. Кряжистый, массивный. С раскосыми глазами и толстыми щеками.

Третьим в их компании был мой сверстник, Серёга, Сергунька, как и я — младший научный сотрудник. Худой, невысокий, женственный. Ногти наманикюренные.

Все трое работают в одной лаборатории.

Гарик с Лёначкой — дружат семьями. Оба уже дедушки.

Серёга — новичок. Только что получил премию молодых ученых. Гарик и Лёначка явно ему протезируют. Дали мне понять, что он находится под их защитой.

Прекрасно!

Что-то в их тройственном союзе меня однако насторожило. Что-то... то ли неприятное, то ли влекущее. Вроде запаха мускуса или еле ощутимого сладкого привкуса в жарком.

Сегодня нас на работу не погнажи. Накормили ужином в столовке. Макароны с мясом, коржик, чай. Гарик сказал, что коржик многоразовый. Сухой и твердый как камень. Макароны — серые. Маленькие кусочки тушёнки — только раздражали. Чай пах помоями.

После ужина — вышел подышать, прошелся немного по территории базы.

Лес за забором недобро темнел. Бараки походили на огромные надгробья. А ворон на крыше можно было принять за обитателей ада.

Из баракон доносились пьяные крики, шальная музыка и как бы рычание диких зверей.

С неба начала сыпаться снежная крупа.

Мои соседи играли в подкидного и пили водку.

Налили и мне полстакана. Поблагодарил, выпил.

Слушали самодельное радио. Лёначка собрал из краденых транзисторов. Из крошечного динамика доносились треск

и завывание глушилок. Иногда из приемника слышался проникновенный голос Анатолия Максимовича Гольдберга. Мы замирали. Затем поймали музыку. Би Джиз.

Одновременно почувствовали усталость от долгого бессмысленного дня. И завалились спать.

Лёничка и Гарик храпели, а Сергунька вздыхал и попискивал, как будто кого-то о чем-то умолял. Уже под утро видел сквозь сон, как к нему прилег Гарик. Что было дальше — не знаю, потому что провалился в густой душистый туман.

Сон мне приснился эротический... Чужой? Такое бывает.

Будто все мы — Гарик, Лёничка, Сергунька и я — однолетки, и знаем друг друга с детства. И вот, мы, еще мальчики, купаемся голышом в теплом море. Может быть, в Анапе. Плаваем, ныряем, брызгаемся, смеемся. На море барашки. И ветерок веет свежий. Чайки кричат как вакханки. В пылающих небесах парят разноцветные воздушные змеи. Кто их запустил?

Мы тремя в экстазе друг о друга животами и ягодицами и неловко хватаем друг друга за гениталии. Валяемся в песке. И нам так хорошо, что мы забываем об опасности. А опасность — вот она — из тёмно-синей глубины моря медленно поднимается гигантский истукан. Памятник кому-то. Но не из камня, не из бронзы, а из свинца. Весь обросший водорослями и облепленный ракушками. В левой руке его щит, в правой — огромная булава, на голове шлем с прорезями для глаз. И колосс этот задирает над нами свою ужасную ногу, хочет нас раздавить. Как жестокие дети давят медуз, выброшенных на берег прибоем. Но мы, в самый последний момент, успеваем вскочить и убежать. С небес до нас доносится звонкий смех. Оттуда падает неизвестная мне девочка. Встала, отряхнулась и нежно посмотрела мне в глаза. И вот, я уже люблю ее, не понимаю, как мог без нее жить.

Разбудили нас рано. В выходной! Школьным звонком. Поискал глазами мою любимую. Не нашел. Пошел зубы чистить.

Позавтракали перловой кашей. Ненавижу ее с детства. Не притронулся. Мою кашу съел Лёничка. Поблагодарил своей людоедской улыбкой.

В вонючей каптёрке нам выдали сапоги, портянки, как будто для великанов сшитые перчатки, грубо заштопанные ватники и засаленные ушанки. Кто хотел, взяли еще ватные штаны. Я не взял ни штанов, ни ушанку. У меня был с собой комбинезон, такой, какие носят геологи в тайге. Из плотного надежного материала. С штрипками. И две вязаные серые шапочки. Купил в середине семидесятых в Терсколе.

После завтрака облачились в новые доспехи. Построились перед баракком. Чем не шарашка?

Парторг института Васюкин толкнул речь. Короткую.

Мол, надо и честь знать. Кто-то и работать должен. Картошку собирать.

Работникам умственного труда власти СССР постоянно напоминали, иногда косвенно, а иногда и прямо, что они люди второго сорта, и что в любое время их могут оторвать от науки, выгнать из лабораторий и библиотек и послать в лагерь на общие строительные работы. Или в ссылку, на лесоповал. Или — на урановые рудники. Или — на поле с картошкой или капустой.

Похмыкали. Поматерились. Перекурили.

Подъехали три автобуса-пазика и мы безропотно в них полезли... утрамбовались с трудом.

Овцы, и те ведут себя более независимо.

Нас повезли в поле. Через десять минут высадили.

И тут как назло, дождь зарядил. Не шуточный, со снегом. Спрятались под деревьями.

А что еще делать?

Васюкин орал до хрипоты, жестикулировал, пытался выгнать нас в поле, но мы не пошли.

Потому что там — непролазная грязь. Присыпанная снежной крупой.

Трактор взборонил на поле перед нашим приездом полуметровым металлическим крюком несколько длиннющих борозд. Взрыхлил землю. И выворотил из нее картошку. Теперь надо было собирать, очищать и бросать клубни в ведра. А из ведер потом — в мешки. Вечером специальная бригада, кажется с химического факультета, должна была погрузить эти мешки в машину и отвезти в овощехранилище.

Так все выглядело в теории. А на деле...

Ко мне подошел Лёничка и шепнул: «Гоша, пошли на хер отсюда...»

Я пошел за ним. Потихоньку все разбрелись. Остался один парторг Васюкин и три его институтских подхалима. Они решили показать отказникам пример и начали собирать картошку. Но быстро смекнули, что через полчаса промокнут насквозь и замерзнут. Да и земля никак не хотела отрываться от тех немногих картофелин, которых металлический крюк все-таки вышвырнул на поверхность. Большинство клубней остались там, где были, и искать их, разгребая руками ледяную землю, вытягивать упрямое растение как репку в сказке, и у ангелов не хватило бы терпения. Васюкин с подхалимами промучились в поле с четверть часа, а потом, как и остальные, ушли в лес. Пристали к какой-то компании.

Что мы делали в лесу?

Опытные Гарик и Лёничка перво-наперво послали меня и Сергуньку на поле за картошкой. Но не туда, где в это время колготился Васюкин, а метров на триста дальше.

А сами — нашли дуб или ясень... не понимаю я в деревьях ни черта... помощнее и погуще. Соорудили из еловых веток сиденья. Развели костер. Тут и мы подошли. С казённым ведром свежей картошки.

Расселись.

Смотрели на горящие ветки, на которых плясали, стонали и прыскали соком огненные гномы.

Гарик достал из сумки стаканы, водку и портвейн Алабашлы. Лёничка — хлеб и жирную украинскую колбасу (тёща привезла из Полтавы). Жарили хлеб с колбасой на палочках.

Картошку закопали в угли.

Согрелись.

Гарик рассказал о новой насадке на нос торпеды, благодаря которой торпеда двигалась как бы и не в воде, а в воздушном пузыре. О том, как ее уже годы не хочет признавать и продвигать начальство. А американцы уже как-то узнали и даже сделали опытные образцы...

Лёничка поведал о том, как ему удалось купить кирпич для постройки дачи. Это было потруднее, чем изобрести новую торпеду.

Мы с Сергунькой помалкивали.

Чудесно пахло хвоей. Моя тоска разжала свои стальные челюсти.

А дождь все шел и шел...

Часа в три мы услышали крики. Народ собирали для погрузки в пазики.

Уходить от костра не хотелось. Пригрелись.

Еле поднялся. Шел с трудом. В глазах двоилось. По дороге к автобусам несколько раз упал.

Мертвецки пьяного Васюкина несли на плечах, как раненого, его партийные товарищи. Он отчаянно матерился и кричал надорванным голосом: «Кому-то надо работать, товарищи ученые! Налейте портвейна, суки вы позорные...»

После ужасного обеда нас должны были опять отвезти на поле. Но пазики не появились, потому что шофера сговорились и уехали в районный центр. Прихватив с собой двух колхозных комбайнеров и бухгалтера. Там все они серьезно выпили у продмага. После чего пошли в клуб Механического завода, на танцы. Ввязались в драку с местными парнями. Кому-

то из шоферов откусили то ли правое ухо, то ли мизинец на левой руке. А бухгалтеру разбили очки и порвали пиджак. Комбайнеры не пострадали.

Ну а мы весь вечер играли в подкидного, травили анекдоты и пили.

Я портвейн не пил, а водки выпил только полбутылки... в голове летали светлячки. Я пытался их считать.

Сергунька упорно мешал Алабашлы с Столичной... ужасно возбудился, пел, плясал, картаво декламировал стихи Пастернака, снял штаны и трусы, целовал Гарика и Лёнечку в губы, таинственно мне подмигивал и манил. Около полуночи его радостное возбуждение сменилось панической атакой, он повалился на грязный пол, кусая себе пальцы, истошно кричал что-то непонятное, хрипел как умирающий, а затем долго блевал в сортире, куда его притащили выпившие втрое больше него Гарик и Лёнечка.

К утру сортир был так заблеван, что к отверстиям подойти было невозможно. Видавшая виды старушка в коричневых резиновых сапогах два раза смывала блевотину в дыры, пользуясь специальным шлангом.

Я слышал, как она бормочет: «Вот ведь постарались... ученые, в говне моченые».

Во время нашего пира я смотрел на Гарика и Лёнечку и задавал себе снова и снова один и тот же вопрос. Эти серьезные взрослые люди ведут тут себя как подростки, убежавшие от родителей и дорвавшиеся до спиртного и телесных радостей. Наверняка они не хуже тебя все понимают. Все-все-все понимают. И где они живут, и что происходит, и во что мы все превратились. Почему же они могут жить тут полноценной жизнью, а ты нет?

Неожиданно для самого себя я громко спросил об этом Гарика и Лёнечку.

Лёнечка удивленно посмотрел на меня и насупился, Сергунька стыдливо опустил глаза, а Гарик ответил: «Дорогой

Гоша, не обижайся на мои слова, но ларчик просто открывается. Ты еврей, а мы — простые русские люди. Ты рано или поздно свалишь, а нам бежать некуда. Наша страна всегда была такой, и останется такой навсегда. И мы тоже останемся такими. Божьими одуванчиками».

И горько рассмеялся.

В следующую ночь...

Авторский комментарий

Этот рассказ я написал в начале девяностых, в Саксонии, в индустриальном городе К. В период мучительного осознания безальтернативности и фатальности случившегося. Я имею в виду мой отъезд с родины. Отъезд навсегда. За которым последовал неизбежный тогда отказ от русского языка, от русской культуры. Интернет еще не появился, у меня не было русских книг, телевизора, радио, ничего русского не было, думать я старался по-немецки, что у меня получалось плохо. Не было и русских собеседников.

Рассказ автобиографичен лишь частично. Главный его герой, Гоша, имеет прототип. Это один из сотрудников пресловутого «института». Который я никогда не описывал реалистично, а так, как он мне представлялся в моих метафизических экспериментах.

Рассказ показался мне тогда — слишком голубым, поэтому я его никогда никому не предлагал для публикации. Теперь я смотрю на это иначе. Какой есть. Не мое дело судить, да рядить, пусть этим Государственная Дума занимается. Или недалеко от нее ушедшие родительские комитеты некоторых американских школ, запрещающие школьникам читать «Над пропастью во ржи».

Поправляя этот отрывок (вторая часть рассказа еще в работе), я вдруг понял, почему многим моим читателям мои тексты кажутся перенасыщенными сексом. А одна читатель-

ница, похрабрее и поглубее, просто упрекнула меня в «сексуальной озабоченности» (перепутав «рассказчика», вымышленного персонажа, от лица которого ведется повествование, и реального автора произведения).

Дело в том, что... тут придется раскрывать давно раскрытые секреты...

Прозу можно сравнить с иглой с ниткой. Писатель пишет, и его мысль, эта игла, тащит нитку повествования сквозь пласт воспроизводимого им бытия. Литературное это бытие никогда не совпадает с бытием реальным. Хотя именно этого совпадения и пытаются достичь писатели-реалисты. Но это, слава небесам, невозможно. Потому что мы люди, а не сканеры. Но бог с ними, с реалистами. Моя «игла» действительно часто заходит в пространства эротических фантазий или видений (так что читатели мои в общем-то правы). Почему моя мысль часто устремляется «туда»? Потому что именно там, в сознании, в мечте, в несбыточном, а не в реальном мире, и происходят важнейшие «события» нашей жизни. Там кроются источники нашего настоящего бытия. И нашего самосознания. И в конце концов — нашей судьбы.

Идея не нова, конечно, но я и не претендую на оригинальность. Так вот я — сознательно — посылаю (иногда) моих героев в эти миры, ... так, как будто речь идет не о мечтах или фантазиях, а о самой что ни на есть реальной реальности. Совмещаю их реальное бытие с их эротическими фантазиями. Подчеркну, не с моими фантазиями, а с их фантазиями. Расширяю их мир. Подчеркну — мир внутри литературного произведения.

Такое, «двойное» пространство, «двойное» бытие литературных героев, на мой взгляд — интереснее, экспрессивнее, драматичнее реального бытия. И это тоже конечно не мое изобретение. Но одно дело об этом писать. Совсем другое — осуществить это сопряжение в прозе. Я стараюсь, как могу. Использую не только мой личный опыт, но и опыт дру-

гих людей. Не знаю почему, но очень многие мои собеседники делились со мной различными интимными переживаниями, рассказывали то, о чем рассказывать не принято. Видимо принимали меня за человека, способного их понять. Крошечный пример. Одна уже бабушка, ночная сторожиха, жизнь которой была наверное одной из скучнейших жизней дисциплинированного советского человека эпохи застоя без особых претензий и пороков, рассказала мне — во время долгой холодной ночи, проведенной нами в огромном здании типографии на Арбате — о том, что она представляет себе во время мастурбации. Из этого рассказа можно было бы выжать целый любовный роман. В жанре фэнтези. В нем фигурировали бы молодые мулаты, охотники за жемчугом, ненасытные в своей страсти к белым женщинам масаи, изнывающие от похоти инопланетяне-спруты-сосальщики, конкистадоры-насилыники, напавшие на мирную деревню индейцев, ее собственный отец, сексуальный маньяк-педофил, пожилая американка, заблудившаяся в джунглях амазонки, спасенная от ядовитых змей двойником Тарзана, необыкновенно благородным, и при этом страстным любовником...

Мог бы и дальше раскрывать ее секреты, но пожалею читателя. Упомяну только один. Одним из самых любимых сюжетов сторожихи был... «эпизод со львом и служащими у него пажамы гепардами». Эта фантазия, по словам сторожихи, стала терзать ее после посещения московского зоопарка. «Там я случайно увидела член и мохнатые яички знаменитого льва Ганнибала».

Так вот, представьте, что я хочу написать рассказ об этой одинокой женщине (которую кстати и пальцем не тронул, не подумайте чего). Конечно, я постарался бы вызнать что-то о ее реальной любви к мужчине, который ее «поматросил и бросил». А если в ее жизни на самом деле ничего подобного не случилось, то я придумал бы что-то сам. И получилась бы знакомая нам по классической русской литерату-

ре история. Но все это давно осточертело и публике и мне... Совсем другое дело было бы, если бы я осмелился описать ее реальную встречу с этими самыми охотниками, инопланетянами-сосальщиками, конкистадорами и пажами-гепардами. С львом Ганнибалом. Например, в старом подвале типографии. Это было бы конечно немыслимой дичью. Самое комичное в том, что подобный текст тем не менее был бы гораздо «реалистичнее», чем возможный рассказ писателя-реалиста о моей сторожке.

И еще. Глупый случай свел меня с одним видным мужчиной, работающим в борделе для женщин в окрестностях Штутгарта. Он рассказал мне, что часто — по просьбе своих богатых клиенток — изображает Тарзана. Даже соответственно гримируется для этого. Я спросил его, попросив о снисхождении, не приходилось ли ему изображать льва. Его ответ был — приходилось, и льва, и тигра, и собаку, и «чаще, чем вы думаете». Тут мой собеседник весьма реалистично зарычал, а затем залаял.

В БОГЕМИИ

Красный подержанный Рено пятой модели мы с Марианной купили вскладчину в саксонском городке Чопау и через неделю уехали на нем в западную Чехию. Потому что — недалеко. До границы километров сорок, а там... нетронутая природа, старина и все дешевле. Хотели развеяться и повеселиться.

Пообедали в чешском ресторане на границе. Ели картофельные клецки с красной капустой и копченой свиной. На десерт — кофе и шоколадные блинчики. Было так вкусно... что я предложил снять номер в близлежащей гостинице и никуда больше не ездить. Каждый день есть клецки и блинчики. Полчаса — гулять по окрестностям. Остальное время — заниматься любовью. Но Марианна настояла на своем. Это же отпуск! Август в зените. Новый автомобиль. Свобода. Глупо торчать на одном месте.

Поменяли деньги и покатали...

Нашли небольшой пансион на склоне живописного пологого холма километрах в двадцати пяти от Карловых Вар. В дикой глуши.

Марианна заговорила по-чешски с хозяйкой, жизнерадостной госпожой Ханной как с старой знакомой. Та охотно поддержала разговор. Спросила Марианну, сверкнув цыганскими черными глазами и показав на меня:

— Кого это ты ко мне притащила? Надеюсь, он по-чешски не говорит. Неужели он тебе нравится? Не верится. Толстый и не от мира сего. От него пахнет медведем. Ты ведь чешка?

А моя верная подруга ее успокоила:

— Тише, тише, ничем от него не пахнет... Я немка. Мы живем в городе К. Мой друг бывший москвич. Художник. Работает в галерее «Волшебный фонарь». И любит меня. Каждый день.

Я соорудил дружелюбную мину и осклабился. Развел руки... посмотри, мол, и убедись, что я хороший, интеллигентный человек без вредных привычек. Только шоколадные блинчики обожаю.

— Русский медведь, — пробурчала Ханна и покачала головой. — Как я ненавижу этих русских. Он мне тут все переломает. Или загрызет кого-нибудь.

— Он по крови не русский, — отозвалась Марианна. И добавила: — Не переломает, и никого не загрызет. Он тихий и спокойный.

— Знаю я, какие они тихие, — прошипела много пережившая на своем веку Ханна и посмотрела на меня злобно. — Помню шестьдесят восьмой год. Тут, тогда еще в отцовском доме, жили эти советские свиньи. Не знаю, кто они были по крови. Еще хуже фашистов. Уходя, все разворотили и унесли все, что можно было унести. Меня и сестру пытались насиловать, но мы отбилась. Хорошо не убили и не покалечили.

Закатили Рено под навес. Рядом с нашим малышом красовался... возвышался как замок на горе... роскошный звездно-синий Мерседес. Пикап. На капоте его был изображен могучий олень с ветвистыми рогами. Интересно, кто хозяин этого великолепного чудовища?

Притащили сумки на второй этаж.

Комната чистая, светлая, кровать — широкая, упругая, из окна виден прелестный богемский пейзаж. Невысокие зеленые горы амфитеатром, поле, извилистая речушка, крохотный водопад, болотце, с другой стороны дубовая аллея, два охотника возвращаются с охоты.

Один из них тащил на спине убитую косулю. Ее изящная маленькая головка билась о его широкое колено. Другой — два ружья с толстыми дулами.

Как мы позже узнали, это были баварцы из Пассау, отец и сын, Франц и Йозеф. Также, как и мы — гости пансиона госпожи Ханны. Состоятельные люди. Владельцы Мерседеса с оленем. Страстные охотники.

Вечером Ханна зажарила заднюю ногу косули во дворе пансиона. Предварительно вымочив мясо в уксусе и натерев черным перцем, чтобы отбить запах крови.

Сидели вокруг костра на пластиковых сиденьях и сосредоточенно жевали сочное темно-вишневое мясо. Заедали его черным луковым хлебом. Запивали крепким чешским пивом.

Кряжистый, прямоугольный, самодовольный, но уже немного размякший Франц рассказал, как подстрелил животное. Говорил он на баварском диалекте, я понимал его с трудом. Марианна иногда мне переводила.

— Целую неделю бродили по окрестностям. Леса как будто вымерли. Ни кабана, ни косули, ни лисы, даже зайцев и фазанов не видели. Мы уже отчаялись. И вот... идем по просеке и вдруг... хрусть-хрусть... выскакивает нам навстречу из чащи... красавица косуля... Посмотрела на меня нежно, как женщина, своими огромными глазами... напряглась вся, чтобы прыгнуть... я выстрелил ей в сердце. Наповал. А теперь мы едим ее мясо. Люблю Богемию! У нас на отстрел косули или оленя надо просить разрешение у самого обер-бургомистра. И вносить шестьсот марок на охрану природы. А если, не дай бог, региональное общество защиты животных узнает, что мы охотники — сразу начнет публичную травлю. Будут называть нас убийцами, садистами, призывать к бойкоту продукции нашей фабрики. Дойдет до совета директоров. Этим наплевать на то, кто прав, кто виноват. Могут и уволить сгоряча. Хотя мой отец был одним из основателей фирмы. А тут... благодать... Заплатил залог и стреляй. Нам много дичи не надо. Вот, косулю уложили... Нам бы еще оленя взять. Самца с ветвистыми рогами. Гордого как турецкий султан. Знаю, ходит тут где-то недалеко стадо. Чувствую. Освежуем туши. Мясо заморозим. А в Пассау раздадим его знакомым. Дичь все любят.

— А что производит ваша фирма?

Франц немножко помедлил с ответом.

— Оптические волокна.

Почему они все так недоверчивы? Нам, выходцам из бывшего СССР, никто не доверяет. Презирают нас. Считают людьми второго сорта. Не без причины, конечно. Многие так себя ведут... как будто мы не беженцы или туристы, а завоеватели. Привыкли в ГДР...

Нету больше ГДР. Нет и Варшавского договора. Нет и СССР. Все развалилось. Мы все — банкроты, граждане несуществующей страны. Но так это и не осознали. И гонор у многих остался. Рабский гонор. И новое хамство появилось. Когда-нибудь эта адская смесь еще даст себя знать.

— Да вы не бойтесь, я не шпион, не диверсант, просто человек. По мне — что оптические волокна, что кожаные штаны — все одно. Производите, богатейте, радуйтесь жизни. Я не против богатства. Богатые иногда покупают мою графику.

— А что вы рисуете?

— Чаще всего — абстрактные композиции. Иногда с фигурами. Тут важнее содержания — стиль, композиция, ритм, настроение, цвета, полутона.

В разговор вмешался Йозеф, точная копия своего отца, только моложе его на двадцать пять лет. Краснощекий, бодрый, здоровый, с ухоженной русой шевелюрой и большими розовыми руками, поросшими рыжими волосами.

— Нарисуйте нас с отцом. Мы стоим с ружьями. А у наших ног лежит убитая косуля. Пап, заплатим русскому за портрет двести марок?

— Двести марок я вам сам заплачу, если нарисуете меня и Марианну. Без косули.

Франц прорычал:

— А за сколько согласитесь нарисовать?

— Карандашом? На листе А3?

— Предположим.

— За пятьсот.

— А еще говорят, что художники бедные.

— Работать придется дня три. Лучше я вас завтра после завтрака сфотографирую. Бесплатно. С косулей и ружьями.

А после отпуска вышлю вам фото. Если дадите адрес. В благодарность за такой чудесный ужин.

Франц на мои слова никак не отреагировал. Возможно не понял мой немецкий.

Неожиданно заявил:

— А вы не бывали в Канаде? Там водятся такие огромные гризли. Страшные чудовища. Убивают лошадь одним ударом лапы.

Марианна спросила охотников: Вы тут все наверное знаете? Мы с Антоном любим старинные замки, церкви, загадочные места... посоветуете, куда съездить... что посмотреть.

Франц и Йозеф наморщили лбы. Просьба Марианны их явно смутила.

Неожиданно заговорила молчавшая прежде Ханна.

— Вам, миленькая, надо в замок Хартенфельс съездить. Километров сорок отсюда. На обычной карте его нет, но я покажу вам место. Не торопясь, за часок докатите на вашей колымаге. Последний километр придется идти пешком... Замок этот построили еще в двенадцатом веке. На скалах. Про него такое рассказывают... ужасы-кошмары. Только вот не знаю, пустят ли вас внутрь. Его вроде бы прежним хозяевам возвратили.

Тут я не удержался, спросил: «Что же про этот замок рассказывают? Какие такие ужасы?»

Госпожа Ханна сердито посмотрела на меня и ответила, обращаясь к Марианне:

— Говорят, там колодец в скалах прорублен. Немереной глубины. Будто бы достает он до самого ада. Молодого человека туда опускали на веревке. Приговоренного к смерти. Подняли его, а он седой... постарел на тридцать лет. И язык у него отнялся. А по ночам из этого колодца доносятся леденящие душу стоны и завывания... а иногда оттуда вылезают жуткие чудовища, крампусы рогатые. Их многие из окрестных деревень видели. Но говорить об этом боятся.

— Какой вздор! — буркнул Франц.

А Йозеф схватил его за руку и попросил:

— Па, расскажи про церковь, прошу. Вот где настоящие ужасы. До сих пор трясет, как вспомню.

Я насторожился:

— Про какую церковь? Тут, в Богемии?

Марианна и Ханна тоже попросили рассказать.

Франц не долго отнекивался. Как бы правдоподобно он ни притворялся рациональным, деловым капитаном индустрии, но всеобщее внимание было и ему приятно.

Может быть, его фабрика на самом деле производила ключую проволоку, а его отец не основывал высокотехнологической фирмы по производству оптического волокна, а был бедным мясником. А сам Франц, может быть всю жизнь работал дворником или разнорабочим. И Мерседес с оленем они купили в кредит. А Йозеф и не сын ему вовсе...

Кто знает правду? Даже бог на небесах не знает. Да и не нужно ее знать. Что в ней проку? А вот жуткую историю почему-то все хотят послушать. Сидя вокруг костра. После вкусной еды. Раскуривая сигару.

— Ладно, расскажу, только вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. В конце двадцатого века... такие чудеса. Мы ведь не романтики. Не верим в черных пуделей, мефистофелей и говорящих гомункулов. Да, случилось это тоже тут, в западной Чехии, недалеко отсюда, еще до Объединения Германий. Блаженное время, я вам скажу. Мы с нашими деньгами чувствовали себя тут миллионерами. Ружья купили самые лучшие в Праге. Наши разрешения на владение оружием тут признали. Охота стоила десять марок в день. На дворе — конец сентября. Для охотника — рай. Воздух свежий, чистый, все еще зеленое, тепло... грибы, ягоды везде... звери сытые, довольные... Однажды... бродили мы по здешним холмам. И тогда — ни человека не встретили, ни зверя. Решили приустроить костер развести. У нас и вода и еда были в рюкзаках. И тут Йозеф церковь увидел. В чаще! Среди густого леса. Такого не бывает! Прислушались... Как-будто музыка из нее доносилась органная. Решили подойти, посмотреть... да-

ром что воспитаны в католичестве. А дороги к церкви нет, через кусты пришлось продирааться, как в джунглях. Пробились. Посмотрели. Потрогали. Сразу видно — очень старая постройка. Стены из грубо обтесанных камней сложены, мхом поросли, на маленьких окнах — решетки, под ними — витражи. До того грязные, что непонятно, что на них изображено. Архитектура простая — базилика, апсида. Вход в церковь с противоположной от нее стороны. Двери тяжелые, металлические, с рельефами. До того старые, что тоже — ничего не разобрать. Достал носовой платок, смочил водой из фляжки, протер один сегмент... а на нем — ламия или сирена. Не место тут для ламии! Странная церковь. В лесу. С ламией на двери. С большим трудом открыли двери и вошли. Внутри было темно. Пахло зверинцем. Из глубины доносился какой-то шум. Мы невольно остановились и прислушались. Шорохи... шарканье... хрип... Как будто перед нами, в темноте, стояла большая толпа людей. Молча ждущих чего-то. Команды. Переминающихся с ноги на ногу. Тяжело дышащих. Трущихся боками друг о друга. Хорошо, что у нас с собой были фонарики. Посветили. И глазам своим не поверили... Церковь была полна оленей. Олени стояли... как пассажиры автобуса в давку. Плечо к плечу. Их было очень много, может быть несколько сотен. И все они яростно смотрели на нас своими янтарными глазами. И уже через мгновение... они разом двинулись... на нас... как рогатая стена... и побежали к выходу из церкви. Мы едва успели вжаться в стены. Некоторые олени все-таки задели меня рогами... посмотрите, у меня на груди остались длинные параллельные шрамы от глубоких царапин. У Йозефа шрамов нет. Его почему-то не задели. По его версии все было не так. Говори, сынок.

Йозеф выпил пива и, не спеша, начал рассказывать: «Я начну с того места, когда мы ощутили запах и услышали непонятные звуки. Запах был — как от потных женских тел. Смесь пота, сладострастия и косметики. А звук... да, действительно... как от толпы, большой толпы вдавленных друг

в друга людей. Когда мы осветили фонариками церковь, я увидел эту толпу. Она состояла только из женщин. Голых. Молодых и старых. Красивых и безобразных. Я узнал в первом ряду мою покойную мать, двух теток, бабушку, другую бабушку, ее сестру, несколько моих школьных учительниц, мою первую шлюху и мою первую любовь. Тут женщины двинулись на нас, буравя яростными взглядами... а через мгновение они все уже бежали к выходу. Как быки в Памплоне. Если бы мы не прижались к стенам, они бы затоптали нас насмерть. Пап, рассказывай дальше».

Франц глухо откашлялся и продолжил.

— Дальше и рассказывать-то особенно нечего. Мы осмотрели церковь. Она была заброшена и пуста. В ней не было ни алтаря, ни статуй, ни органа, ни скамеек, ни светильников или свечей... никаких украшений, никакой религиозной символики. Ничего кроме каменных стен. И никаких следов оленей или женщин. Видимо, мы оба галлюцинировали. Бывает такое в лесу. Мухоморы... Вернулись в пансион мы поздним вечером. В другой пансион, Ханна. Он назывался — «В гостях у черного оленя». Рассказали о заброшенной церкви хозяину, господину... Он ничего об этой церкви не слышал, хотя родился, вырос и жил всю жизнь в этой части Богемии. Это нас не удивило. Ведь мы, уходя, обнаружили, что там, где только что стояла церковь, ничего нет кроме густых кустов. Я в бинокль посмотрел для проверки. Нет церкви! Как будто и не было. Привиделась.

В нашей комнате, после душа и любви, в постели, перед сном...

Марианна спросила:

— Ты веришь этим рассказам? Церковь в лесу, олени, голые женщины в церкви. Ты мог бы что-то подобное нарисовать. Держу пари, хорошо бы продал рисунок.

— Верю. И со мной что-то подобное случалось. Я, пока тебя не встретил, везде голых женщин видел. И в московском метро, и в автобусах, и в аудиториях в студенческое время.

Даже во время экзаменов и в зубном кабинете. А в Германии — так просто в каждом окне.

— И бабушек видел, и теток, и мать?

— Ну, до этого я не докатился. Но представить себе могу, ведь первые эротические импульсы мальчик получает от родных ему людей. И если мужчина позже не находит своей интимной радости с такой красавицей, как ты, то природа подсовывает ему во время самоудовлетворения знакомые образы. А уколы совести, вместо того, чтобы остудить, распалют его еще больше. Сладкий яд инцеста...

— А кого ты себе представляешь, когда меня долго нет, и тебе приходится... ну, понимаешь...

— Я представляю себе оленей и косуль.

— Господи...

— Поедем завтра в Хартенфельс?

— Давай. Надо будет Ханну попросить на карте кружок нарисовать.

Утром, после скромного завтрака, тронулись. Отъезжая, слышали выстрелы. Подумали, что Франц и Йозеф нашли наконец своего оленя.

Вела машину Марианна, а я сидел рядом с картой в руках, указывал ей, куда ехать. Штурман я неопытный, поэтому после часа езды по узким чешским серпантинам, мы приехали не туда, куда хотели, а в Тепельский монастырь.

Оставили машину на стоянке для туристов и пошли побродить по монастырю. Вначале обошли парк... полюбовались отражениями на водной глади местного пруда, потрогали кору старых кленов и лип, порезвились как козлята на лужайке...

Смех Марианны казалось повисал в воздухе в форме маленьких живых колокольчиков. И я пытался собирать их жадными губами.

Зашли в церковь Благовещения.

Мощная, крестообразная в плане постройка. Поздняя романика, готика, а внутреннее убранство — в стиле барокко. Одиноким Иисус распят на высоком кресте. Остальное — вспененная материя. Завитушки, волны, огромные мраморные шкафы-табернакли с пестрыми картинами, витые колонны, золоченые капители, сидящие путти, кланяющиеся статуи святых в рост человека, назидательно смотрящие непонятно куда своими незрячими глазами.

Как все-таки жалко, что благородные готические статуи и картины стали в европейских храмах жертвами неправильно понятой реформации, а их место постепенно заняли барочные экстатические псевдосвятости, в которых и следа не осталось от сдержанного и наивного рассказа протестантов-евангелистов.

Почти везде... и в любви и даже в христианстве... действует один и тот же закон: прекрасно только новое, юное, еще не испорченное взрослостью, зрелостью, компромиссами, утонченностью, тлением.

Хотя реальность конечно сложнее... это нечто волнообразное, пульсирующее. Как оргазм.

Как раз тогда, когда я обдумывал эту метафору, Марианна потихоньку поцеловала меня в ухо и прошептала: «Тут все слишком пышно. Забежим для галочки в библиотеку и поедем дальше. Может, ресторанчик по дороге встретим...»

Покинули церковь и направились к библиотеке. Как хищники к месту охоты. Оба с детства любили книги.

Сюрприз! Библиотека для посетителей закрыта. Временно. Час, год или столетие — не понятно.

Стояли у входа с печальными лицами.

Неожиданно из библиотеки вышел какой-то человек в черном, мельком взглянул на нас и попытался ускользнуть. Но догадливая Марианна поймала его за рукав пиджака или ряссы...

Заворковала на своем прекрасном чешском. Несколько раз прикладывала руки к груди. Хлопала ресницами, громко вздыхала, убеждала, показывала на меня рукой...

Человек в черном, оказавшийся главным и единственным монастырским библиотекарем, не выдержал такого напора и провел-таки нас в свою сокровищницу. Из уважения

к «специально приехавшим сюда ради богемских древностей саксонским соседям» заговорил с нами по-немецки. Это ему было не трудно — он был уроженцем Штутгарта, доцентом Тюбингского университета. Монахи пригласили его в Тепельский монастырь, для того, чтобы он составил научный каталог и описание имеющихся в библиотеке рукописных книг и инкунабул.

Библиотека радовала глаз. Огромный, строгий, несмотря на барочный потолок, прямоугольный зал, хорошо освещенный и уютный. Трехэтажный.

Господин Феликсмюллер, так звали доцента, кратко рассказал нам историю библиотеки, не умолчал и о потерях, понесенных ею во времена господства в Чехии марксистской идеологии.

Узнав о цели нашего путешествия, он оживился и сказал: «У меня есть для вас кое-что... редкость... прошу вас, наденьте эти перчатки...»

Провел нас на третий этаж, подвел к заветному книжному шкафчику и открыл его маленьким ключиком. Там лежало всего несколько книг... старинных... в кожаных переплетах. Одну из них черный человек из шкафчика вынул. А шкафчик запер. Потянул за ручку, проверил, заперт ли.

Мы сели на крохотную скамеечку. Перед нами стоял столик. На этот столик он положил книгу, после чего торжественно открыл страницу 193.

Насколько я понял, это было собрание рукописей пятнадцатого века, превращенное в книгу. На латинском и старонемецком языках. На страницах 193–196 были приведены записи Каспара Шлика, касающиеся его замка Хартенфельс.

Феликсмюллер проговорил заговорщицки:

— Даю вам три часа. Прошу вас быть максимально осторожными с этим уникальным источником. Вот вам бумага и карандаш. Вы, Марианна, можете законспектировать на ней этот в высшей степени любопытный документ. Возможно, вам придется перевести ваш конспект на русский. Для вашего друга старый немецкий язык будет, пожалуй, трудноват. Завидую вам, у меня не было времени внимательно прочитать этот текст. Просмотрел его по диагонали. И понял, что речь в нем идет о сверхъестественном и потустороннем. Это значит — не по моей части. Я давно вышел из детского возраста. Меня гораздо больше интересуют имущественные и денежные распри Шлика с его родственниками, арендаторами и ростовщиками. Его отношения с императором Сигизмундом, королем Альбрехтом вторым, Османской империей, гусситами, папой и прочее.

Проговорив это, Феликсмюллер исчез. Как будто сквозь землю провалился.

Мы с Марианной переглянулись. И впились глазами в текст.

Работали мы так: Марианна, не спеша, водила пальцем в перчатке по строке и переводила витиеватые фразы Шлика на простой немецкий. Я записывал их на бумаге и мысленно переводил на русский.

Марианна воскликнула:

— Ты только подумай, что он тут пишет... аримаспы, эм-паузы... эти ужасные жертвоприношения... неужели все это правда? Это же готовый сценарий для фильма ужасов. Причем вполне современного, даже не очень оригинального. Написанный собственноручно канцлером Священной Римской империи в первой половине пятнадцатого века. Твои любимые Дюрер, Крапах и Грюневальд еще не родились.

Когда Феликсмюллер вновь появился (возник ниоткуда), мы с Марианной заканчивали последнюю страницу. Черный человек взял у нас запись и быстро ее прочитал. Потом пропал

вместе с ней. Судя по долетевшему до нас характерному звуку, сделал ксерокопию всех пяти страниц. Появился вновь, отдал нам запись, орлиным оком оглядел книгу, запер ее в шкафчике и только после этого сказал веско:

— У вас, Марианна, хороший литературный стиль. Рассказ получился — хоть в печать отдавай. Кстати, если вздумаете где-то это напечатать, уведомите меня. Вот, возьмите две мои визитные карточки. Если навестите замок Хартенфельс, отдайте одну владельцу, графу Михаэлю Шлику, и скажите, что я за вас ручаюсь. Мы с ним знакомы. Пусть мне позвонит, если не поверит. А иначе он вас не только не пустит в замок, но еще и во дворе собаками затравит. Он смертельно ненавидит незваных гостей. Вторая карточка — для вас. Звоните или приезжайте. В заключение скажу... если вы сдуру полезете в эту расселину, пещеру или в колодец... не забудьте, что внизу в любой момент может случиться обвал. Вас засыпет, и никто вам не поможет. Гигантских муравьев, сколопендр, дьяволов или самого Сатану вы там не встретите, гарантирую, ровно как и других чудовищ и существ, описанных Шликом, зато вы можете случайно попасть в место скопления метана, этого главного убийцы шахтеров, или отравиться радиоактивным радоном, этим вторым убийцей людей в горных пещерах и тоннелях. В подземелье может неожиданно подняться уровень грунтовых вод и вы там утоните... Никакого «входа в ад» вы там, конечно не найдете. Потому что ад не под землей, ад — это то, во что мы медленно, но неуклонно превращаем нашу планету. Вы, Антон, должны хорошо знать, что случилось с Аральским морем и местностью вокруг Челябинска и Чернобыля, а вы, Марианна, должны были хоть раз побывать в Лойне, Биттерфельде или в мертвом лесу в Рудных горах...

После обмена любезностями и благодарностями мы покинули библиотеку, а затем и Тепельский монастырь.

Решили вернуться в наш пансион, поужинать и лечь спать. Чтобы завтра пораньше отправиться в путь.

Доехали без приключений. Даже не болтали по дороге. Рассказали Ханне о посещении монастыря. О библиотеке не говорили.

Повидали Франца и Йозефа. Оказалось, да, они выследили своего оленя, но добыть его не смогли. Ушел. Вместе с гаремом и выводком.

Мы с Марианной об этом не жалели.

Перед сном Марианна, зевая, спросила меня:

— Как ты думаешь, этот чертов Каспар действительно все это написал, или это поздняя мистификация, фейк?

— Все возможно. Ты читала оригиналы того времени... Похоже?

— Я не специалист. Вроде похоже. Он ни разу не употребил слово, не известное в то время. По крайней мере я не заметила.

— Нет, это не простой фейк. Не забывай, Шлик этот был образованным человеком. Это значит знал Библию, имел понятие об античности... Может быть он решил так пошутить. Поиздеваться над потомками. Или это шутка, но не его, а этого всезнайки Феликсмюллера. Он на это способен. Но бумага... переплет... кстати, ты заметила, что на обложке оттиснуто?

— Нет, не обратила внимания.

— Что-то подозрительно похожее на Черное Солнце или двенадцатиконечную свастику Вевельсбурга. Наш черный человек так быстро убрал книгу, что я не успел ее рассмотреть. А пока ты переводила, не было на это времени. Что-то тут не так. Чую.

— Ты вечно что-нибудь чуешь! Что чуешь сейчас?

— Чую, что ты не дашь мне спать, пока не кончишь.

— На сей раз угадал. Э... да ты уже готов к бою, рыцарь.

Встали рано, как и задумали. После душа выпили по чашечке кофе и поехали.

И тут, как назло, пошел дождь. И какой. Тем не менее нашли помеченное Ханной на карте место. Карабкаться по скалам не пришлось... шли по узкой асфальтированной дорожке.

Шли-шли и в конце концов уткнулись в высокие чугунные ворота в каменной стене.

Дождь наконец перестал.

Искали какую-нибудь кнопку, телефон, микрофон... чтобы связаться с обитателями замка, но ничего подобного не обнаружили. Стали кричать, стучать по воротам. Добились только того, что к воротам подбежали три немецкие овчарки. Это были хорошо ухоженные животные... явно обученные своему делу. Они не лаяли, а только неотрывно смотрели на нас яростными черными глазами. Взгляд этот был красноречив и многообещающ.

Ужасно не хотелось уезжать, не солоно хлебавши. Даже не увидев замка. Решили немного подождать.

И вдруг услышали голос.

— Я Михаэль Шлик, а вы стало быть, та самая парочка... которая вчера посетила библиотеку в монастыре?

— Та самая, разрешите представиться. Моя подруга Марианна, выпускница Лейпцигского университета, а я Антон, эмигрант из бывшего СССР, к вашим услугам, господин граф. Извините за мой немецкий. Марианна может говорить с вами почешски, если пожелаете. У нас для вас есть визитка господина Феликсмюллера и его устные заверения, что мы хорошие.

— Да-да, он позвонил мне вчера вечером и рассказал о вас. Попросил принять и показать замок.

Голос графа доносился до нас как будто с неба.

Потом раздался тихий свист, это был сигнал... собаки убежали. А ворота сами открылись. Ровно настолько, чтобы пропустить нас внутрь ограды. И тут же закрылись за нами.

За оградой... ничего не было. Там рос все тот же смешанный лес...

Мы спрашивали сами себя: «А где же замок?»

Как будто услышав наш вопрос, голос с неба сказал: «Дальше, дальше идите по дорожке...»

Мы шли и шли. Прошло минут пять, а никакого замка не было видно.

И вот... лес неожиданно кончился, и мы увидели... нет, замком это никак нельзя было назвать... это сооружение возможно когда-то и было замком, но сейчас походило скорее на наскоро возведенную декорацию, построенную для сказочного чешского фильма.

Голос услышал и эту мысль и отозвался: «Не судите по внешности, прошу вас, подойдите к фасаду. Прежде чем я пушу вас внутрь, хочу на вас посмотреть».

Подшли к фасаду, если конечно это бесформенное нагромождение деревянных лесов и панелей можно было так назвать...

И тут... с наших глаз как будто пелена спала. Марианна нервно вскрикнула, а меня так шатнуло, что я чуть не упал в глубокий ров, окружающий трехэтажный средневековый замок с башенками.

Мы стояли на перекидном мостике и держались за его шаткие перила.

Опять зазвучал голос. Но уже не с неба. У настоящего фасада замка, рядом с огромными бронзовыми дверями стоял господин в цилиндре. Это был нынешний владелец замка.

— Проходите, прошу вас. Сойдите же наконец с этого дурацкого мостика. Иначе вы поскользнетесь и упадете в ров с крокодилами.

Как бы в подтверждение его слов, мы услышали утробное рычание тропических тварей, доносящееся до нас из рва.

Подшли к графу. Никаких рукопожатий или объятий не было. Граф пристально рассматривал нас, а мы — его. Меня

корчило от такой демонстративной недоверчивости, я то и дело отводил глаза и моргал, а Марианна от растерянности начала глуповато кокетничать, поводила плечами, дергала ножкой.

Хорошие люди смущаются, когда на них внимательно смотрят.

Больше всего меня удивило и озадачило то, что граф меня понюхал. Понюхал и удовлетворенно крикнул. Я его нюхать не стал.

Как выглядел граф? Никак. Средний рост. Средний возраст. Черные ботинки, такие же брюки, такой же пиджак, черная же бабочка. И пиджак и брюки знавали лучшие времена. Руки в темных перчатках. Цилиндр. Тоже, далеко не новый. Горбоносый. Усики. Глаза вроде бы серые или бесцветные. Голос низкий.

— Ну что же, друзья, добро пожаловать в Хартенфельс!

Граф открыл дверь, и мы зашли в замок.

Я не знаток средневековой архитектуры, не знаю, как правильно назвать огромное помещение, в которое мы попали. Атриум?

Это был зал высотой в три этажа. Длинной — метров двадцать пять. В середине его находилась широкая мраморная лестница с перилами, ведущая на второй этаж. Слева и справа от нее — четыре двери в другие покои. Освещался зал сверху через широкое окно в крыше. Бросалась в глаза пустота этого великолепного пространства.

Граф услышал и эту мысль.

— Вас, я вижу смущает то, что у нас тут нет ни рыцарских доспехов, ни оленьих рогов, ни старых портретов, ни мебели... Так вот, все это тут было и в избытке. Но Вторая Мировая война и то, что за ней последовало — внесли свои коррективы. Во время войны в замке располагалось специальное подразделение СС. Тут работали члены общества Аненэрбе. Почему они находились в этом замке? Потому же, что и вы. Они верили, что тут есть колодец или портал, свя-

зывающий наш мир с миром потусторонним. Хотели установить связь с демоническим миром и как-то использовать его в интересах Третьего Рейха. Надо отдать эсэсовцам должное, замок они не разорили. Только, по привычке, забрали с собой, когда уходили, пять дюжин картин маслом и статуи. Где они теперь, неизвестно. Разорили и чуть не сожгли замок солдаты Красной армии и обычные чешские крестьяне после того, как отсюда ушли немцы.

— А когда вам вернули вашу собственность?

— Три года назад. Вернули нам только стены. И все эти три года мы пытаемся привести здание в приличный вид. Один год потратили только на вывоз мусора...

— А как насчет входа в ад?

— Зачем говорить о том, что можно через минуту увидеть. Следуйте за мной. Вы ведь для этого тут и объявились, не правда ли? Поверили старому лгуну Каспару. Я ведь знаю, что вам ехидный Феликсмюллер дал прочитать в библиотеке. Он ничего мне не сказал, но я догадался. Эту книгу, кстати, Феликсмюллер обнаружил в сохранившейся части библиотеки императора Рудольфа второго. В архивах моей семьи, которые отобрали у нас немцы, было много подобных откровений. К сожалению, архивы не сохранились. Они, возможно, лежат в подвале виллы в Далеме... или на чердаке старого дома в Шварцвальде, принадлежащего когда-то одному видному члену Аненэрбе, сделавшему карьеру в послевоенной Германии. У меня нет сил и средств их искать... С удовольствием переложил бы подобную работу на молодых энтузиастов, таких как вы, например. Подумайте. А, вот мы и пришли. Это капелла. Очаровательное пространство. Как видите, и тут ничего нет. Только готические ниши в стенах для картин или статуй и примитивные фрески на втором ярусе. Сюжеты их традиционны. Благовещение. Архангел Михаил убивает змея. Охота на оленей. Есть правда, ни к селу, ни к городу несколько мифологических животных... грифоны, гарпии... есть и кентавр, стреляющий из лука в полубнаженную женщину, возможно это

Атилла или еще какой-нибудь гунн, убивший святую Урсулу. По преданию, этот самый колодец находится сейчас под нами. А капеллу, да и сам замок, якобы, специально построили для того, чтобы силы зла не посмели выйти из своего подземного узилища. А теперь... внимание, сенсация! Смотрите, вот тут маленькая дверка... раньше тут была картина, изображавшая Страшный суд... мы и не знали о ее существовании... случайно нашли ключ от замка... представляете, он был замурован в стену одной из спален на третьем этаже. Мы начали там малярные работы... и вдруг опп... из стены на пол падает ключ... большой, старинный. Долго искали, от чего же этот ключ, пока также, случайно, отскребывая тут, в капелле старую, еще средневековую штукатурку, не обнаружили в одной из ниш эту дверку. За ней — лестница. Она ведет в помещение под капеллой. Ни немцы, ни русские, ни чехи не были там, куда мы сейчас спустимся. Идите, смотрите и трепещите! У вас есть фонарики?

— Конечно.

Дверка вывела нас на узенькую темную винтовую лестницу. В руках у графа сам собой появился и загорелся фонарь. Керосиновый что ли? Или карбидный? Фонарь графа отбрасывал неверный сиреневый свет. Мы с притихшей Марианной достали фонарики.

Спускались мы не долго. Минуту... Я заметил, что эта необычная лестница, если на нее посмотреть сверху, напоминала сужающуюся спираль...

Лестница привела нас в круглое помещение. Тоже пустое, но не совсем.

Примерно на высоте моих глаз из круглой стены вылезали острыми концами мраморные треугольники, а под ними, как под карнизами, находились каменные головы гримасничающих демонов. Всего — тринадцать голов. Черные адепты?

С выпученными глазами и открытыми ртами, украшенными звериными зубами. Некоторые из них высунули свои раздвоенные языки. У других были уши, как крылья летучей мыши. Неприятное зрелище.

В центре круглой комнаты, прямо на полу лежала круглая металлическая крышка с выгравированным на ней Черным Солнцем, диаметром с метр. У этой крышки были две удобные ручки, ее можно было поднять! Она, по-видимому, прикрывала тот самый колодец, пресловутый «вход в потусторонний мир».

Хотел спросить об этом графа, но... граф исчез.

Его фонарь остался стоять на полу.

Хуже того, исчезла и лестница.

Приехали...

Моя подруга спросила меня дрожащим голосом:

— И что мы теперь будем делать?

А я не знал, что ей ответить. Как может персонаж знать то, что и автор не знает?

— Может откроем эту чертову крышку?

— Господи, Антон, только этого не хватало. Забудь про крышку, забудь про ад, про потусторонний мир. Мы уже в аду. Нам отсюда выбираться надо, иначе подохнем.

— Дай мне осмотреться.

Посмотрел на потолок. Должен же там хотя бы шов от лестницы остаться!

Ничего не видно. Ровная сероватая поверхность. Шит!

Посмотрел еще раз на каменных демонов. Они показались мне еще гаже, чем были. И эти треугольники-карнизы, и сами головы — как будто еще дальше выперли из стен. Ужасно.

— Если выберемся — сейчас же уедем из этой чертовой страны. И больше в Чехию — ни ногой! Идиоты.

— Если...

Один из фонариков — Марианнин — погас. Батарейки отказали. Фонарь графа светил слабо.

Инстинкт подсказывал мне, что надо что-то делать. Пока еще есть свет.

А внутренний голос шептал мне в ухо: «Спасение там, где погибель. Рискни, чего терять. Прыгни в колодец!»

Подошел к крышке с Черным Солнцем, взялся за ручки и дернул на себя. Тяжёлая!

Ура! Удалось ее сдвинуть. Марианна отошла от колодца подальше, села у стены и закрыла лицо руками. А я осветил своим фонариком вниз, в отверстие.

Что я увидел? Действительно, каменный колодец. Видимо, очень глубокий. Силы фонарика явно не хватало, чтобы осветить его до дна.

Потрогал руками пол. Не сразу, но нашел маленький камешек. С полсантиметра размером. Не колеблясь, бросил его в колодец. И начал ждать.

Но ничего не дождался.

Вынул из потухшего фонарика батарейку. Увесистая. Взял ее двумя пальцами. Поднес к середине отверстия. И разжал пальцы.

Видел как она летит. Аккуратно посередине колодца. Не вращаясь. А звука удара ее о дно или стенку — так и не дождался. Жуть.

В бессильной ярости бросил в колодец не работающий фонарик. Слышал, как он бьется о стены колодца. Звуки эти, точнее треск и хруст... постепенно затухали. Но последнего удара о сухое дно или бульканья от погружения в воду я так и не дождался.

Сел рядом с Марианной на пол у стены. Марианна беззвучно рыдала. Погасил свой фонарик, обнял Марианну и попытался ее успокоить. Она не успокоилась, впала в нервическое оцепенение. Я попытался оторвать ее руки от лица — не дала. Всхлипывала и изредка дергалась.

Так мы и сидели... час или сутки... не знаю.

Головы дьяволов, казалось, ожили. Вращали глазами, шевелили ушами, клацали ужасными зубищами, рычали.

Из колодца доносился чей-то глухой смех.

Через день или через неделю.

В круглой комнате танцевали полупрозрачные синие фигуры...

Руки свои, с длинными кривыми ногтями, они подняли над головами.

Отвратительные их лица кривились в экстазе.

Длинные отвислые груди болтались как веревки на ветру.

Дряблые ляжки тряслись.

Их чудовищное пение разрывало мне внутренности.

Но вот... демоницы образовали вокруг колодца три концентрических круга.

Начали творить заклинания.

Потом неожиданно обступили меня и опустились передо мной на колени.

Я встал... сбросил с себя одежду и обувь.

И испытал перерождение.

Тело мое покрыла сама собой выросшая бурая шерсть.

На пальцах рук и ног выросли огромные когти...

Лицо удлинилось и превратилось в звериную морду.

Рот стал медвежьей пастью.

Я ощутил в себе страшную силу и бешено заревел.

Демоницы поднесли ко мне бесчувственную Марианну.

Положили ее передо мной и запрокинули ей голову.

А я...

Взгромоздился на неё всей своей тяжелой тушей...

Вонзил в ее нежную плоть свои когти...

Всунул ей в рот свой толстый язык.

Проник...

А когда кончал, вырвал зубами ее горло.

Авторский комментарий

Мягкая сдержанная проза с ужасным концом, не оставляющим сомнений в том, что наша жизнь, как бы она ни была спокойна и счастлива — в любой момент может обернуться кошмаром. И еще — кем бы мы себя ни ощущали, какую бы маску ни носили (годами, годами), в каждом из нас скрывается умопомрачительно злобное существо.

Написал этот текст давно, но не довел до конца. Это еще один вариант завязки готической повести «Ужас на заброшенной фабрике» (это эвфемизм для бывшей ГДР в узком смысле, и для мира конца индустриальной эры на Западе в более широком). Только «чешский», точнее «богемский». Вроде темно-фиолетового резного стеклянного богемского бокала в шкафу у бабушки. В конце текста выясняется, при трагических обстоятельствах, что рассказчик — оборотень или даже сам дьявол. Дьявол-медведь. Тогда, когда я это писал, мне показалось это представление нечистой силы — слишком «зоологическим». Это отнимало у нее присущую ей некую универсальность, тотальность. Пришлось вынуть дьявольское начало из рассказчика и вложить его в другого персонажа. Но в этом варианте начала — все так, как задумывалось вначале.

Если хочешь искать зло — ищи его в себе.

ПАЛЕВЫЙ ГОЛУБЬ

Вел машину Витя, Виктор Шнирельман, бородатый, добрый, с небольшой лысиной... дважды разведенный близорукий еврей, смахивающий на Бабеля, в бабелевских же очках, живущий в квартире родителей в старом доме на улице Горького вместе с незамужней сестрой, прихожанкой Сретенской церкви в Новой Деревне и страстной поклонницей отца Александра Меня. Родители их уехали в Израиль в 1987 году, как только из СССР начали свободно выпускать не только долготных отказников, но и «кого попало». И неплохо там устроились. А Витя с сестрой остались в Москве «возродить православное отечество».

Витин папа нашел работу по специальности в Тель-Авиве (в СССР он был заведующим отделением урологии в больнице на проспекте Вернадского), а его мать, работавшая в Москве терапевтом в элитной поликлинике на Бронной, стала «после тридцати лет мучений в советском здравоохранении» домашней хозяйкой. Похудела, похорошела, каждый день занималась лечебной гимнастикой на пляже, плавала в бассейне и в море, посещала платные курсы макраме и даже, по словам Вити, «начала шалить».

— В ее-то возрасте, — добавлял Витя печально. Витиной маме было тогда только слегка за пятьдесят.

За рулем Витя был неразговорчив... я сидел рядом с ним, пересказывал ему последние московские байки. Время тогда было интересное... гласность... на всех нас обрушился водопад информации. Переварить ее было не легко. Инстинктивно мы старались как раньше — хохмить и похохатывать. Это был привычный метод нейтрализации советского яда, которым была пропитана наша жизнь. Но получалось это у нас не все-

гда. Трудно хохотать над «Колымскими рассказами» или «Воспоминаниями» Надежды Мандельштам. Но превращать нашу жизнь в вечные поминки мы тоже не хотели.

Витя просил:

— Ради бога, Гоша, не смей меня, иначе я в столб врежусь или в зад кому-нибудь въеду. Да и мой Москвич не любит, когда в салоне смеются. Может обидеться и мертво встать. Уже не раз бывало. И тогда... придется нам пешком идти. Ибо починить его может только дядя Спиридон в мастерской на Земляном валу. Больше он никому не доверяет, подлец.

Знакомые Вити столько раз слышали от него эту шутку, что даже не улыбались.

Витя и впрямь верил, что его автомобиль может обидеться на хохочущих пассажиров. Мы все тогда были суеверны. Хотя виду и не подавали. Софья Власьевна приучила. Все одушевляли и всего боялись.

На заднем сидении сидели Саша и Валя. Как и мы с Витей — добровольные помощники батюшки в новооткрытой Георгиевской церкви, недалеко от Видного.

Саша, Александр Преображенский, высокий, красивый парень лет двадцати пяти (мне и Вите было за тридцать), гордый, холеный, высокомерный... читал в церкви Псалтырь. Невольно подражая дикторам советского телевидения. Чеканил слова.

Он утверждал, что происходит из поповской семьи, но я ему, сам не зная почему, не верил. Чувал в нем избалованного отпрыска номенклатуры. Скорее всего — военной. Своего.

Саша закончил технический ВУЗ в Москве, работал в НИИ и серьезно подумывал о поступлении в семинарию, а потом и в академию. Вроде бы страстно хотел стать священником. Или даже иеромонахом.

Со мной, Валею и Витей аккуратно держал дистанцию. Но в конфликтной ситуации не спорил, сдерживал себя, замол-

кал, отходил в сторону. С батюшкой старался держаться на равных. Я над ним потихоньку посмеивался. Узнавал в нем себя и других, похожих на нас людей.

Валя, Валентин Зябликов, был самым старшим в нашей компании. Ему было уже за сорок. В его тощей, сутулой, долговязой фигуре было что-то от юродивого. Он даже внешне походил на Козловского в роли юродивого в фильме «Борис Годунов» 1948 года.

В церкви, на богослужении он вел себя странно — всхлипывал, мычал, стонал, бил себя в грудь длинными руками. Вставал на колени, ложился на пол, кликушествовал. Умолял бога простить его.

Валя был пассивным гомиком... был не способен скрывать свои желания, видимо очень сильные, приставал к мужчинам. Приставал и ко мне. Смотрел жалобно и проникновенно наполненными слезами глазами. Моргал. Дергался. Осторожно прикасался к руке или плечу. Тяжело дышал. Отогнать его, впрочем, не стоило труда. Достаточно было строго цыкнуть. Я прямо сказал ему, что я не гей, и попросил на меня так не смотреть и не касаться. Он обещал.

Валю обычно презирали и игнорировали. Многие брезговали есть с ним за одним столом. Не подавали ему руки. Христианская любовь к ближнему на Руси испаряется, как только дело касается голубых.

Он сам себя ужасно стеснялся. И при первой возможности прятал свое неуклюжее тело в раковину. Как рак-отшельник. Но неудовлетворенное желание постоянно выгоняло его от туда и гнало к людям. К мужчинам. Оно и привело его в церковь. Наш батюшка однажды по секрету рассказал мне, что бедный Валя долгое время служил «Машенькой» в доме одного известного московского архиерея.

Миновали Малоярославец. Проехали Медынь, Юхнов.

Витя остановился на обочине дороги, прочитал — уже в который раз — записочку с указаниями, которую дал ему наш священник, сверился с картой.

Свернул на проселочную дорогу. Наш Москвич начал подпрыгивать на ухабах, а затем вдруг заглох и остановился. Витя, ругаясь, вышел из машины, открыл капот...

Я сел на теплую июньскую землю, снял сандалии и вытянул ноги. Выпил немного воды из пластиковой фляжки. Положил в рот ириску.

Наслаждался покоем.

О том, что мы искали, не думал.

А что мы искали?

Стыдно говорить об этом... Вспоминать о том, как же мы были глупы и наивны.

Мы искали давно заброшенную церковь, якобы полную икон. Хотели забрать иконы и привезти их в Георгиевский храм.

День назад к нам в церковь приезжал на своем грузовичке шофер Коля, хороший знакомый или даже дальний родственник нашей попадьи.

Привез несколько поддонов кирпича из Лобни.

Кирпич пришлось разгружать вручную. Адская работа! Но мы справились.

Пока мы потели и кряхтели, Коля беседовал с батюшкой, курил и плевал себе под ноги. Когда его пятитонка опустела, тут же уехал.

А батюшка рассказал нам, что он ему поведал.

Будто бы вчера Коля ездил «в Угру», отвозил кому-то гравий и плитку. В крохотной деревеньке из трех изб, купленных москвичами под дачи, ему поднесли самогона, он не смог отказаться... а собеседники его, узнав, что он знакомый или родственник попадьи, провели его... будто бы... в брошенную деревенскую церковь... и показали сотни икон, сваленных когда-то на пол. Рассказали, что... иконы эти свезли

туда во времена Хрущева из окрестных церквей («даже из Смоленска и Можайска привозили»), чтобы публично сжечь, как тогда часто делали. Но что-то помешало этому варварству, иконы заперли в церкви и забыли о них. А деревенька вымерла.

— Что будем делать, ребята? — спросил нас батюшка. Нельзя пропадать добру. Надо ехать. Завтра же.

Батюшка знал, что у Вити есть Москвич, доставшийся ему от отца, знал он и то, что и я и Саша страстно любим иконы и согласимся на поездку. А Валю он попросил, потому что тот был безотказной скотинкой. К тому же был очень силен физически и умел работать кулаками, что могло пригодиться в этом сомнительном деле.

— Я бы сам с вами поехал, но у меня тут дел полно. Любопытно страшно, что там за иконы валяются. Может быть, и старинные. Коля конечно болтун, но такое он бы сам не придумал.

И вот мы тут.

Наш Москвич стоит, и мы не знаем, что делать.

Я сижу на солнышке, на краю ромашкового поля, глаза мои наслаждаются небесной голубизной и сахарными перистыми облаками. Нос, как у Гоголя — ведрами вдыхает свежий июньский воздух. Тут вам не Москва. Шевелю пальцами рук и ног, гоняю назойливую муху, которая непременно хочет промаршировать у меня на губе. И мне наплевать и на иконы, и на попа, и на Георгиевскую церковь, и на все остальное. И хочется мне только одного — чтобы никто не мешал мне сидеть на теплой земле, смотреть на небо и нюхать сладкий дурманящий воздух.

Тут, как назло, Витя издал радостное восклицание, упрямый Москвич наконец завелся и изрыгнул из себя выхлопные газы, Саша и Валя полезли в машину. Пришлось встать и надевать сандалии.

Протащились по лесной дороге еще километров двадцать пять. Наученный горьким опытом Витя ехал очень медленно и осторожно, объезжал колдобины.

Неожиданно мы уткнулись в высокие металлические ворота.

Ворота перегораживали дорогу. И явно были закрыты.

Влево и вправо от ворот уходили в лес решетчатые металлические стены. Метра три с половиной высотой. Сверху на стенах были установлены грубо сделанные керамические изоляторы, от изолятора к изолятору тянулся оголенный алюминиевый провод.

На воротах висела поржавевшая табличка: «Запретная зона. Прохода и проезда нет».

А под изоляторами другая: «Высокое напряжение! Не влезай, убьёт!»

С черепом и костями.

Выглядело все это довольно зловеще.

Витя еще раз, на всякий случай, просмотрел записку с указаниями, и провозгласил:

— Ни о каких воротах... и слова нет. По словам Коли, тут должна была находиться эта деревушка. Гадюкино, что ли. Или Змеиная нора.

Тут подал голос Валя.

— Ребята, посмотрите...

И показал рукой на висящий на стене шагах в десяти от ворот скелет с прилипшими к нему обрывками шкуры.

— Это олень или косуля... веско сказал Саша. — Наверное пытался перепрыгнуть стену, но не дотянул, напоролся на провод и погиб. Бедняга.

— А где же рога? — нервно спросил Валя.

— Кто знает, может это самка была, без рогов. Или детеныш.

— Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах...

Я не мог не сострить, привычка. За что был немедленно награжден укоризненным взглядом будущего православного священника или иеромонаха.

Витя спросил: «Что будем делать?»

Все молчали.

Я откликнулся: «У меня есть идея, но, боюсь, она вам не понравится».

Валя прошептал хрипло: «Давай, выкладывай, что придумал».

— Вон там, смотрите, бревно. Давайте его на плечи положим, как татаро-монголы, разбежимся и по этим воротам врежем. Держу пари, они откроются. Полагаю, если тут и была раньше «запретная зона», то теперь ее больше нет. И уже очень давно... Тут все прогнило, посмотрите. Как в нашем социалистическом отечестве.

Подобрал с земли брошенную кем-то палку и врезал ей по воротам. Вроде как копьём ударил. Пробил отверстие. И током меня не убило. «Не влезай». Всё туфта.

В дырку мы все, по очереди, осторожно заглянули. И увидели не совсем то, что ожидали...

Оказалось, мы находились на вершине невысокого и очень пологого лесистого холма. Проселочная дорога уходила куда-то вниз, к петляющей в долине речке. За речкой поднимался огромной подковой еще один пологий холм. На его склоне высилась большая церковь, построенная, вероятно, в конце девятнадцатого века. Стандартный «корабль» с массивной колокольней. Окна ее были забиты фанерой. Крест покосился. Явно заброшенная.

Она и была очевидно нашей целью.

Валя и Витя поддержали мой план, Саша пытался протестовать, но видя нашу решимость, нехотя согласился нарушить закон. Пробормотал: «Во благо, на пользу, прости, прости, господи!»

Бревно мы не без труда подняли, разбежались и хрястнули им по воротам. После третьего удара ворота упали как стены Иерихона. Точнее — упала правая их створка. С табличкой. Левая покосилась, но осталась висеть. Алюминиевый провод порвался.

Итак, путь был свободен!

Решили оставить Москвич у стены и идти к церкви пешком.

Отошли шагов на триста.

Тут перед нами на дороге возникли два солдата. Без оружия, в грязной, не знакомой нам зимней форме. Вроде пьяные.

Они шли навстречу нам, взявшись за руки, как детсадовцы.

Мне в голову пришла шальная мысль: «Может быть тут все-таки есть “запретная зона”... воинская часть или резервный аэродром, или хотя бы радар... и солдаты оттуда? Напились и бродят теперь... Или где-то маневры. Как бы нас не замели».

Саша обратился к солдатам по-былинному: «Здорово, служивые. Куда путь держите?»

Один из них, чернявый, не вязал лыка. Только икал. Другой, блондинистый, как Шурик, выдавил из себя:

— Какого хера, куда. Тебя не спросили. Идем и идем. А вот вы чего тут делаете? Из какого вы года вообще?

Ответил ему Витя:

— Как из какого года? Из восемьдесят девятого. У вас что, белая горячка? Мы приехали церковь посмотреть.

— Аааа... Церковь? А что ее смотреть? Слышь, Серый, они церковь приехали смотреть. Делать им нечего... Восемьдесят девятого... я тогда еще не родился. Что будем делать, Серый? Вот бы сейчас картошечки рассыпчатой со сметанкой и лучком поесть и огурчика солёненького. Мне эти сухие пайки — как чирьи на жопе.

Мы разминулись. Похожий на Шурика обернулся и крикнул: «Уходите отсюда. Скорее. Иначе сдохнете. Кто знает, куда вас занесет. Может и в Бахмут. Передавайте привет повару».

Тут только мы заметили, что оба солдата не только пьяны, но и ранены. На асфальте после них остались кровавые следы.

Мы хотели было предложить им помощь, но солдаты исчезли. Как будто их и не было.

Пошли дальше.

Дорога внезапно кончилась.

Была, была и нету ее. Земля, трава, кустики есть... а асфальта нет. И грунтовки... Нет даже тропинки.

Странно и непонятно. Мы надеялись, что дорога приведет нас прямо к церкви. Ведь ее когда-то строили. Камень, кирпич, дерево, краска, инструменты... все это надо было подвозить. Как без дороги?

Подшли к речке. Милая речушка. Вода прозрачная. Только... как будто остекленевшая.

Дно видно. А рыбок — нет. На дне — непонятно откуда там взявшиеся корни. Голые, длинные, переплетенные. Похожие на руки и ноги. Жутко.

Решили, где наша ни пропадала, перейти речку вброд.

Первым в воду вошел я. Босой, в одних трусах. Брюки, рубашку и сандалии нес в руках.

В середине речки вода была — чуть выше пояса.

Вода показалось мне похожей на глицерин.

Я чувствовал подошвами, что наступаю на корни. Готов был поклясться, что они хватают меня за щиколотки, тянут...

За мной потянулись остальные. И их тоже кто-то хватал за ноги. Водяные?

Еще одна странность.

Вокруг церкви вся растительность была бледная, бесцветная. Трава, цветы, деревья, кусты, ветки, листья — все.

И еще — все растения не были живыми, гнущимися, трепещущими... а как будто сделанными из ветхих костей мертвецов. Или из умерших кораллов.

И сама церковь была, как оказалось, тоже как-то неестественно бледной. Костяной.

Мы слышали сухой треск... стены шелушились, ветки и веточки ломались как плохо сделанные гипсовые слепки... листья и чешуйки падали и рассыпались в прах.

Кроме того, ветерок доносил до нас неприятный запах. Пахло горелым бурым углем и еще чем-то. Чем-то ужасным...

На фиолетовом небе то и дело показывались чьи-то страшные лица.

Казалось, тут не действовали фундаментальные законы бытия.

Решили немного посидеть.

Голос Вали дрожал:

— Ребята, тут не чисто. Вонь какая! Мы попали в царство мертвых. Посмотрите на небо. Я там умершего отчима видел. Он меня истязал и... Мы в аду. Может, повернуть оглобли? Пока целы. А то еще Цербер прискачет.

Саша посмотрел на него с презрением и провозгласил:

— Ну ты загнул, Зябликов. В аду... отчим... Цербер... Сам ты Цербер. Пять часов потратили, чтобы сюда добраться. Церковь — вот она. Ну да, все бледное. И воняет. Все равно. На бога надейся. Мы делаем благое дело. Может быть, все тут и должно быть таким, кто знает. Обработали чем-то с воздуха. Распылили краску или ядохимикаты. Перестарались, как обычно. Солдат траванули, они и сошли с катушек. А у нас галлюцинации. Откроем церковь. Посмотрим, есть ли там иконы. А потом будем решать.

Витя высказался решительно:

— Жутко тут. Не до икон. Солдаты эти... откуда они взялись? Как будто из другого времени. Кто-то знает, что такое

Бахмут? На Бафомета похоже. Привет повару... Я свою первую тещу видел на небе, ведьму ту еще. Лыбилась мне. У меня скверное предчувствие... Я за то, чтобы повернуть назад... прямо сейчас.

Тут все посмотрели на меня. Витя и Валя — дружески, Саша — как и следовало ожидать — почти дерзко.

Я понял, что принимать решение придется мне.

— Ад, не ад. Теща, отчим — они у вас в головах. Надо зайти в церковь, коли уж мы тут. Если в ней ничего нет — тогда домой. Надеюсь, мы там не превратимся в скелеты...

Встали, пошли.

Дошли до бледной травы, кустов и деревьев. Потрогали. Все ломкое. Сухое. Папье-маше?

Голова почему-то закружилась. У всех. Валя оступись и упал. Поцарапал руку. Витя дрожал. Саша шел маленькими шажками, задрал нос. После небольшого кровотечения.

Запах усилился.

Из церкви донесся звук... гул... как будто от большого, быстро вращающегося ротора. Или турбины.

Неожиданно перед нами появилось странное существо. Бледное, как и все тут, небольшое. С собаку. На собаку оно однако похоже не было. Морда вроде как у кролика с большими белыми незрячими глазами, на спине горб с рогом, лапы звериные, сзади — что-то вроде шлейфа.

Валя прошептал: «Видели? Это же демон из преисподней».

Саша и тут вывернулся: «Скорее, мутант какой-то. Бледная нежить».

Витя ничего не сказал, только перекрестился. Протер очки платком.

Существо раздвоилось... заклекотало... затем исчезло.

Поглядел на моих спутников. И они сами и их одежда, и обувь тоже стали бледными, потеряли цвет. И я тоже. И моя

ковбойка и брюки и даже сандалии. Посмотрел на руку — будто не моя.

А по небу уже летали ангелы смерти и воздушные змеи. Отвел глаза.

Вот и церковь. Да, и она — как будто отлита из гипса.

Огромные двери. Бледные! Не заперты.

Вошли. И застыли. Словно превратились в восковые фигуры.

Да... не зря мы слышали гул от вращающегося ротора или турбины.

В центре пустого, почти темного храмового пространства висел в воздухе огромный колокол. Колокол этот очень быстро вращался. Иногда он становился почти прозрачным. От него исходило слабое синеватое сияние.

Я не понимал, что держит его в воздухе, почему он не падает. Не мог оторвать от него взгляд. Смотрел и смотрел как замороженный. Мне казалось, что во мне загорается голубая звезда. Которая вот-вот испепелит меня изнутри. И все-все-все исчезнет. И я не знал, хорошо ли это или плохо.

Не знаю, сколько времени прошло.

Затем... что-то вокруг меня изменилось.

Я понял, что сижу голый на полу церкви... да, той самой. Вращающийся колокол исчез.

Никаких икон тут не было. Ехать сюда — было с самого начала безумной затеей.

Поискал глазами моих друзей. Никого. Церковь была пуста. Куда они делись?

Были ли они в этом путешествии рядом со мной или только приснились мне, как приснилась мне моя прежняя жизнь?

Куда делась моя одежда, сандалии, сумка с фляжкой и ирисками?

Но что-то изменилось. Что? Ага... кто-то убрал фанеру с окон.

Церковь заливал солнечный свет. И от этого ее пустое пространство выглядело еще более зловеще, чем в мистической полутьме.

На всякий случай обошел храм. Ничего. Только...

Только в алтаре на резном старинном престоле из бледного камня стоял неизвестный мне — тёмно-зелёный идол. Крылатый, безликий. Жуткий. Чем-то напоминающий экстатически кривляющуюся жабу.

Но это же невозможно. Это против правил. На престоле должны лежать Евангелие, дарохранительница, кресты...

Попробовал его поднять. Не смог, тяжелый. Теплый и скользкий.

Кто его сюда притащил? Зачем? Какое он имеет отношение ко мне? К нам?

Почему он сохранил свой цвет, тогда как все остальное в церкви и вокруг нее — бледное, восковое, гипсовое? Может, только он тут — настоящий? А все остальное — лишь иллюзия?

Вышел из церкви. Оглянулся. Никакой церкви позади меня не было. Я вышел из пещеры у подножья поднимающейся уступами каменной горы, покрытой растрескавшимися розоватыми камнями.

Вокруг меня был новый мир. Мир, не имеющий ничего общего с среднерусским ландшафтом.

Я стоял на пляже. Три солнца светили золотым, голубоватым и розоватым светом. На сиреновом небе не было облаков.

Далекie горы отражались на поверхности небольшого моря, разделявшего нас.

Я стоял на светлом мелком песке, горячем, но не раскаленном, опаловые волны разбивались о разноцветную гальку и превращались в пену.

Из пены поднялась прекрасная женщина с длинными льняными волосам, сделала несколько шагов, вздохнула, протянула ко мне руки и... исчезла.

Не смог удержаться, побежал... и прыгнул в воду. Вода этого моря была настолько тяжелой, что я не погрузился в нее, а заскользил, вращаясь, по ее поверхности.

Тут я услышал крики. Кто-то звал меня. Ласково манил к себе.

Стоя на поверхности воды.

Три фигуры. Поначалу я подумал, что это мои спутники.

Но нет, это были не они.

Это были седовласый старик в шелковой ночной рубашке, цветущий юноша в тоге и огромный палевый голубь с белым пятном на лбу.

СОЛИТЕР

Прочитал на «Свободе» текст Александра Горянина «Тень государя».

Как всегда симпатично и интересно. Только, на мой взгляд, слишком много звонких и не очень имен. Создается впечатление, что автор украшает ими свой текст... вроде как золотом и бриллиантами. Чтобы блестел как парадный костюм камергера. Или хотя бы поблескивал.

И неожиданно появляющаяся в конце последнего абзаца «тень государя» играет в тексте ту же роль украшения, «темного» на сей раз и потому особенно значимого и почитаемого алмаза-солитера.

В числе прочих упоминается Горяниным и «двоюродный брат» старенькой его лондонской знакомой — Питер Устинов. Тот самый, полагаю. Который не мог приехать в срок на празднование ее столетия из Швейцарии...

Мне, увы, поблистать нечем, на моем потрепанном пальто нет не то что золота, даже пуговиц нет...

Я видел и знал раз в тридцать или сорок меньше людей, чем вездесущий Горянин. Но именно с Питером Устиновым мне довелось пообщаться. Случайно, конечно.

Произошло это в начале девяностых в индустриальном саксонском Хемнице, в котором я прожил, по убийственной иронии судьбы, первые 12 лет эмиграции. В городском оперном театре. В кантине (так называется в Германии театральный буфет). Устинов сидел за столиком и пил кофе. Один. Его мировая слава создавала вокруг него мертвую зону. ореол вокруг звезды.

Посетители кантины — оперные артисты провинциального города и всякая околотеатральная шушера — обычно

дерзкая, экспансивная публика, — явно робели рядом с ним, боялись к нему подойти. Даже не шумели...

Что Устинов делал в Хемнице?

Ставил две или три оперы. «Волшебную флейту», «Иоланту» и еще одну, забыл какую.

А что делал в театральной кантине я?

Выпивал с знакомым режиссером и одной милой певичкой из хора.

После нескольких больших выставок моей графики и с полдюжины статей обо мне в местной прессе, я был уверен, что меня в Хемнице все знают и любят. Голова у меня кружилась. Я жил глупо и беспутно.

Увидел в полутемном зале Питера Устинова не сразу. Вначале глазам не поверил.

Понаблюдал за ним минутку, потом встал и, не чуя под собою страны (ноги несли меня сами), подошел к знаменитости и по-немецки попросил уделить мне несколько минут...

Он нехотя согласился, кивнул, характерно погримасничал и указал большой ладонью на стул.

Я тут же вспомнил «Смерть на Ниле» и «Топкапи» и вспотел от волнения.

Не знал, как себя вести, что говорить.

Спросил его, нравится ли ему в Хемнице. Был награжден едкой улыбкой и кивком.

«О, йааа...»

Минуту или две не мог выдавить из себя ни слова.

Но вдруг, неожиданно для себя самого выложил перед ним свои карты. Ни тузов, ни козырей среди них не было. Так, мелочь, шестерки, семерки.

Рассказал, что эмигрант, что пытаюсь делать карьеру художника, что давно влюблен в его безумного Нерона... вспомнил и другие фильмы с его участием.

Устинов, прищурившись, благодушно кивал и мурлыкал.

Закончил я торжественным шепотом: «Прошу вас сказать мне что-нибудь такое... что я никогда не забуду и буду рассказывать моим детям».

И Устинов сказал. Уважил почитателя его таланта.

«Ради бога, дайте мне спокойно попить кофе!»

И демонстративно отвернулся, предварительно натянув на лицо брюзгливую гримасу.

...

На «Волшебную флейту» в постановке Устинова я ходил. Когда играли увертюру, я не узнал музыку Моцарта, был уверен, что оркестр только настраивается. Удивился, когда на сцене появились Тамино и дракон, и началось действие.

Во время представления по сцене катались и летали огромные красные и синие шары.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Одной из немногих книг, прочитанных мной на немецком в первые пять лет жизни в Саксонии был роман «Другая сторона» австрийского графика Альфреда Кубина.

Никто мне эту книгу не рекомендовал, натолкнулся я на нее случайно. Впрочем, не совсем. Случайно я натолкнулся на альбом его графики. На книжной полке, в роскошном букинистическом магазине города К., владелец которого, бывший офицер Вермахта, а в мои времена — симпатичный старик, бородач и болтун, помогавший, подчиняясь непонятному капризу своей молодой жены, творческим людям, купил у меня несколько десятков фотографий, сделанных с штатива незабываемой камерой PENTACON на старых кладбищах города К. (я снимал по ночам, когда эктоплазма поднимается из могил как струйки пара), что позволило мне в свою очередь, приобрести у него же три десятка альбомов заинтересовавших меня художников (Кубина, Гросса, Шада, Шлихтера, Блюменфельда, Арнольда, Хуббуха, Нуссбаума, Фухса, Эрнста, Дельво, Магритта, Танги и других).

Графика Кубина мне сразу очень понравилась... больше чем понравилась, очаровала. Что греха таить, — я сразу заметил, принял и оценил его особенную, чаще всего сопряженную с насилием, трагическую, фатальную эротику или эротическую мистику, не книжную, а выстраданную (позже я узнал, что одиннадцатилетнего Кубина развратила какая-то взрослая дама. К тому же — беременная... И со мной произошло нечто подобное).

Да, эротическая мистика. Например, в форме гиперболы, гротеска, абсурда...

Необходимое дополнение, позволяющее если не объяснить всегда ускользающую реальность (желания), то хотя бы

показать ее в законченной форме рисунка. Ведь сама по себе эта «реальность» — оскорбительно примитивна.

Эротичесике демоны Кубина — не пособия для саморасстления и не жупелы для запугивания, они всего лишь точные метафоры, яростно вытесняемые из общественного сознания филистерами всех видов разгадки извечных ребусов.

В предисловии к альбому я прочитал, что этот художник еще и фантастический роман написал. Роман этот, с прекрасными иллюстрациями автора, я нашел в том же букинисте на соседней полке.

Надо сказать, что «конвенциональные» биографии Кубина, написанные учеными-искусствоведами не объясняют его творчество, а скорее затуманивают очевидные вещи. Элементарные факты жизни этого аполитичного человека, прожившего почти безвыездно более полувека в собственном деревенском «замке» недалеко от Пассау, никогда не воевавшего (в армии Кубин все-таки побывал еще до первой мировой, но был быстро комиссован из-за нервных припадков), мужа одной жены (14 лет страдавшей от опиумной зависимости, постоянно болеющей и лечущейся в различных санаториях), человека, не читающего газет и не имеющего даже радио — не дают объяснений к графике мастера, скорее наводят на ложный след. А вот этот роман, эта «Другая сторона» и есть настоящая биография Кубина. Ее разворот. Метафизическая его история. История утраты его иллюзий, его «страны грез». Для любителей исторических реминисценций сформулирую так: «Утраты старой Австрии, старой Европы и всех ее до сих пор витающих под облаками фата-морган. В том числе и веры в учение Блаватской о махатмах». И, боюсь, в построения Шербарта и Швабингских космистов тоже.

...

Дома, полистав роман, я обнаружил, что ничего не понимаю. Это меня разозлило. Несколько лет учил-учил язык, да видно так и не выучил, болван. Набрался терпения, сжал зубы, обложился словарями и начал терзать текст. Слово за словом, фразу за фразой. С краткими паузами на дыхание и отдых. Де-

лал пометки карандашом на полях. В паузы съедал по клубничной яголке. Стоила клубника тогда, в июне 1992-го или 1993 года, на рынке в городе К, у продавца-вьетнамца, недорого, две марки за килограмм. Может быть потому, что была несладкой. Испанская что ли...

Слава Богу, роман Кубина небольшой. Прочитал за пять дней. Потом второй раз — пропахал его уже без словарей. Кое что все-таки не понял, но смирился.

Главное — понял очень даже хорошо. Понял то, что этот художник, умерший через два года после моего рождения — родственная душа. Что я, в определенном смысле, его реинкарнация. Что его биография, это и моя биография. Его потеря — и моя потеря. Что моя жизнь, мое скромное творчество, без моего желания и разрешения непостижимым образом переплетены с его жизнью, с его графикой и его прозой. И что они будут сопровождать меня до моего последнего часа и играть в моей жизни особую роль. Какую? Как бы это получше сформулировать... Ну да, можно сказать, роль Мефистофиля при Фаусте. Или, наоборот, Фауста при Мефистофиле... И что избавиться от этой родственной опеки, от этого нескончаемого диалога я не смогу, даже если очень захочу. Потому что так предначертано судьбой.

И все это несмотря на фундаментальную разницу в подходах к рисованию. Ведь я в своих графических фантазиях всегда стремился изобразить нечто конструктивное, но... эфемерное, полученное в результате эксперимента, бесцельного, почти бессознательного, бессистемного творения, путешествия, импровизации... то, что невозможно определить и описать словами. А Кубин всегда создавал нечто узнаваемое, очевидно материальное, конкретное, почти реалистическое. Имеющее нарратив. Часто даже требующее его из-за фантастичности, символичности зачастую вполне сюрреалистического изображения.

Нападение огромных змей на средневековый город.

Картины ада — многочисленные и с реалистическими подробностями.

Гигантская похотливая обезьяна рядом с прикованной к стене нагой женщиной.

Мужчина, ласкающий половые органы мертвой колдуньи.
Поклонение всего живого колоссальному носорогу.

...

Кубин как бы говорил мне своими рисунками: «Ты взялся не за свое дело. Ты должен рассказывать истории. Твое дело писать, а не рисовать. Для рисования у тебя нет таланта».

А для писанины? У меня есть талант? Спрашивал я моего незримого собеседника. В ответ он только хихикал и разводил руками... мол, время покажет.

Смириться с тем, что у меня никаких талантов нет, мне было трудно, потому что еще в детстве я ощутил проходящий сквозь меня синеватый огонь. Властный и неизбывный. И твердо знал, что несжигающее это пламя, наполняющее радостью мои ганглии, рано или поздно найдет себе форму для воплощения.

Самовнушение, еще хуже — самогипноз принимает, как видите, иногда довольно затейливые формы.

Надо ли объяснять, с какой жадностью я читал каждое слово в романе Кубина, переполненном предложениями и абзацами, хотя и являющимися формально частями литературного целого, но более подходящими для описания графических листов. Весь роман представлялся мне длинным графическим циклом, которое рисовало по ходу чтения мое воспаленное воображение. Стиль этого внутреннего комикса определяли конечно рисунки Кубина.

Я, сам того не осознавая, стал активным действующим лицом его романа. И не одним, а всеми одновременно. Это был роман обо мне, о моих страхах, о моих фантомах. Короче, меня затащило не на шутку в водоворот и в буквальном смысле вывернуло наизнанку. В мою обычную жизнь стали проникать образы ада. Ада отшельника из Цвикледта.

Бездушная полицейская с головой тукана.

Сидящая на пиле беременная.

Чернокожая женщина с огромным зобом, баюкающая умершего старика.

Смерть в образе Пьеро.

Летающие на огромных головах звероподобных мужчин обнаженные женщины.

Затянуло меня в мир Кубина через дыру в моей слабой и неэластичной тогда, в первые годы эмиграции, реальности. И произошло это из-за трудно объяснимых «резонансов» наших (Кубина и моей) судеб и персон. Из-за повторения и наложения эпох и времен. Вы конечно скажете, что подобное переживает каждый чувствительный читатель, например, «Сентиментального путешествия» или «Улисса» или любитель графики Гойи... ну да... каждый, так каждый. Но у меня... во мне... многое, слишком многое принимает болезненные формы и это путешествие, этот гон по миру Кубина, это заживо выпо-трашивание моего внутреннего мира не было исключением.

Что же, с этой болью мне пришлось жить. Терпеть ее было не так уж трудно, ведь Кубин не только брал, но и дарил. Не только ранил, но и лечил.

В ПРАДО

(отрывок из эссе «В Мадриде»)

Булгаковский Чарнота говорил: «Ни газырей, ни денег... В Мадрид меня чего-то кидает... Снился мне всю ночь Мадрид...»

Вот и меня кинуло в Мадрид.

После того, как я приехал из Голландии домой в Берлин и узнал, что оказывается и в Мадриде художественные власти решили отметить 500-летие смерти Босха грандиозной выставкой. В Прадо. На которой будут показаны все работы Босха, кроме венского «Страшного суда», знакомого мне по великолепной берлинской копии работы Кранаха. Искушение было слишком велико, и я тут же направился в знакомое туристическое бюро. Гостиницу мы с агентом нашли — в сотне метров от входа в Прадо, билет на самолет поражал своей дешевизной. И вот... рано утром 31 мая я уже сидел на железном, травмирующем зад и неприятно охлаждающем почки стуле недалеко от выходных ворот номер 66 во все еще работающем, к вящей досаде берлинцев, аэропорту Тегель.

Сидел я там уже полтора часа, самолет наш должен был взлететь полчаса назад...

Влип... как обычно.

Грозы, терзавшие весь май Германию, прошли как бригада сварливых уборщиц по школьному коридору и по Берлину. В воздухе висел желтоватый туман... Как я потом выяснил, в то время, когда меня после регистрации отправляли к воротам 66, наш аэробус 320 с красным хвостом еще не вылетел из Мадрида.

Опоздание росло как рак.

Час... два часа... три.

Наконец наша машина приземлилась и ее начали готовить к обратному рейсу. Объявили посадку. Я влез в самолет и занял свое место в третьем ряду. Как и просил регистраторшу — у прохода. Хотя бы одну ногу можно вытянуть...

Вы когда-нибудь летали на аэробусе? Если летали, то комментарий излишен. А если не летали, то вы все равно не поверите, если я начну рассказывать, как в этом алюминиевом гробу узко, неудобно, душно, жутко... Иллюминаторы крохотные. Не кормят. Не дай Бог что случится — все друга друга передавят в панике. Ни террористов, ни бомб не надо.

И все из-за того, что в этот долбаный аэробус инженеры засунули слишком много сидений. Из-за жадности. И презрения к пассажиру. Мол... хочешь за двести евро слетать из Берлина в Мадрид и еще и вернуться — то и корячься... два с половиной часа. Закинь ноги за спину... локти спрячь в грудной клетке... и дыши задницей.

Резко набрав высоту, аэробус наш очутился в каком-то светящемся мареве...

Ни земли, ни облаков, ни синего неба видно не было...

Только белый лоб мертвеца в маленьком круглом окошке.

В конце мучительного полета белизна в иллюминаторах вдруг стала прозрачной. Показалась земля. Коричнево-фиолетовая, выжженная, как будто ножом изрезанная, гористая испанская земля...

Мы приземлились в аэропорту Барахас.

Самолет прикатил нас к четвертому терминалу. Длинной в километр. С футуристической волнистой крышей. И brutальными косыми опорами.

Огромное здание казалось пустым. Кроме нескольких пассажиров моего рейса вокруг никого не было. Пространство тут не скукожено, как в самолете, наоборот... максимально раздвинуто... но враждебно человеку. Железобетонные конструкции терминала походят на зубы гигантского крокодила, а зала выдачи багажа — на его пасть. Если смотреть на нее изнутри, разумеется.

Через четверть часа я уже ехал на такси через новые, добротные районы Мадрида по направлению к Прадо. Высокие многоквартирные дома в этих местах были цвета терракоты, а такси — белые!

На следующий день, в паузу между музеями, я понял, почему. Когда вышел на балкон моего номера на шестом этаже и потрогал пыльные перила. На испепеляющем солнце они были раскалены так, что на них действительно можно было жарить яичницу или пытаться партизана. Хотя это и неудобно, и неприятно...

Хирургически белые кузова мадридского такси отражают свет как лед. Также как и светлые фасады роскошных отелей и административных зданий в центре города.

В отеле «Лопе де Вега» встретили меня приветливо.

Миловидная узколицая испаночка, сносно говорящая по-немецки, только искоса взглянула на мой аусвайс и сразу же вручила мне магнитную карточку-ключ. Показала закуток, в котором мне придется завтракать следующие четыре дня. Вручила мне карту торговых центров Мадрида, маленькую рекламу близлежащего публичного дома «Девочки Сервантеса» (в котором вас обслужат так, что вы не захотите возвращаться домой) и крохотную шоколадку сердечком. В огненно-красной фольге.

За эту шоколадку, впрочем, при отъезде мне пришлось заплатить два евро.

В номере было божественно прохладно.

Я принял душ и разлегся на широченной постели. Десять минут расслаблялся и блаженствовал, как Одиссей в саду Цирцеи. Шевелил по совету йогов ушами и затекшими в самолете лодыжками. Потом вспомнил, что где-то в чреве Прадо всего

в ста метрах от меня находится «Сад земных наслаждений» Босха, посмотреть который мне страстно хотелось с тех далеких советских времен, когда увидел случайно на книжной полке моего школьного приятеля, счастливого обладателя

родителей-дипломатов, небольшую книжечку с репродукциями работ хертогенбосского мастера. На ее обложке был изображен нагнувшийся молодой человек, в приподнятый зад которого его сосед вставил два цветка — синий и бордовый. И явно собирался вставить еще один, красный. Еще один юноша, с завитыми волосами, нежно обнимал крупную рыбу, а на золотоволосую голову молодой женщины был надет полупрозрачный конус. Все эти нагие люди явно пребывали в длящемся любовном экстазе, который мне сразу же захотелось испытать.

Потому вскочил, быстро напялил на себя шорты и свежую льняную рубашку цвета хаки с короткими рукавами, и поскакал кузнечиком к Прадо.

По дороге заметил, что аборигены в шортах не ходят, а парятся в джинсах, рубашках с длинными рукавами и пиджаках... что на улице дивно пахнут цветущие акации... что у многих испанских леди на ногтях жгучий красный лак... что несколько грязных нищенок лежат прямо на асфальте, а люди обходят их как лужи... что многие носят черные очки... что тут и там попадаются полицейские с автоматами... что цены на жареных омаров в соседнем ресторанчике не так уж велики... что не только такси, но и большинство других легковых автомобилей в Мадриде — белые... что в торце огромного здания Прадо стоит небольшая очередь, в которой вероятно и мне придется постоять. Под пиренейским солнышком. Человек сто пятьдесят.

Смиренно встал в очередь. Недалеко от памятника Гойе. Под ногами мрачного бронзового человека с бронзовым цилиндром в руке лежала обнаженная маха из белого мрамора и соблазнительно глядела на меня, а выше ее расположились ужасные демоны. Один из них стриг огромными кривыми ножицами другому ногти. Еще один дул в лицо старухе.

Три сотрудницы Прадо следили за порядком. Иногда они по непонятным мне причинам пропускали целые группы

жаждущих увидеть Босха без очереди. Ждать пришлось минут сорок. Билет стоил 15 евро.

На входе в музей прошел через магнитную арку. Сумочку мою просветили рентгеном. Раскрыли. Но ничего интересного в ней не обнаружили. Две камеры, которыми в Прадо нельзя пользоваться, очки, бумажник и три карамельки на случай, если поплыву.

Прошел досмотр. Уфф...

Передо мной — магазин книг и сувениров, за ним — буфет, переполненный проголодавшимся музейным народцем... Направо — вход в основное здание. Налево — в пристройку, на первом этаже которой выставка Босха, а на втором — де Латура. Это тот, который так ловко изображал задумавшихся вдовушек в свете масляной лампы. Видимо, они его возбуждали.

Пошел налево. При входе в широкий светлый коридор еще одна проверка билетов. Вежливый дядя в униформе посмотрел на мою бумажку, а потом, укоризненно, мне в глаза. Зажестукировал. Я вежливо попросил его объяснить мне причину его неудовольствия. Дядя побагровел, потом ткнул энергичным большим пальцем в мой билетик, на котором было пропечатано время входа на выставку Босха — 18:15, а потом тем же пальцем указал мне на крупные часы на стене, они показывали 17:05. Понятно.

Глаза у дяди пылали как угли в когтях у Люцифера. Говорить с ним было бесполезно.

Решил побродить по основной экспозиции.

Пошел — куда глаза глядят.

И сразу же наткнулся на четыре работы замечательного пейзажиста Патинира, который вроде бы не умел человеческие фигуры рисовать, современника Босха, явно не избежавшего его влияния. Внимательно рассмотрел только одну — «Пересекая Стикс».

Посередине полотна — водный поток. Это Стикс.

Слева — рай. А справа — ад.

В Стиксе — лодка. В ней стоит голый великан — борода-
тый Харон, держится то ли за весло, то ли за руль и хмуро
смотрит на зрителя: и тебе, мол, придется, со мной проехать-
ся! Никуда ты от меня не денешься! Готовь монету.

У Харона в ногах сидит маленькая фигурка, это оробев-
шая «душа» умершего человека.

Есть от чего оробеть. По лесу бродит черт в обличье обе-
зьяны. Трехголовый Цербер повернул к ней одну из своих го-
лов. За ним — неприятная коричневая башня с аркой, укра-
шенной фризом из жаб. Это вход в ад. Чуть дальше (и вы-
ше!) — геенна огненная.

А на левом берегу — благодать.

Поляны, горы... город синий средневековый на плато...

Ангелы, павлины, единороги...

Фонтан вечной жизни, похожий на любимый бабушкин
хрустальный кувшин, который я по неосторожности кокнул
лет пятьдесят назад.

Позже я прочитал в путеводителе, что у души, оказывае-
тся, есть выбор — куда плыть. Какое странное заблуждение!

Хотя... многие молодые мусульмане отказываются от мир-
ной жизни в благополучной Европе и уезжают на Ближний
Восток или в Афганистан — воевать. Добровольно выбирают
ад. Жалко, что не все остаются там навсегда.

...

Рядом с работами Патинира — две большие картины
Питера Брейгеля Старшего, хорошо известный мне «Триумф
смерти» и (незнакомая мне) «Попойка в День святого Мар-
тина».

Собственно, на этом можно было и закончить мое посе-
щение Прадо. «Триумф смерти» Брейгеля — ни в чем не усту-
пает лучшим работам Босха. Или уступает? Что собственно на
этой картине изображено?

Ангелы смерти — все как один скелеты, иногда нагие,
иногда одетые в доспехи... один — в епископской шляпе... дру-
гой в одежде шута... в саване... убивают живых людей, пред-

ставителей различных сословий, ловят их сетями и загоняют в огромный гроб. Казнят. Одному по-евангельски на шею жернов повесили, другому перерезают горло ножом... орудуют косами, мечами, клещами, копьями...

Травят адскими псами. Вешают и колесуют несчастных.

На горизонте — зарево, в море — тонущие корабли.

Скелеты звонят в колокола, бьют в барабаны, один играет на шарманке...

В левом нижнем углу картины — лежит король во всем великолепии пурпура и горностаев, в доспехах. Нежно обнимающий его скелет показывает ему песочные часы. Твое время истекло! Пора на цугундер!

А другой скелет — грабитель или адский бухгалтер — уже погрузил костлявые руки в бочку с золотыми монетами, государственную казну.

В правом нижнем углу музицирует влюбленная пара, элегантный кавалер и его дама. Он играет на лютне, она поет. Рядом с ними — сама смерть подыгрывает им на скрипке, явно наслаждаясь своей ролью.

Брошены игральные карты, настольные игры, застолье... пришло время гибели. И художник великолепно эту гибель документирует... как будто наслаждаясь, смакуя жуткие детали... играя позами и энергичными поворотами жертв и их палачей. Любуясь возникающими тут и там драматическими сценками. Главный убийца тут — не время, не ангелы смерти, а именно он, мазила, автор, режиссер бойни.

И наблюдатель — невольно — подыгрывает Брейгелю. Играет в его игру. Ощупывает глазами фигурки... пьет их отчаянье... рисует вместе с автором... снимает кино...

Не утруждая себя сочувствием или скорбью. Убивает, умирает... сотни раз.

Какое изысканное наслаждение!

Поиграть в режиссера мистерии жизни и смерти.

Перед тем, как Костлявая схватит тебя самого.

...

Разозлили американские туристы — несколько пышущих здоровьем толстомясых девок и громадных парней. Приперлись и начали так громко и агрессивно обсуждать картину, что пришлось закончить зловещую игру и отойти к «Попойке». Изрядная эта вещица неважно сохранилась, но вполне могла бы послужить продолжением для «Стога сена» Босха.

Что же все-таки Брейгель изобразил на своем «Триумфе»? Пляску смерти? Мemento мори... Бесспорно.

Апокалипсис? Вряд ли.

Зверства испанцев?

Датирована картина годами 1562–63-й. Нидерландская революция уже началась, кальвинисты уже свирепствовали в иконоборческом экстазе. Филипп второй был недоволен. Но до входа герцога Альбы в Брюссель и последующих массовых убийств и всевозможных жестокостей оставалось еще несколько лет.

Или Брейгель их предвидел и изобразил?

За четырехугольной «адской печью» (с пастью и двумя глазами), из которой вырывается пламя, в своего рода ущелье большую вооруженную группу людей атакуют с двух сторон эскадроны смерти. Поэтому картину правильнее было бы назвать «Сражением живых с ангелами смерти». Вроде брейгелевской же «Битвы карнавала и поста» или босховской «Битвы птиц и млекопитающих»...

Батальное развлечение. Экшен. Мрачная забава.

Не без злорадства.

Кстати, ангелы смерти или скелеты уничтожают не только живых людей — они уничтожают на этой картине вообще все живое, в частности — яростно рубят деревья (на обрыве слева).

Жутко...

И все же... по сравнению с тем, что человеческая история нарисовала и продолжает рисовать «в реале» — эта картина Брейгеля только милый материал для пазла.

Кстати, такой пазл, с «Триумфом смерти», я нашел в магазине сувениров музея Прадо на следующий же день. 23 евро. Прекрасное развлечение для успокоения нервов и развития наблюдательности. 12+

В следующем зале я натолкнулся на почти трехметровое в ширину «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. Которое тут же меня в себя втянуло (и заморозило педантизмом), несмотря на то, что на полу перед ним расположилась большая группа щебечущих детишек, а рядом с картиной стояла и вещала, тыкая и тыкая в нее наманикюренным пальцем, арт-воспитательница.

В следующих залах меня ждали: мой любимый Петрус Крестус, Мемлинг, Боутс, Герард Давид, Массейс... Несколько имен мне были незнакомы, но убедили сразу же. Педро Берругете («Расправа над альбигойцами»), Хуан Фландес («Распятие с предстоящими»), Луис де Моралес («Томная Мадонна»).

Время летело незаметно.

Я уже потерял счет шедеврам...

Рядом с работой Рембрандта «Юдифь на пиру у Олоферна» (кажется, та же Саския, но умопомрачительно хорошо написана!) я опомнился, с трудом сориентировался и побрел в сторону Босха. Даже не взглянул на глядящих на меня из соседних залов — Рафаэля и Эль Греко... Хотел сохранить хоть немного энергии для «Сада наслаждений». Потому что — о господи! — после такого Рембрандта смотреть на что-то другое почти невозможно.

Сунулся было в буфет, хотел выпить стакан холодной минеральной воды. Очередища! Стоять не стал. Пососал карамельку. Посидел несколько минут на скамейке в коридоре, помассировал колени, собрал последние силы, встал и пошел к Босху.

Часы на стене показывали 18:45.

Меня пропустили.

Погулял между влекущих к себе изображений. Как дичь между капканов.

Поздоровался со старыми знакомыми. Кивнул незнакомцам.

Как только появилась возможность, встал истуканом перед «Садом наслаждений» и смотрел, не отрываясь, из фокуса триптиха на все три его части минут двадцать пять.

Уходить не собирался. Слишком нежен был взгляд Бога — молодого человека с завитыми волосам, только что сотворившего красавицу Еву и, по крайней мере на этой картине, вовсе не собиравшегося выгонять из рая инфантильных прародителей...

Вот и я — рай покидать не собирался.

Вокруг меня уже недобро шептались другие почитатели Босха.

Назревал заговор или жалоба. Пришлось уступить место. Но я уже все понял, что надо было понять, все ощутил, что можно было ощутить.

Побывал в раю и в аду.

Пережил все возможные экстазы.

Слился с Абсолютом и наслаждался Относительностью.

Искупался в источнике жизни.

Вкусил сладкие плоды с Дерева познания добра и зла, и еще с дюжины райских деревьев.

Посетил с ознакомительными целями адский бордель в заду у человеко-дерева.

Поплясал на голове у синего дьявола.

Был им сожран и выброшен в озеро огненное.

Был поднят оттуда... преобразен... получил новое, молодое тело и посажен на единорога, кататься по кругу с другими женихами и высматривать в круглой купальне нежную подругу для любовных игр. С волшебным шаром на золотисто-волосой головке.

Наигрался в райские игры.

Налетался как стрекоза.

Наплавался как русалка в святой воде.

Побывал вместе с другими юношами внутри клубники и огромного яйца.

Там мы...

...

Кто, какой ученый ханжа сказал, а потом за ним все начали повторять, что на средней части триптиха Босх изобразил что-то недозволенное?

Якобы для того, чтобы показать опасности и соблазны земной любви...

Нет конечно. Тут изображена — чудесная греза человечества. То, к чему тайно стремится каждый — радость. В вечно длящемся остановленном мгновении.

Поэтому не случайно то, что на правой, адской створке мучают не блаженных инфантов из средней части, а игроков, музыкантов, рыцарей...

Мучают тех, из другой, взрослой, жестокой, кровавой и лживой жизни.

А эти — дети Божьи — так и блаженствуют в сладком раю.

...

Почти без памяти, обессиленный, но вдохновленный покинул Прадо...

Поискал лениво продуктовый магазин... в ресторане сидеть не хотелось, там пахнет луком, чесноком, уксусом, копченостями-перченостями. А у меня в ноздрях еще трепетало благоухание рая. Так и не нашел магазин. Ни тогда, ни после.

Купил в палатке три пузатых бутылки минеральной воды и ушел в свой отель, в прохладный номер. Даже по Мадриду не прошелся.

Лежал перед сном и гадал... что же так напоминает эта первая встреча — с «Садом земных наслаждений». Долго перебирал метафоры... а потом сформулировал: телепортацию.

Телепортацию в другую галактику, в ту звездную систему, откуда пришла жизнь, на ту самую планету, где еще живет Бог, на которой все еще шелестят листьями райские деревья и текут четыре реки.

Не придуманные, не иносказательные, настоящие.

И триптих Босха — это портал, который эту телепортацию осуществляет.

Или то самое, заветное пространство зеро.

И прекраснее тех биологических конструкций-башен, которые Босх нарисовал в левой и средней части триптиха — нет ничего на свете.

И я хочу и до и после смерти между ними прогуливаться.

Или как-то иначе — быть там. Среди них.

Если не человеком или птицей, то хоть травинкой.

Капелькой.

Вспоминанием.

Эхом.

Дуновением ветерка.

Уже много лет я не испытывал такого душевного подъема.

Еще бы — я, все потерявший эмигрант, всему миру чужой, наконец-то обрел свою метафизическую родину, единственное место, где хотел бы быть.

Поездка моя удалась, я был счастлив.

ЧЕРНЫЕ КАРТИНЫ

(отрывок из эссе «В Мадриде»)

Четвертый день в Мадриде. Прадо.

К Босху не пошел, хватит с меня. Решил посмотреть только живопись Гойи. И смотрел. Часа три. Как будто в океане купался...

Но странно — ни идиллические пестрые картоны («Жмурки», «Марионетки», «Зонтики» и «Урожай»), ни знаменитые его, «живые» (действительно живые, мерцающие спонтанными лессировками, эманлирующие чудесными энергиями) портреты-кометы, ни парадные драматические изображения («Покушение 2 мая» с резней кинжалами, «Расстрел повстанцев»), ни «Снежная буря», ни картины на религиозные сюжеты (распятый Христос — удивительно постный, Святое семейство — сладкое как пирожное) — меня особенно не тронули.

«Нагая маха» — совершенство, идеальное воплощение женственности (ни капли жеманности), одетая ей проигрывает. Очень красивое лицо. Фигура... Кстати, вы заметили, как полногруды в с е гойевские женщины? Кроме ведьм. Будь я лет на сорок помоложе...

Натюрморты и автопортреты хороши... Проникновенные.

Подошел опять к «Молочнице». Чудо-диво. Как свежее молоко на даче.

Вошел в зал, где выставлены знаменитые «Черные картины» (1819–23) Гойи из «Дома глухого», последнего его пристанища перед эмиграцией, фрески, перенесенные на холст.

Три большие группы азиатов недоуменно глазели на эту чудовищную живопись. Три экскурсовода отчаянно жестикулировали и тыкали пальцами в воздух, пытались наверное на японском и китайском объяснить, что эти гротескные изображения — критика испанского общества.

Застрыл в толпе, как в море из человеков. Поневоле начал дрейфовать вместе с остальными...

Хорошо еще, что азиаты низкорослы... я наблюдал «Черные картины» как будто с вершины небольшой горы. Лестная позиция для человека среднего роста. Только шея заболела... суставы...

Что же этот глухой старик нарисовал?

Мороз по коже.

Со всех сторон на меня пялились уроды... дегенераты... в каком-то иступлении... в экстазе своей соленой телесной самости... дьявольщина!

Лярвы, лемуры, демоны...

И это все, что осталось от гойевских блестящих мах и утонченных кавалеров, бабочек-герцогинь и генералиссимусов в золотых костюмах, матадоров и кардиналов?

Все. Народ-неандерталец.

Душная человеческая волна прибила меня к картине, на которой косматый гигант «Сатурн» (напомнил мне взбесившегося Мика Джаггера) пожирал то ли сына, то ли дочь. На запеленатого младенца этот, пожираемый Сатурном двуногий, похож не был. Тут явно не детоубийство показано, а каннибализм.

Вцепился великан-каннибал в спину обезглавленного им несчастного человечка-куколки своими когтищами. Кровь хлещет...

Сильное произведение. И все аналогии работают... да, именно так, жестоко, осатанело жрет государство своих граждан. И оппозиционеров и собственных выкорышей, начальников, попавших в опалу. Так жрет сейчас Россия свою соседку.

Тело у этого Сатурна-Джаггера какое-то жуткое... порции тоже осатанели... ошметки кожи мотаются... Сам полтруп, а жрет живое.

Издыхающая испанская монархия? Разумеется.

Но не только... и русская. И все остальные, до тех пор, пока их под нож гильотины, в Ипатьевский подвал или в Букингемские дворцы не загонят.

И ленинско-сталинский СССР. И Камбоджа. И Северная Корея. И Китай. И Третий Рейх. И масса других, менее знаменитых диктатур. Революции... тирании... хунты... реакции... олимпиады... тройки и лагеря уничтожения.

Только вот, Сатурн ли это? У Гойи античности мало. Есть одна аллегория (Стокгольм), там Дедушка-Время, как и положено, с песочными часами... с крыльями... Правда, тоже косматый.

Гойя своим фрескам в Доме глухого названий не давал. Скорее все-таки этот каннибал — не Сатурн, а «великан», упомянутый в письме Сапатеру.

Йети. Бигфут. Блендербор-Урицраор.

Взбесившийся дьявол-исполин, людоед из сказки... знакомый страх из коллективно-бессознательного.

Гоголевский старик-мертвец из «Страшной мести».

Нечто вулканическое или земляное или подкожное... не имперское, не хтоническое.

Исконный человеко-червь, по образу и подобию которого мы все созданы...

А моделью ему послужил какой-нибудь запущенный псих из дурдома... Гойя не раз специально посещал эти заведения и рисовал их обитателей. На одной из двух каннибальских сцен (Безансон) есть тип, напоминающий его Сатурна (старик слева).

Или все-таки этот убивец — время?

Безжалостная природа?

Наполеоновская армия в Испании, зверски подавившая народное восстание?

Эпидемия?

Не важно.

Важно то, что эта картина — даже не каннибальским своим содержанием, и не экстравагантной и экспрессивной своей формой... а какой-то трудно определимой внутренней осата-

нелостью, расхристанностью, изломанностью... экзистенциальным диссонансом... хрустом ломаемых живописных суставов-канонов... уничтожает привычные основы нашего сознания, фундаменты восприятия, стены, построенные нами для того, чтобы не сойти с ума от жестокости и несправедливости жизни... не быть сожженным заживо раскаленной лавой.

Гойевский «Сатурн» раскачивает своими мослами окружающую действительность... леса и стропила... как качели... и катапультирует зрителя куда-то туда, где все не так, как надо... не так, как хотелось бы. Туда, где земная твердь потеряла свою твердость, а небо — голубизну, где звуки стали скрежетом, слова — карканьем, а цвета — яростными темными пятнами... а люди, все поголовно... превратились в одержимых бесами чудовищ.

В третью реальность. В предсмертье.

В ожесточенный мир сильно постаревшего, больного, разочарованного и уязвленного художника. В мир, который он не мог показать на своих картонах, портретах, церковных фресках, исторических и жанровых картинах... отчего всю жизнь страдал... всю жизнь лгал... приукрашивал, припудривал... скользил по поверхности в погоне за славой, деньгами, положением в высшем обществе, женщинами.

В мир, который он осмелился воспроизвести только на некоторых офортах Капричос и Диспаратес... в мир, который наконец-то нашел и свое живописное воплощение.

Черные работы — не аллегория, не метафора, не попытка показать жизнь как ад, обычный, знакомый («там, где мы») или изощренный «ад формы»... нет, просто Гойя нарисовал мир таким, каким его в этот нелегкий период жизни видел, чувствовал, ощущал, слышал (не ушами, а черепом).

Его глухота пресуществила звуки в адский грохот, раскаты которого то и дело доносятся из «Черных картин»... подступающая слепота урезала цвета... болезнь упростила формы... старческий тремор придал форму мазку, а недалекая уже смерть позволила добиться невероятной экспрессии изображения.

Что-то сравнимое по силе с этой живописью Гойи можно найти только у Рембрандта... позже — в живописи Сутина. На некоторых картинах Врубеля.

Пикассо изо всех сил пытался имитировать Гойю, да не по зубам ему был этот орешек...

И Ван Гог не дотянул. И все «современное искусство» кажется по сравнению с Гойей — жалкими потугами шарлатанов и неумеек.

Или... этот «Сатурн» — прикрытый античным мифом автопортрет?

Старого мастера измотали войны, политические и придворные дразги, ему осточертела вечно возвращающаяся к абсолютизму и тирании родина, ее ужасная история, осточертел ее народ... осточертело и приносящее все больше проблем и более собственное тело... осточертело то, что он был человеком... воплощение в плоть.

Уничтожить ее... сожрать... к дьяволу под хвост эту жизнь!

«Тонущая собака» (то ли в болоте, то ли в грязном потоке), тоскливо смотрящая на желтоватый фон картины, на котором угадываются жуткие гримасы пустынных духов... или башни готического собора — представляется мне еще одним автопортретом Гойи. В мдусе предсмертного одиночества.

А две похожие работы — «Старик и монах» («старик» похож на Моисея с посохом) и «Два старика едят суп» (тут «старик» — похож на впающую в детство Бабу Ягу) это уже зримое... явление смерти. Или дьявола. На первой картине он шепчет что-то соблазнительное в ухо «Моисею». На второй — читает занятой едой «Бабе-Яге» какую-то книгу, возможно — список прегрешений... Но старик-баба-яга уже по ту сторону добра и зла... он глупо улыбается и не слушает адского фискала.

...

Следующей остановкой моего дрейфа по азиатским морям было огромное полотно «Шабаш ведьм». Это был хорошо мне знакомый Козлиный луг... Но что-то, не только исполинский размер, отличало его не только от нежной картинки для

семьи Осуна (это и обсуждать не надо, разница — как между игрушечной детской пушечкой и грязной, пропахшей порохом и маслом армейской гаубицей с передовой), но и от страшной графики Капричос...

Гойя перестал нуждаться в услугах нагих мутанток-дьяволиц, вампиров, сов и нетопырей... для изображения персонифицированного порока... зла.

Достаточно людишек изобразить... на прогулке.

Дьявол тут — Черный козел. Не из преисподней, скорее карнавальный. Ряженный.

С накладными рожцами и бородой. В черном одеянии.

Темное пятно. Зловещий силуэт. Дыра.

За ним — огромной лепешкой — его адепты. Расселись вокруг повелителя. Одни женщины. Жуткие старухи, мегеры, оголтелые фанатичные бабы, уродки... есть и нежная красотка с муфтой (справа).

Открытые рты... сверкающие глаза. Уродливые носы, подбородки, губы, темные волосы... Все какое-то остервенелое... Ведьмы.

Босые.

Лица их прорисованы грубо. Нарочито грубо. Болезненно грубо. Колюче. Грязно. Наляпаны... как курица лапой. Сын рисовал? Нет, везде видна работа уверенной руки мастера.

Как будто сам Черный козел малевал... презирующий эту легковерную чернь, неоднократно совокуплявшийся с ними... пресытившийся, озлобленный.

Осточертели...

Рисовал и дергался... онанировал... гримасничал... пускал ветры и свистел.

Бедные азиаты вопросительно смотрели друг на друга, как будто спрашивали — что это... а мы не такие? И радостно отвечали сами себе — нет, нет, мы гораздо лучше...

Живопись эта, как вино причастия дьявола — черна, горька и тошнотворна.

И ядовита.

Но очаровывает... безумием. Испарением смерти.
Козлиный луг стал наконец настоящим, обрел свою чер-
ноземную червивую плоть...

Спросим и мы — что это, тут на полотне? Ад?

Нет. Люди, какие они есть. В ожидании черного чуда.

Кому они молятся? Богу?

Нет. Большому козлу. Власти, деньгам, удовольствиям
телесным.

Они целуют его член и анус.

Это что, преувеличение, гипербола, метафора?

Нет, реальность. Обыкновенная реальность.

Как с таким ужасом в душе жить?

А вот как — перескочить через него легкой пташечкой...
заключить с мировой скорбью соглашение о ненападении.
И жить себе дальше, обходя Козлиный луг стороной.

Так Гойя и сделал. Бросил Испанию и уехал во Францию.
С молодой женщиной. Да еще и жалованье сохранил. В Бордо
нарисовал свою «Молочницу». И миниатюрные портреты дру-
зей... И два альбома замечательных эскизов.

Умер на чужбине.

Тело его через 70 лет вырыли, привезли в Мадрид и пере-
захоронили.

В церкви святого Антония Падуанского, под его фресками.

А на месте Дома глухого — станция метро «Гойя».

...

Ну вот, азиатов вымело наконец из зала «Черных кар-
тин»...

Зато туда вошли испанские школьники... И начали дере-
венеть, зевать... засыпать на ходу...

Учительница-экскурсоводша настырно и темпераментно
объясняла им, что к чему, но глубокую их сонливость, каза-
лось, мог победить только футбольный матч Реала против
Барселоны. И они действительно начали играть в футбол —
чей-то шапочкой...

Элегантно играли. Когда музейный служитель попросил их прекратить — прекратили.

Я с удовольствием отметил, что эти подростки обладают врожденным самоконтролем, тем, чего так не хватает детям России... порода...

На картины они разумеется и не взглянули, зачем ворошить чужое прошлое?

Подошел к картине «Народное гуляние в день Святого Исидора».

И тут — одни исступленные изуверы. Безумцы. «Представители различных сословий испанского общества».

Исступлен и свет, мчащийся по темным пространствам неба, как будто заполненного фигурами воздушных гимнастов-демонов.

Темна и земля, вздыбленная тектоническими силами, отпечатавшимися на властных профилях конкистадоров (видел на почтовых марках).

Парад зомбированных кретинов, горланящих каноны... в честь святого Исидора, крестьянина, сотворившего как известно 438 чудес.

Массовый психоз?

Жуть...

Как хорошо...

В 1788 году Гойя написал одну из своих самых оптимистических картин... на тот же сюжет. Народное гуляние на лугах святого Исидора (Прадо).

Светлая, веселая живопись...

Под теплым майским солнцем милые женщины в белых одеждах кокетничают с симпатичными кавалерами... детки...

Танцы... вино... зонтики... кареты... лошадки...

На заднем плане — прекрасный город. Королевский дворец... церкви... монастыри... купола... шпили...

В речке Мансанарес вместо воды молоко.

Пространство наполнено смехом, радостью...

Небо — золото с голубизной.

Обе эти картины нужно воспринимать как «внутренние» ландшафты художника.

Когда Гойя писал свое первое «Гуляние», ему было 42 года, он был уже богат, знаменит... и еще не оглох. Второе, черное «Гуляние» Гойя написал, когда ему было около 75 лет. К тому времени жизнь уже отняла у него почти все, что можно отнять у человека — здоровье, близких и друзей, надежду... а через пару лет отняла и родину, язык.

Для такого страстного, активного и тщеславного человека как Гойя этот тяжкий период предсмертья был особенно мучителен. Оттого он и писал такие мучительные картины...

Реальность не изменилась, только повернулась к нему темной стороной, изменился он...

Почему же в этом страшном зале, в этом черном гойевском гробу, мне было вовсе не страшно, не жутко? Наоборот, я чувствовал там облегчение после залитого бешеным испанским солнцем Мадрида, после блистательного Прадо...

Потому что и со мной, при всей разности масштабов, эпох, географии, темперамента и положения в обществе (Гойе было, куда падать, а я и так внизу), произошло то же, что и с Гойей.

Я давно потерял светлую, радостную жизнь, друзей, женщин, родину, язык, надежду и веру. Жизнь еще не убила меня, но я уже чувствую смердящее дыхание земли. Слышу тихий зов могилы. И чувствую исступление конца... конвульсии заканчивающегося земного существования...

И мне знаком наркотизирующий вкус и свет небытия.

И я, как и Гойя из последних сил пытаюсь пресуществить желтоватые его лучи в картину... в образ... в рассказ.

И мои последние рассказы кажутся публике — «Черными картинами». А для меня они — цвета апрельского неба.

...

То, что с ним случится (или не случится, тут, кажется, сама амбивалентность становится предметом изображения) после смерти, Гойя изобразил на восемнадцатом офорте серии

«Диспаратес». Из лежащего на боку, скрюченного, очевидно мертвого, тела вылетела фигура, расставившая руки. Это пожилой человек, хмурый... это умерший Гойя.

Парит. Левитирует.

В темном пространстве посмертья его встречают другие парящие фигуры.

Кто они?

Не ясно — то ли демоны, то ли люди, то ли его страхи или вождения, то ли его родные и друзья в новых обличьях...

Или это души изображенных им современников?

Нематериальные скорлупки-очертания обитателей Козлиного луга?

Он не смотрит на них, его тяжелый взгляд устремлен туда, в невидимую наблюдателю область, откуда льется потусторонний свет.

РУСАЛКА

Давно известно, если много думать о путинской России — то заболеешь геморроидальным расстройством. Это подтверждается и статистикой...

Форма и протекание заболевания зависят конечно от состояния пациента, его возраста, работы и прочих факторов, но в самом возникновении геморроя у эмигрантов из бывшего СССР — виновата современная Россия и лично ее президент, эту болезнь олицетворяющий. Я к сожалению, особенно последние два года – годы аннексии Крыма, военной интервенции в Донбассе и резкого ухудшения политического климата в и без того обезображенной коррупцией и жестокостью стране – о России думал часто, слишком часто, переживал, скрежетал зубами от бессилия, комментировал путинские гнусности в интернете... и вот... получил геморрой... на свою задницу. Додумался. Допереживался. Докомментировался. Месяц мучился, надеялся на то, что само пройдет. Так наверное думают и многие честные и добрые россияне о Путине и путинщине. Само пройдет. Не пройдет, и не надейтесь!

И мои анальные страдания сами не проходили. Пришлось искать платного врача (бесплатных так мало, что записывают на прием через семь месяцев... а к этому времени или ишак сдохнет или султан умрет). Нашел врача. На Фридрихштрассе практика. У музея Чекпойнт Чарли. Созвонился.

Приходите завтра в три.

Прекрасно! На следующий день — отправился. В кишке так жгло и свербело, что на Берлин и его обитателей даже не взглянул. Скорее, скорее... Когда шел по Фридрихштрассе — подвергся нападению двух дерзких цыганок. Как прилипли, паршивки. Суют мне в лицо какую-то бумагу с подписями, лопочут что-то по-своему и щупают мою куртку, бумажник

ищут. Ну, я не лыком шит, заорал на них громко так, так громко, что вся улица на нас посмотрела: Хаут аб! Вэг!

Отцепитесь, мол, и катитесь... Испугались, вроде. Но как отошли от меня шагов на двадцать, повернули ко мне свои черномазые образины и злобно что-то прокричали. И, хотя я их наречие не понимаю, смысл их угроз я понял. Они кричали: Мы еще встретимся... еще встретимся... берегись!

Как же я ненавижу этих навязчивых попрошаек! Дашь им евро, им мало, требуют еще. Не дашь — такую рожу скорчат, как будто ты их ножом пырнул... и в глазах их черных — бешеная злоба.

...

Вошел в практику. В регистратуре вежливая пожилая дама, слегка впрочем смахивающая на миссис Пикман.

Ни одного пациента! Это потому, что сотню надо выложить за первый прием. А у меня в районе, где только пациенты с государственной страховкой проживают, чтобы попасть к обычному врачу-терапевту — три часа надо в очереди сидеть. Духота. Кашель. Дети орут. Сестры осатаневшие бегают. Врачи перегружены работой. Нервные, замученные. Социализм...

А тут — огромная комната ожидания, и ты в ней один. Кресла. Журналы. Аквариум с золотыми рыбками. Тишь да гладь... Только сидеть, даже в мягком кресле, когда у тебя геморрой, все-таки очень больно. Через несколько минут вышел ко мне врач и представился: Барток.

Батюшки! Венгр. И похож на автора оперы «Замок герцога Синяя Борода»...

Обходительный, седой, уютный дедушка. Пригласил меня в кабинет. Рассказал про геморрой. Показал ужасную картинку. Подробно опросил меня о симптомах и пригласил лечь в хирургическое кресло.

Хорошо теперь понимаю, что испытывают несчастные женщины у гинеколога. Минут двадцать пять он меня обсле-

давал, совал в меня всякие холодные железяки, утешал, уверял, что ничего страшного у меня нет...

Потом опять пригласил сесть за стол, рассказал о том, что мне надо есть, как пользоваться мазями. Посоветовал аптеку. Пожал руку. Заметил, что неплохо было бы показаться еще раз, через шесть недель... Еще полтинник.

Я вышел от доктора Бартока успокоенный и почти вылечившийся, давно заметил, что болезни, также как и пациенты, боятся врачей и иногда отступают перед ними еще до начала лечения. С удовольствием заплатил миссис Пикман сотню. Договорился о следующем термине. Хотел уже было покинуть практику. Но тут...

Что-то треснуло, хлопнуло. Или разорвалось. Молния зеленая сверкнула. Ишак чихнул. Бабочка села на одуванчик. Дурак родился. В моей судьбе произошел глобальный сбой. Бульшит.

Трудно описывать то, что не понимаешь. Я не знаю, что произошло. Но впечатление у меня было такое, как будто фильм моей жизни, до этого момента мерно скользивший через колесики какого-то космического кинопроектора вдруг – неизвестно почему – застрял. По экрану расплзлось зловещее желто-коричневое пятно. Пленка вспыхнула, по кинозалу пополз ядовитый дымок. Публика стала свистеть и топтать ногами, а киномеханик выключил свою аппаратуру для срочного ремонта...

Но ничего у него не вышло, и он трусливо покинул кинотеатр. А зрители, вволю посвистев и потопав ногами, разошлись по домам.

...

Но это все метафоры. А в реале произошло вот что.

Я неожиданно услышал незнакомый голос, как будто падающий с небес, похожий на голос робота, объявляющего остановки в берлинском с-бане. Он провещал: Вам необходимо пройти дополнительное обследование!

Я испугался, запаниковал, мне захотелось выброситься в окно или что-то бешено заорать и начать крушить все вокруг меня. Но я не заорал и крушить не начал, а приоткрыл входную дверь практики, чтобы выйти на улицу. И тут кто-то схватил меня за плечо. Это был доктор Барток. Ставший за те несколько минут, что я его не видел, неузнаваемым! Он постарел лет на десять и одичал! Безумные глаза сверкали, на щеках торчала клокастая щетина, под ногтями – грязь, а вместо аккуратно поглаженного белого халата – на нем была замызганная тюремная роба... Что за черт? Доктор Барток взял меня под руку и прохрипел: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.

Это что же, мое собственное подсознание со мной заговорило? Не верю я во всю эту чушь.

Я дал ему себя отвести по каким-то длинным коридорам в отдаленную комнату. Может, это и была та самая, обычно запертая, комната, в которой Синяя Борода пытал и убивал свои жертвы?

Она походила на операционную больницы двадцатых годов (видел фотографии в медицинском музее в Шарите). На длинных металлических столах лежали скальпели, всевозможные щипцы, пилы, ванночки, шприцы, зажимы, какие-то зловещие трубки... Посредине комнаты стоял большой операционный стол, рядом с ним — бестеневая лампа, вокруг него толпились хирурги-сенобы и ассистенты в зеленых халатах и таких же штанах.

На их лицах маски.

Я попытался освободиться от доктора и удрать. Хирурги заметили это и пропели хором: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.

И ударились в пляс.

Танец хирургов подействовал на меня гипнотически, я ослабел, и доктор Барток подтащил меня к операционному столу. Множество рук в резиновых перчатках схватило меня, подняло и положило на стол. Куртку мою с меня сняли и от-

бросили в сторону, даже не порвав, а остальную одежду резали ножницами и сдирали лоскутами. После чего привязали мне руки и ноги к столу, а на лицо положили маску. Мои летние бежевые туфли злодеи почему-то оставили у меня на ногах.

В самый последний момент, когда я уже был готов отключиться и отдать себя на милость победителей, что-то во мне сдвинулось... я нашел в себе последние силы... предсмертный резерв... и с мужеством отчаяния рванул, разорвал путы, сорвал маску, соскочил с операционного стола, разбросал в разные стороны повисших на мне врачей. Схватил куртку и, отбрасывая от себя хватающие меня со всех сторон руки и расталкивая плечами встававших на моем пути плясун-хирургов, число которых возрастало с каждой секундой, – пробился к двери операционной, протаранил ее, и не обращая внимания на дикий визг миссис Пикман, пытавшейся обвить и задушить меня своими длинными щупальцами, вырвался из практики. Выбежал на Фридрихштрассе.

Голый. Поцарапанный. Напуганный. Дрожащий.

Нацепил на себя куртку, которая еле-еле прикрыла голый зад и причинное место и поковылял в сторону Унтер-ден-Линден.

По дороге судорожно думал (ясно думать не мог) о том, где купить брюки. Перебирал в голове знакомые магазины, но их названия путались, исчезали из памяти, оставляя после себя что-то вроде пестрого пара, потом появлялись, но не давали себя прочитать, хихикали и потешались надо мной.

В голове звучал слоган популярного флешмоба: Сними штаны и иди в метро, ведь ты человек, а не пу-га-ло...

Перед глазами все мелькало. Пульсировало.

Прохожие казались мне мутантами. Они кривили свои отвратительные лица и показывали на меня пальцами, похожими на обглоданные куриные ножки...

Автомобили ревели, били колесами об асфальт, как кони копытами, гудели, прыгали как жабы и норовили раздавить.

От них приходилось убегать. Дома скалили на меня огромные каменные зубы... протягивали в мою сторону свои кирпичные руки. Нюхали меня уродливыми ноздрями. Мостовая то и дело разверзалась передо мной глубокими провалами, из которых поднимались языки синеватого пламени. Неоновые рекламы, треща и прыская электрическими искрами, отваливались от фасадов и падали на меня. Фонари и рекламные столбы стартовали как ракеты и улетали на околоземную орбиту.

Неожиданно я увидел двух цыганок. Тех самых. И они заметили меня и тут же подскочили... и начали нагло задираť мою куртку... чтобы показать другим прохожим, что под ней ничего нет. Лица их сияли злорадством.

Не помня себя от стыда и гнева, я сбил их с ног и каждую несколько раз ударил ногой по лицу. Видел, как у одной выскочил изо рта зуб, а у другой оторвалась губа...

...

Заскочил в какой-то магазин одежды...

Искал брюки, но не нашел... схватил лежащие на прилавке черные женские колготки и с невероятным трудом натянул их на себя. Подошедшая ко мне миловидная продавщица с двумя розовыми носиками попросила меня пройти в кабинку для примерок...

А со стороны касс ко мне уже бежал, высунув язык, менеджер... бультерьер... захлебывался истеричным лаем. Я выскочил на улицу до того, как он смог схватить меня зубами. Прищемил дверью его длинный лиловый язык, слышал, как он заскулил.

В колготках я немного успокоился. Потому что уже не выглядел полуголым психопатом, сбежавшим из клиники, а походил на одного из берлинских андрогинов, таких тут много... Повернул налево, на Ляйпцигерштрассе. И побежал так быстро как мог.

Потому что у меня наконец появился план. Я решил зайти в Картинную Галерею, погулять по ее просторным залам, по-

любоваться на любимые картины и успокоиться. Обдумать все в знакомой и дружественной мне обстановке.

Миновал Потсдамскую площадь с ее безобразными небоскребами и толпами глазующих туристов, перешел улицу у Городской Библиотеки и направился к главному входу в вестибюль Галереи.

Подошел к кассе.

Там сидела знакомая кассирша, которую я не любил. Злобная высокомерная старуха, красящая волосы в блекло-голубой цвет. Она неприязненно посмотрела на мой берлинский пасс (документ бедняка) и выдала мне длинный бесплатный билетик. Потом сказала: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.

Протянул билет коротышке в униформе (темные брюки, такая же жилетка, белая рубашка, красный галстук). Тот долго и недоуменно смотрел на мои колготки, потом также долго смотрел на куртку. Затем вежливо, но твердо произнес: Согласно новым правилам, находится в Галерее в верхней одежде нельзя. Прошу вас сдать куртку в гардероб или оставить в шлисфахе (запирающийся железный ящик, как на вокзалах). Кроме того, прошу не забывать — вы должны пройти дополнительное обследование!

Снять куртку? У меня же под ней ничего нет. План мой рушился. Попробовал уговорить коротышку.

— Я уважаю ваши правила, но посмотрите, у меня под курткой ничего нет... Только голое тело...

— Это дело частное. У каждого из нас под одеждой голое тело... А в куртках и пальто находится в музейных залах запрещено, понимаете! З-А-П-Р-Е-Щ-Е-Н-О! Приказ администрации. В связи с опасностью террора.

К коротышке на помощь подошел великан, тоже в униформе Галереи. Великан сказал тонким голосом: Запрещено в куртке. Сдайте ее в гардероб. Вы должны пройти дополнительное обследование.

Я взмолился: Не смотрите на меня, как на врага. Я не террорист, уверяю вас, я люблю картины... и Галерею... у меня украли штаны... я был сегодня у врача.

Коротышка был непреклонен: Мы не сторожа вашим штанам!

А великан добавил: Ваша частная жизнь нас не интересует. Где вы были, что вы были... Извольте куртку сдать, иначе не пустим в галерею.

Тут за меня неожиданно заступилась сердобольная пожилая дама, выходящая из Круглого зала. Говорила она с французским акцентом.

— Посмотрите, господа, эта куртка, единственное, что у него есть. А вы хотите заставить его раздеться и ходить по галерее голым. Вы наслаждаетесь тем, что можете что-то запрещать, не пускать, унижать посетителя музея.... Требовать от него что-то заведомо абсурдное... а это ведь фашизм... в вас всех до сих пор сидят Гитлер и Геббельс!

Услышав слово «фашизм», великан, ни слова не говоря, подошел к даме, грубо заломил ей руки за спину и быстро повел куда-то. Наверное в комнату для арестованных террористов, тех, кто пытался пройти в Галерею в куртке или пальто, и их сообщников-французов. Издалека донеслось: Не ломайте мне руки, фашист и садист...

— Поговори у меня, лягушатница, поговори, пока я тебе зубы не выбил...

Тут коротышка прошипел: Видите, из-за вас пострадал невинный человек. Курт наверное сломает ей руку или выбьет глаз, он, знаете ли, хотя звезд с неба не хватает, но дело свое знает, порядок в Галерее поддерживать умеет. Не дожидаетесь, пока он назад придет... а-то придется и вам с ним близко познакомиться, а он вашего брата ой как не любит. Консерватор с младых ногтей! Сдайте куртку в гардероб и проходите. Или убирайтесь по добру, по здорову. И помните – вы должны пройти дополнительное обследование.

Я сдался. Спустился в подвал, положил куртку в шлис-фах...

Ожидал, что вот... подойду сейчас в одних колготках к коротышке и протяну ему билет... а он завизжит и Курта позовёт или полицию по телефону вызовет.

Но коротышка деловито отсканировал ручным сканером мою бумажку и, ни слова не говоря, даже не взглянув на меня, пропустил в Круглый зал.

...

Остальные посетители не обращали на меня внимания. В колготках, так в колготках. Политкорректность.

И я спокойно бродил по Галерее, глубоко дышал, смотрел на картины... пытался успокоиться...

Убеждал себя в том, что ничего страшного не случилось. Что я не сошел с ума. Что с ума не сошел и окружающий меня мир. Пытался найти разумное объяснение происходящему. Особенно метаморфозе, произошедшей с моим доктором. Но не находил. Пытался свалить все на «нервы и переутомление». Не получалось. Уверял себя, что вот... приеду домой... приму ванну... отосплюсь... а завтра все будет хорошо, все будет по-прежнему... Но чувствовал, что «по-прежнему» ничего больше не будет. Что дома своего я больше никогда не увижу.

Потому что пятно на экране росло и росло...

А кинозал уже заволокло ядовитым серым дымом.

Некоторые, не успевшие убежать, зрители задохнулись.

Кинемеханик лежал, скорчившись, как младенец, на широкой лестнице, ведущей к выходу, покрытой ковром. Ковер, усыпанный попкорном и использованными билетами, начал тлеть. Неожиданно мне стало жарко. Я вспотел. Жжение, которое я последний месяц чувствовал только в анусе, распространилось по всему моему телу. Антонов огонь?

Вот и конец, — пронеслось в голове. Это и был конец.

Жжение усилилось. Я заживо сгорал, как еретик на аутодафе.

Слышал свист и улюлюканье толпы. Видел каменные лица инквизиторов, как будто выточенные из горного хрусталя.

Надо было спастись. Как? Инстинктивно я начал искать воду. И нашел. На левой створке «Алтаря святого Бертена» Симона Мармиона протекала река.

Я прыгнул в нее.

Свежая чистая водяная струя приняла меня в себя.

Погасила адский огонь.

И я от радости превратился в русалку.

...

Будете проездом в Берлине, зайдите в Картинную Галерею, найдите там живопись Мармиона... и реку... и замки... и светлые отвесные скалы... и островок на реке. На двух крохотных холмиках растут два дерева. В ложбинке между ними я лежу по ночам и смотрю на звездное небо.

Новая жизнь мне по нраву, только к рыбьему хвосту никак не могу привыкнуть.

СОДЕРЖАНИЕ

Повелитель четверга	5
Царица ночи.....	15
Поговорим об окружающем нас мире.....	21
30 лет в Германии	30
Прививка	57
Картинки из энигматического альбома.....	67
Присутствие.....	82
Мать Грегора	87
Алый галстук.....	98
Жертвоприношение.....	103
Нажал на курок	115
В подzemелье	159
Кома.....	203
Позолоченная рыба	213
Прогулка	227
В пансионате	239
Муха.....	294
В автобусе	329
Ехали долго	335
В Богемии.....	348
Палевый голубь	371
Солитер.....	385
Другая сторона.....	388
В Прадо	389
Черные картины	401
Русалка.....	415